Огюстен Кабанес
Леонард Насс

Революционный невроз

«Академический проект»
Москва, 2020

УДК 159.9
ББК 88
К 12

Кабанес О., Насс Л.
К 12 Революционный невроз: Пер. с фр. / Под ред. Д.Ф. Коморского. — М.: Академический проект, 2020. — 367 с. — (Психологические технологии: социальная психология).

ISBN 978-5-8291-2728-2

Материалом для этого историко-психологического исследования стали события Великой французской революции, начавшейся в 1789 г. Историки изучают целый ряд важнейших вопросов. Поведение больших человеческих групп, охваченных страхом, становится непредсказуемым и неуправляемым. Возникающий в периоды революций массовый психоз, вызванный страхом, подогревает манию преследования. Это выражается в поиске врагов и порождает определенное поведение двух противоборствующих сторон, проявляющееся в терроре победителей и создании соответствующих карательных революционных структур, презрении к смерти и резком увеличении числа самоубийств среди проигравших, вандализме различных форм, экстравагантности мод, языковых трансформациях.

Книга может быть рекомендована историкам, философам, психологам и всем интересующимся проблемами социальной психологии.

УДК 159.9
ББК 88

ISBN 978-5-8291-2728-2

От издателя

В обыкновенное время настоящее сочинение, едва месяц тому назад появившееся во французском оригинале, было бы более чем полезно для каждого интеллигентного читателя; при настоящем бурно-лихорадочном подъеме в России общественного самосознания оно, по нашему мнению, совершенно необходимо для всего русского общества.

Невзирая на разницу времени и места, наш общественный организм не представляет никаких коренных отличий от социального организма Франции в эпоху ее освободительного движения, ибо во все времена все люди, на одном уровне развития, одинаковы.

Умственный и нравственный прогресс целого столетия, отделяющего одну перестроечную эпоху от другой, только осложнил условия социальной эволюции народов.

Наши идеалы, вожделения и требования стали теперь, спустя сто лет, несравненно глубже и радикальнее, чем были таковые же desiderata Великой французской революции. Из тощей тетрадки «прав человека» современная программа общественных реформ разрослась в объемистый и увесистый том...

Тем труднее они достижимы и тем, наверное, ожесточеннее будет борьба за их завоевание.

Очистить, по возможности, для этого торжественного, но нелегкого шествия его путь от терний, которыми он усыпан, предостеречь самих себя от печального повторения того, что бесполезно омрачило навеки самые светлые страницы народного возрождения Франции, — вот цель поспешного издания настоящей книги на русском языке. Пусть это объективное и спокойное социально-патологическое исследование «революционного невроза» — духовной чумы смутных времен, первые симптомы которой, к сожалению, уже начинает бо-

лезненно переживать наше общество, поможет ему избежать слепого повторения тех излишеств, тех эксцессов, в которые столь часто впадала «учительница народной свободы», революция французская.

Издатель был бы щедро вознагражден за свой труд, если бы в результате оного могли бы, хотя на одну сотую долю, сократиться все бесполезные, скажем сильнее, все зловредные проявления народного «невроза», сопутствующие, «как в жаркий день слепни ретивого коня», наше нарождающееся страстное, но законное свободоискательство.

С.-Петербург. Декабрь 1905 года

Отдел первый
Инстинкты толпы



Глава I. Заразительность страха

«Дух управляет материей». Таким изречением известный историк Французской республики Тьер резюмировал сущность своего философского мировоззрения.

Но это чисто догматическое положение уместно скорее в психологическом трактате, чем в истории революций, к которой оно, к сожалению, вовсе не применимо.

К диаметрально противоположному выводу пришел бы, вероятно, и сам Тьер, если бы он задался целью определить точнее психологические или, вернее, психопатологические элементы, управлявшие французским обществом в 1785–1793 гг. Если бы он установил надлежащую умственную *обсервацию* над современной тому моменту народной массой и наряду с этим задался бы определением и разоблачением истинных мотивов ее поступков, то это привело бы его, как и нас, к заключению, что, в сущности, человек властвует над ходом революционных событий только фиктивно, в действительности же он лишь переживает таковые без всякой реальной возможности ими управлять или руководить; что, напротив, никогда его ум не господствует менее над событиями, как в подобные моменты, и что, наконец, никогда он и сам не бывает более рабом слепых и непреодолимых законов случайности, как во время таких исторических переломов народной жизни.

Мы попытаемся доказать в настоящем труде, что в периоды революций в обществе данной страны наблюдается обыкновенно и притом одновременно, с одной стороны, значительное понижение умственных сил, а наряду с этим, с другой — победоносное пробуждение первобытных, чисто животных инстинктов, и что таким образом оно в подобные периоды оказывается всецело во власти стихийных, не поддающихся никакому умственному контролю порывов и побуждений.

Среди овладевающих в подобные моменты всем обществом инстинктивных движений едва ли не первое место должно быть отведено паническому страху.

Во всех поступках, за которые единственным ответственным лицом является анонимная толпа, страх, несомненно, играет выдающуюся роль. Во времена войн, как внешних, так и внутренних, равно как и во времена революций, это чувство страха сообщает нередко ходу событий самое непредвиденное, но вместе с тем и самое непредотвратимое направление, вводя эти события в такие русла, изменить которые затем уже никто не в силах. История всех войн и революций — это история панических страхов толпы. Эти народные движения изменяются в своих симптомах и конечных результатах сообразно особенностям каждой эпохи, но почти всегда одинаковы по своим внешним проявлениям.

Даже во время франко-прусской войны 1870–1871 гг. мы еще могли наблюдать, как развивался этот бессмысленный панический ужас, в борьбе с которым были бессильны самая величайшая энергия и самая беззаветная храбрость. Из ряда фактов, подтверждающих это, довольно привести в пример хотя бы Бомон[1]. В течение осады Парижа его жителями овладевал удивительный специальный невроз, похожий на эпидемическую лихорадку. Перед глазами осажденного населения вдруг вставал грозный призрак измены и, словно тяжелый кошмар, душил народ, которому изменяло военное счастье.

Каждый день возникали самые невероятные, самые нелепые слухи. Они распространялись с быстротой молнии и приводили население в глубокое уныние. В подобные минуты народ, казалось, был готов принять самые невозможные решения, подсказываемые ему отчаянием... Но затем, обыкновенно с течением времени, обнаруживалось, что чудовищно раздутая весть была лишь праздной выдумкой, не имеющей ни малейшего реального основания, и паника улегалась до следующего ближайшего случая...

Заглядывая в историю средних веков, в эпоху, когда особенно свирепствовали физические и моральные эпидемии вроде чумы, суеверий, веры в колдовство и т. п., мы и там

наблюдаем, как много раз, эпидемически распространяясь, паника овладевала толпой, вселяя неописуемый ужас в души суеверного населения Европы. Разражались нередко самые невероятные припадки всеобщего, поголовного безумия; страх перед воображаемой опасностью переходил в действительный бред преследования, и так как преследуемые в известных случаях легко превращаются сами в преследователей, то на этой почве разыгрывался целый ряд ничем иначе и не объяснимых жестокостей и ужасов.

Чтобы остановить распространение чумы, собирались, например, не более и не менее как попросту сжечь целиком городок Динь[2] со всем его населением! В Лотарингии матери пожирали собственных детей, делясь между собою этой страшной пищей и установляя в этом отношении роковую очередь[3].

Прокаженные обладали печальным свойством вызывать особенный страх среди населения. Их обвиняли в отравлении источников и колодцев, совершаемом будто бы с целью отомстить обществу, изгонявшему их из своей среды.

Сколько судебных преступлений, не говоря уже о судебных ошибках, совершалось тогда исключительно под влиянием страха?

Другие парии человечества, евреи, также не раз служили предметом народного озлобления. Основанием для сожжения их целыми толпами было, например, бессмысленное обвинение их в том, что они якобы умышленно отравляют и заражают воздух зловредными миазмами. Можно смело утверждать, что главным основанием их систематического избиения была вовсе не столько религиозная или экономическая вражда, сколько именно тот безотчетный страх, который они внушали суеверному и робкому населению своей обособленной и скрытной жизнью.

Панический страх перед чарами мнимых волшебников по временам также охватывал огромные невежественные массы и являлся как бы отмщением за преследования, коим подвергались несчастные колдуны.

В сфере моральной имели место те же явления и с теми же последствиями. Страх перед 1000 г. остается знаменитым

в истории, хотя в данном случае он проявлялся не в насилиях, столь свойственных этому времени, а в охватившем все народы Западной Европы мистическом настроении. В припадках набожности все преклоняли колена и, вознося к небу молитвы, благоговейно ожидали светопреставления, и в особенности обещанного после него воскресения мертвых и Страшного суда, имевшего разрешить человечество от всех его земных страданий и печалей. Одним словом, не подлежит ни малейшему сомнению, что панический страх составлял характерную черту состояния умов средневекового общества.

С Великой революцией во Франции вновь проснулась общественная паника, которая считалась, после эпохи Вольтера и Дидро, навсегда погребенной во тьме веков.

Увы, этот факт, грубый, но неоспоримый, — налицо и еще раз свидетельствует нам о том, что если насильственные революции, с одной стороны, даруют свободу рабам и снимают тяготы с плеч угнетенных и обремененных, то они же являются и моментами нравственного регресса толпы, общего упадка умственных и экономических сил страны и взрыва низменных и грубых инстинктов народных масс.

Невольно напрашивается поэтому вопрос: не достижимы ли были бы такие же благие результаты скорее и вернее и притом без всякого опасения какой-либо реакции путем революций мирных и бескровных? На это мы, со своей стороны, можем дать лишь такой ответ: если подобные мирные перевороты и возможны, то разве только в северных странах, среди народов с холодным темпераментом вроде североамериканцев или норвежцев; но они едва ли мыслимы для пылкой романской расы, которая лишь ступит на арену политической деятельности, как обыкновенно уже оглашает ее страстными, безумными криками, столь долго раздававшимися, например, в итальянских республиках, вплоть до самого их падения[4].

Не подлежит во всяком случае сомнению, что во время революции страх играл во Франции весьма выдающуюся роль. Население постоянно терроризировалось всевозможными злодеями и разбойниками, нередко даже и существовавшими-

то исключительно лишь в больной и возбужденной фантазии народа.

Центр Франции подвергся в это время своеобразной эпидемии, известной под названием «Великого страха», и в каждом почти городе повторялась приблизительно одна и та же история.

В какой-нибудь прекрасный вечер по городу проносился слух о приближении к его стенам несметных полчищ разбойников, отмечающих свой путь погромами и разрушением и оставляющими за собой лишь дымящиеся развалины...

Как внезапно в знойный день на безоблачной синеве неба вдруг появляется черная грозовая туча, так же растет и множится по городу подобный слух о близком нападении, наполняя сердца и умы мирных обывателей неописуемым ужасом. Кто-нибудь прибегает и клянется, что собственными глазами видел на пути, ведущем в город, всего лишь в каких-нибудь нескольких милях столб пыли, поднятой, очевидно, не чем иным, как надвигающимся отрядом. Другой уже убежден, что слышит звуки набата, доносящиеся из соседних деревень. Сомнений больше нет. Всем ясно, что через час-другой город подвергнется разгрому. Тотчас же все вооружаются. Ружья, штыки, пики, топоры и даже рабочий инструмент — все собирается, чтобы оказать отчаянное сопротивление врагу. Формируется милиция; наиболее отважные образуют передовой отряд, который уже спешит навстречу неприятелю...

Вернутся ли они, эти храбрецы?.. Тем временем, в томительном ожидании, женщины, дрожа от страха за участь своих детей, прячут в тайники, зарывают в землю наиболее ценное имущество. Проходит час, другой... Наступает ночь, увеличивая тревогу и смятение. По улицам проходят патрули, горят факелы, озаряя своим зловещим красным светом самые темные закоулки. Тем временем в город сбегаются толпами крестьяне из окружных селений, также охваченные паникой. Волоча за собой свои скудные пожитки, они спешат тоже укрыться за стенами города.

Полная картина города, готовящегося отразить приступ неприятеля, — налицо. Но вот высланный вперед отряд воз-

вращается с известием, что он не видел нигде никаких разбойников. Страх начинает спадать и уменьшаться. Еще несколько дней — и он исчезнет вовсе и снова по городам и весям послышится веселый звонкий смех и песня.

Овернь, Бурбонэ, Лимузен и Форэ подвергались в свое время таким огульным припадкам ничем необъяснимого «Великого страха». В некоторых селениях подобные эпизоды оставили более яркие воспоминания, чем даже всякие, самые крупные события революции, и создали в каждом крае свою эру. Долго потом говорили: «Он родился в день «Великого страха», подобно тому, как в иных местностях считали, что такой-то родился «в день взятия Бастилии».

Эпидемия, ибо несомненно, что такую повсеместно возникающую, беспричинную панику только и можно сравнить с эпидемией, совершила круговое движение с северо-запада на юго-восток.

Она не пощадила ни Дофинэ, ни Эльзаса, ни Франшконтэ, ни Нормандии и Бретани, хотя в этих местностях она проявлялась с меньшей силой и регулярностью.

Не избежали ее даже и парижане. В ночь на 17 июля 1789 г. по городу вдруг пронесся слух, что какие-то вооруженные полчища подступают к Парижу со стороны Монморанси.

Паника мгновенно охватила все население, еще наэлектризованное бастильскими событиями, происходившими лишь за три дня перед тем. Звуки набата раздались одновременно во всех 60 приходах столицы Франции. Городская милиция выступает в отважную вылазку против ожидаемого неприятеля. Но единственным ее противником оказался застигнутый на городском выгоне... заяц, который и пал немедленно жертвой храбрости одного из защитников отечества. Обрадованный столь благополучным исходом похода, весь отряд рассыпался по огородам и полям, превратясь в мирных охотников. На звуки его выстрелов из города примчалась, однако, маршмаршем кавалерия, а за заставами построились резервы пехоты...

Мы впали бы в скучные повторения, если бы вздумали передавать на этих страницах все многочисленные эпизоды

эпохи «Великого страха», тем более что, за малыми исключениями, все они удивительно сходны между собой. В эти дни, впрочем, не происходило никаких мятежных или преступных манифестаций, этому не способствовало всеобщее настроение. Дело ограничивалось обыкновенно тем, что организовывалась энергичная защита города, которая напрягала все свои силы, чтобы дать жестокий отпор мифическому врагу. Напротив, в 1792 г. мы уже видим, что парижское население, которому угрожала двойная опасность: с одной стороны — внешняя война с Пруссией, а с другой — заговор аристократов, нашло более целесообразным сперва избавиться от домашних врагов, а затем обратиться всеми силами против иноземцев.

В деревнях и селениях паника «Большого страха» принимала еще более серьезные формы. Крестьяне отдельных поселков, сознавая свою малочисленность, чувствовали себя совершенно беззащитными от воображаемых нападений.

В их воображении бедствия, наносимые им фантастическими разбойниками, представлялись настолько неминуемыми, что с заходом солнца все окружающее принимало для них самые грозные и причудливые очертания.

Дрожа от страха при малейшем шорохе, они, точно дети, напуганные страшной сказкой, подозрительно вглядывались в темнеющие опушки лесов, озаренные лунным светом. Стоило какому-нибудь необыкновенному звуку нарушить ночную тишину, как тотчас же ужас овладевал всеми, даже наименее трусливыми из обывателей. «Достаточно было, — пишет Тэн, — какой-нибудь девушке, возвращавшейся вечером с поля, встретить пару незнакомых лиц, чтобы весь приход бросался искать спасения в ближайшем лесу, покидая дома и имущество на произвол судьбы. В ином случае поводом для всеобщего бегства бывал подчас простой столб пыли, поднятый проезжим дилижансом»[5].

Местные священники разрешали заранее свои паствы от всех грехов, как бы ввиду близости светопреставления. Повсюду в конце июля и в первой половине августа 1789 г. страх порождает массу невероятнейших несообразностей, совершаемых обезумевшим крестьянством. Можно было подумать,

что во Франции вновь возвратились мрачные и зловещие дни 1000 г.

Каково же истинное происхождение этого «Великого страха» и где искать причины его возникновения?

Сущность этого явления стоит несомненно в тесной зависимости от многих чисто психологических факторов.

Прежде всего нельзя не признать, что в некоторых местностях страх имел отчасти уважительные основания в участившихся в это время грабежах и насилиях. Крайняя нищета населения, разоренного вконец двухлетним голодом, обусловленным неурожаем и бездарным управлением страной, и полная безнаказанность придорожных грабительских шаек, громивших господские дворы, немало благоприятствовали совершению той массы преступлений, которыми опозорена эпоха Великой французской революции.

Мы говорим пока еще лишь об июле и августе 1789 г., когда разгром помещичьих замков и усадеб только что начинался.

В деревнях, где эти разорения уже успели совершиться, нельзя удивляться страху, охватившему население. Оно жестоким самосудом вымещало на мертвых каменьях дворянских замков столь долго переносимые им вековые неправды, а потом впадало в сомнение, страшилось кары и ответственности и изнывало от неизвестности, чем окончатся для него эти подвиги.

Вся Франция была покрыта толпами нищих и бродяг; известно, насколько опасается повсюду крестьянин этого элемента. В своих челобитных сельчане, наряду с жалобами на произвол помещиков, указывали также и на эту кочующую опасность, которая, поощряемая версальскими и парижскими событиями, становилась с каждым днем все более дерзкой и вымогательной. Скошенные жатвы и истоптанные нивы являлись прямыми последствиями набегов нищенствующих шаек, и знаменитые разбойники и грабители, число которых в устах молвы определялось многими тысячами, в действительности, конечно, были лишь человеческим отребьем, объединявшимся в шайки по 50, много — по 100 человек.

Тем более трудно объяснить, почему же перед ними возникал такой панический ужас? В иное время на них, несомненно, устраивались бы облавы, их травили бы повсеместно и ежечасно, как диких зверей, и никому другому, как именно им самим, пришлось бы искать спасения в лесах. Несомненно поэтому, что если разбойники и подавали ближайший повод к охватившей народ панике, то все же она имела в основе какие-нибудь другие, более глубокие психологические основания.

Весьма серьезные историки пытались объяснить столь повсеместное возникновение этих, по-видимому беспричинных, страхов умело руководимым какой-то таинственной рукой заговором против революции; предполагалось, что такое распространение паники должно было якобы иметь своей целью возвращение в руки свергнутого правительства утраченной им власти.

Этот заговор приписывался поочередно то двору, то орлеанистам, то партиям Лафайета или Мирабо. Но все подобные предположения ни на чем не основаны и не выдерживают ни малейшей критики.

В самом деле, кто мог бы быть этим человеком, который, принадлежа к известной партии, обладал бы такой прозорливостью и тактичностью, таким знакомством с разнообразными местными условиями, такой беспредельной смелостью и огромным авторитетом и, наконец, таким богатством и значением, чтобы создать в совершенной тайне грандиознейший заговор, распространить его на все самые глухие углы государства и достигнуть повсеместно столь блестящих результатов? Если вспомнить только хотя бы о тех средствах сообщения, какими в то время располагала Франция, то становится прямо невероятным, чтобы один человек мог вызвать такое огромное, повсеместное и одновременное движение, не легкое даже и во времена электричества и пара[6].

На наш взгляд, «Великий страх» был исключительно непосредственным продуктом душевного настроения революционного общества.

Оно было охвачено паникой именно потому, что, освободившись насильственно от мрака, в котором его держало

веками королевское самодержавие, оно было внезапно ослеплено озарившим его ярким светом свободы. Оно в первый момент как бы растерялось и, не чувствуя более над собой прежней железной руки, — остолбенело. В таком оцепенении немудрено, что ему стали мерещиться на первых порах всякие даже несуществующие и фантастические страхи и опасности.

Революционное общество первого периода можно до некоторой степени сравнить с толпой школьников, убежавших тайком от воспитателя на ближайшее поле. Сперва они бегают, шалят, играют и шумно радуются минутной свободе... Но вот наступает вечер и детьми овладевает смутное чувство тревоги перед мраком неизвестного будущего. Еще немного и они трусливо жмутся друг к другу, испуганно переглядываясь между собой. Затем внезапно, изо всех сил, бросаются обратно в школу, где их ждет и выговор и даже наказание, но где они все-таки сознают себя, наконец, в полной безопасности. От этого, конечно, еще далеко до того, чтобы крестьяне и горожане 1789 г. так же скоро склонили свои головы обратно под иго деспотизма. Так думать — значило бы отрицать, что революция явилась неизбежным, естественным и даже вполне обдуманным результатом предшествующих, подготовивших ее событий, и допускать, что она была не более как лишь случайным продуктом внезапного порыва.

В настоящее время имеется слишком много самых документальных доказательств для опровержения подобного предположения. Но, разумеется, тогда никто сразу не мог бы предсказать, до каких пределов дойдет ее развитие или предвидеть ее конечные результаты... Никто, может быть, тогда еще и не решался взглянуть открыто в глаза надвигавшейся опасности...

Стены Бастилии обрушились с таким адским грохотом, что его эхо гулко пронеслось до последней убогой хижины всей Франции. Самый темный селянин постиг в эту минуту, что свершилось что-то важное, великое, нарушившее надолго однообразное течение истории. Все прошлое рухнуло со всеми своими вековыми традициями, и застигнутый врасплох таким крушением народ невольно спрашивал самого себя: что

же даст ему ближайшее будущее, что принесет ему завтрашний день? Не станет ли этот день днем полного торжества анархии, днем победы толпы оборванцев и нищих, этой язвы страны, сдержать которую будет не в силах никакая власть?

Те, кто считает, что «Великий страх» был именно такой боязнью имущих классов перед нарождающимся пролетариатом, что он был продуктом опасений, охвативших обеспеченную среду, которая начала сознавать, что революция из буржуазной превращается, силой вещей, в социальную, долженствующую неминуемо совершить огромный экономический переворот и переместить накопленные богатства из одних карманов в другие, едва ли назовут подобное толкование мистическим или фантастическим. Не подлежит, очевидно, сомнению, что всякий, кто обладал хоть малейшей пядью земли или вообще каким-либо достатком, не мог не опасаться, что босяки отнимут у него последнее достояние. Но мы все-таки, с нашей точки зрения, убеждены, что для возникновения и распространения в народе «Великого страха» должны были быть и действительно были, помимо всего, причины чисто психологического свойства.

Всеобщее, внезапно охватившее страну смятение слишком ясно характеризует душевное настроение толпы в 1789 году и дает точные указания на дальнейший рост этого настроения в близком будущем. Оно еще не влечет за собой пока ужасов, которыми сопровождались последующие «страхи», но уже дает основание их ожидать и предвидеть[7].

Позднее, например в 1791 г., когда на празднике федерации в толпе вдруг распространились какие-то зловещие слухи и под «алтарем отечества» нашли спрятавшихся каких-то двух человек, народ тут же расправляется с ними без суда и без милости[8]. В мае 1792 г. французские войска в Лилле, узнав о поражениях при Кьеврэне и Турнэ, открыто кричат об измене и ими, вместе с присоединившейся к ним чернью, овладевает чисто панический страх.

Они схватывают подвернувшихся им под руку генерала Теобальда Дильона, инженерного офицера Бертоа и умерщвляют их немедленно, без малейших оснований[9].

Даже якобинцами однажды овладел панический ужас. Распространился внезапно ни на чем не основанный слух, что зал заседаний клуба минирован и что с минуты на минуту он может взлететь на воздух. Была немедленно назначена комиссия для тщательного осмотра бывшего Яковитского монастыря[10], но она вскоре вернулась, заявив, что ничего подозрительного ею нигде не усмотрено.

Можно набрать бесконечное количество подобных же весьма характерных фактов, чисто психологического характера, относящихся к тому же времени. Одни из них построены на почве свойственного времени суеверия, другие на возраставшей с каждым днем подозрительности, неизбежной между противниками и соперниками, жадно вырывающими друг у друга кормило власти, сегодня следующими рука об руку по одному пути, а завтра готовыми оклеветать, уничтожить и растерзать друг друга.

Эта подозрительность, зарождающаяся на исключительно благоприятной революционной почве[11], с каждым днем разрастается, как ядовитое дерево, окутывающее страну непроницаемой тенью террора и ненависти, и порождает тоже «Великий страх» не только среди лиц, безучастных к событиям революции, но подчас даже в душах ее самых видных деятелей.

Глава II. Садическое безумие

Причиной сентябрьских убийств (1792 г.) была несомненно народная паника. Массовое избиение содержавшихся в тюрьмах «заподозренных» жертв террора бунтующей чернью было результатом не какого-нибудь хитро задуманного плана, а, скорее всего, самого безумного ужаса, овладевшего толпой при звуках набата и выстрелах вестовой пушки, когда народ вдруг вообразил, что ему угрожает опасность со стороны могущих освободиться аристократов, а жирондисты оставили его на произвол судьбы. Потоками крови бросилась парижская чернь заливать этот внезапный пожар, и овладевший ими ужас немедленно перешел в чисто «садическое» безумие. Давно замечено, что озверевшей толпой прежде всего овладевают именно беспредельная распущенность и разнузданность нравов. Этот общий закон подтверждается многочисленными историческими примерами, и в ряду человеческих страстей жестокость и сладострастие следуют всегда одна за другим. Подобно выродку, оскверняющему поэзию любви истязаниями, толпа также нередко усугубляет гнусность убийств отвратительным бесстыдством, доходящим подчас даже до каннибализма[12].

Возможно ли определить точно причинную связь между жестокостью вообще и садизмом как ее сладострастным эффектом в частности? Не следует ли видеть в нем остатка прошлого, тех пещерных веков человечества, когда и среди людей любовь добывалась лишь насилием, по примеру остального животного мира? Наслаждение, заключающееся в том, чтобы мучить и истязать любимое существо, могло, очевидно, остаться наследием этих времен, как инстинктивное явление атавистического свойства[13]. Такой инстинкт может одинаково повторяться как в отдельных субъектах, так и в массах, ибо всякая социальная группа не что иное, как та же единица,

обладающая своим собственным мышлением и своими специфическими качествами, пороками и характером. Такая гипотеза, однако, может быть и не вполне удовлетворит ученых-психологов. Мы ограничимся поэтому лишь указанием на всеобщность этого закона, не пытаясь проникать далее в тайну его происхождения.

Остается во всяком случае несомненным, что сладострастие и кровь вызывают в человеке чувство, сходное с опьянением и способное затуманивать в нем одинаково последние проблески рассудка; сорвавшийся с цепи зверь всегда лют и сладострастно жаждет насладиться мучениями своей добычи. «Садизм, — пишет авторитетный специалист по этому вопросу, доктор Молль, — характеризует половую наклонность, которая выражается в стремлении бить, истязать, мучить и оскорблять любимого субъекта»[14]. Но определение это, впрочем, несколько односторонне, так как чаще всего собственно любовь не играет при этом никакой роли. Порок может проявляться на любом субъекте: на женщине или на ребенке, на живом или на мертвом, и даже на животном. Поэтому мы предпочитаем ему следующее определение: «Садизм есть извращение полового чувства, характеризуемое наклонностью убивать, мучить, истязать, оскорблять и осквернять существо, являющееся объектом генетического желания, причем выполнения этой склонности обыкновенно бывает вполне достаточно для того, чтобы вызвать у развратника половое удовлетворение»[15]. «В подобном извращении чувственности обязательно совмещается и сладострастие и жестокость, и это-то и составляет характерный признак «садизма».

Не поэтому ли именно садическое безумие и схватывает народные массы в революционные периоды.

Действительно, нельзя не обратить внимания, что каждый раз, когда народ становится объектом кровавых переворотов, войн или мятежей, в его истории можно всегда подметить типичные примеры явной половой психопатии.

Когда толпа проливает кровь впервые, она в этот момент испытывает, по-видимому, некоторое чувство отвращения; но если она не остановится вовремя, а как-нибудь справится

с этим первым неприятным ощущением, то она начинает тотчас же, вслед за сим, страстно наслаждаться; ожесточается, как алкоголик, терзающий свою жертву, и вся, как один человек, трепещет от сладострастного восторга.

При резне прокаженных[16], в Сицилийскую Вечерню, в Варфоломеевскую ночь, при сентябрьских тюремных избиениях или, так еще недавно, при армянской резне и еврейских погромах этот животный инстинкт пробуждается всегда с одинаковой жестокостью и кровожадностью.

Осквернение и уродование трупов, насилование и истязание жертв, а подчас даже случаи людоедства — вот неизбежные последствия таких взрывов звероподобной дикости. Избиения Варфоломеевской ночи изобиловали инцидентами подобного рода.

На первом месте стоит уродование трупа адмирала Колиньи, которому неистовые фанатики обрубают руки и ноги, вырывают детородные органы и шествуют процессией до Монт-Фокона, нанизав на острия своих пик эти ужасные трофеи. Далее следует осквернение тела протестанта Квеленека, задушенного во дворе Лувра, с которого летучий отряд убийц Екатерины Медичи срывает все одеяние, чтобы удостовериться в его поле, вызывавшем сомнение. На каждом перекрестке происходит пищальная и пистолетная стрельба, слышится лязг шпаг и кинжалов и удары дубин. Убийцы, опьяненные потоками крови, испытывают невыразимое наслаждение, совершая свою работу. Три столетия спустя сентябрьские изверги революции также наслаждаются своими подвигами над беззащитными жертвами террора.

Протестанты не отставали в жестокости от католиков. В 1568 г., при взятии Ниоры, они захватывают католического священника, вскрывают ему живот, отрезают половые органы и бьют ими по щекам других пленных священников. Затем, подойдя к одной женщине, оплакивавшей своего задушенного мужа, они набивают ей влагалище порохом, который затем зажигают, «прорвав ей таким путем живот и выведя наружу кишки», как описывает это добросовестный современник.

Подобным же истязаниям подверглась и маркиза де Кёвр, мать прекрасной Габриэли де'Эсте. В эти тревожные времена оказалось достаточно одной искры, чтобы раздуть садический огонь, который постоянно тлеет в душах толпы. Тотчас вслед за убийством Генриха IV тело Равальяка было растерзано народом в куски, который тут же *съел его мясо*[17]. Когда придворная интрига лишила власти маршала де'Анкр и повергла его мертвым у подножия Луврской лестницы, то на следующий день после его похорон толпа ринулась на свежую могилу, вырыла труп, волочила его по грязи, повесила, а затем, сорвав с виселицы, приволокла останки на показ юному королю Людовику XIII. Опьяненный чувством мести, убийца Кончини приказывает изжарить его сердце на угольях и съедает его[18], в это же время другой продает его уши с публичного торга на улице. Искрошенные останки этого несчастного выбрасываются в Сену.

Войны также обладают способностью пробуждать садизм в человеке-звере, и до настоящего времени победители обходятся с покоренными народами самым жесточайшим образом. Разграбление городов, взятых штурмом, только очень недавно стало запрещено международными договорами[19]. Вся военная история представляет бесчисленные примеры самой близкой родственной связи между жестокостью и сладострастием.

Когда Великий Кондэ или Цезарь Борджиа двигали свои войска по покоренной стране, то было нетрудно восстановить за ними путь их следования. Повсюду, где они прошли, встречались потом только изувеченные люди, оторванные и разбросанные члены человеческих тел, изнасилованные и замученные женщины; мужчины, умирающие под развалинами сожженных домов или изнемогающие от ран. Если жители прятались от них в пещерах и подземельях, то солдаты зажигали солому у их выходов и выкуривали несчастных, как барсуков[20].

Нужно ли вспоминать разгром Палатината, когда французские войска проявили там самую гнуснейшую разнузданность.

Набеги казаков в 1815 г., рубивших мужчин саблями и насиловавших женщин, остаются и поныне во Франции легендарными[21]. Все эти примеры свидетельствуют, до какой степени падения может дойти человеческая толпа, когда она перешагнет за границы своего нормального мирного существования. Золя мастерски очертил это возбужденное состояние духа народной массы на страницах «Жерминаль», полных самого грубого реализма, но и глубочайшей наблюдательности и надрывающей сердце правдивости. Он рисует толпу, оскверняющую труп человека, которого она ненавидела, тотчас после его убийства: «Женщинам в особенности хотелось чем-нибудь ему отомстить. Они кружились вокруг тела, обнюхивая его, как стая голодных волчиц. Все они точно старались выдумать какую-нибудь дикую выходку, какое-нибудь особенное поругание, которые смогли бы доставить им, наконец, полное удовлетворение. И вот вдруг раздался грубый голос старухи Брюлэ: «Вылегчим его, как кота!» — «Да, да, — заревела толпа, — как кота, как кота!» Мукет живо раздевает покойника, стягивает с него штаны, а Левак тем временем задирает ему высоко вверх ноги. Брюлэ своими высохшими от старости руками раздвинула голые ляжки и схватила в кулак омертвелые органы... Она пыталась их вырвать, с усилием напрягая свою тощую спину, и ее большие сухие руки хрустели. Нежная кожа оказывала сопротивление, старухе приходилось несколько раз приниматься снова, пока она, наконец, все же не оторвала от трупа кусок волосатого, окровавленного мяса. Торжествующе потрясая этим трофеем и радостно восклицая: «Вот он! Вот!..», Брюлэ насадила этот пучок на конец своей палки и, подняв ее высоко в воздухе, точно знамя, бросилась на дорогу, сопровождаемая дико завывающей ватагой женщин».

При подобных сценах придется присутствовать и нам, переносясь мысленно к революционным дням. Все эти дни, даже наиболее славные, как, например, день взятия Бастилии 14 июля, были осквернены подобными же дикими выходками, объяснимыми только «садизмом» бушующей толпы.

Взятие Бастилии послужило первым сигналом для такой вспышки истерически-полового извращения. Возбужденный

неожиданной победой народ ринулся на тех, кого считал виновником своих невзгод. Губернатор Бастилии де Лонэ был выведен на улицу, причем ему тут же нанесли первый удар шпагой в плечо. На улице св. Антуана ему стали рвать волосы; защищаясь, он ударил одного из издевавшихся над ним людей ногой. Его немедленно пронзают шпагами, волочат по грязи, а человеку, которого он ударил, предоставляют право отрубить ему голову, что тот и исполняет, не сморгнув. Голова, отделенная от туловища, насаживается немедленно на вилы, и шествие направляется через Пале-Рояль за Новый мост, где толпа преклоняет эти жалкие трофеи перед монументом Генриха IV[22].

Это был первый случай в Великой французской революции, когда народ насладился видом крови и отдался издевательству над трупом врага. Преодолев естественное отвращение, он начинает опьяняться еще незнакомым ему доселе сладострастием убийства. 23 июля над интендантом Фулоном[23] совершаются уже еще более жестокие истязания. А между тем следует заметить, что толпа эта далеко не состояла исключительно из одной черни и подонков общества, как это многие думают; напротив, большинство в ней были зажиточные и приличные буржуа, по виду торговцы и рантье.

Но и в этой внезапной ярости, наряду с варварскими традициями разрушающегося режима, проглядывали нередко остатки какого-то страха[24].

Здравомыслящие люди, конечно, сожалели о таких бесполезных неистовствах[25]. На следующее утро после убийства Фулона и Бертье Бабеф пишет своей жене: «Я видел головы и тестя, и зятя, которые несла тысячная толпа вооруженных людей; это шествие занимало всю длину улицы С. Мартинского предместья, и проходило мимо 200-тысячной толпы зрителей, которые весело смеялись и перебрасывались шутками с войсками под звуки барабанного боя. Какое страдание причиняло мне это веселое настроение народа? Я чувствовал себя одновременно и удовлетворенным, и недовольным: я понимаю, что народ совершил акт правосудия, но я могу одобрить такое правосудие только когда оно довольствуется простым закон-

ным наказанием виновных. Положим, трудно в такие минуты не быть жестоким. Всевозможные казни, четвертования, пытки, костры, виселицы, рассеянные по всей стране палачи только что сверженного режима не могли способствовать смягчению наших нравов. Учителя, вместо того чтобы просвещать нас, сделали нас дикарями, потому что и сами-то они дикие люди. Они теперь пожинают и пожнут то, что посеяли, потому что все это, поверь, моя бедная женушка, окончится ужасно; мы ведь только еще начинаем». Как оправдались эти пророческие слова честного человека, который трезво и не увлекаясь смотрел на будущее? Во время сентябрьских убийств зверские инстинкты толпы уже не знают никакого удержа, они не слышат голоса рассудка и овладевают массой всецело и безраздельно.

Чтоб яснее постичь психологию этих печальных дней, необходимо проследить ту смену впечатлений, которая происходила в революционных умах, начиная с 10 августа того же года.

После народной победы, завершившейся падением королевского достоинства, необычайная паника овладела умами, испуганными быстрыми успехами прусского нашествия на Францию. Лонгви был изменнически предан неприятелю; осажденный Верден не мог более держаться; путь на Париж был открыт; роялисты, очевидно, заодно с неприятелем и дело революции должно бесславно погибнуть. Стоило лишь такой панике распространиться в народе, как все умы заволновались. Могла ли в самом деле буржуазия и рабочий класс идти навстречу внешнему врагу, оставив за собой на милость аристократии своих беззащитных жен и детей. Первой мерой предосторожности были массовые аресты всех сколько-нибудь подозрительных личностей. Но эта мера оказалась недостаточной, потому что заключенные и в тюрьмах продолжали держаться прежнего образа мыслей, т. е. сочувствовали иноземцам. Был ли какой расчет содержать их долее под замком в ожидании близкого освобождения, обещанного им победоносно приближавшимся во главе прусских войск герцогом Брауншвейгским[26]. Делается очевидным, как незаметно сти-

хийно начинает зарождаться в умах, охваченных паническим страхом, мысль о всеобщем избиении опасного элемента.

Подобное настроение бывало нередко исходной точкой величайших побоищ, позорящих историю человечества. Садизм является уже во второй очереди: вид пролитой крови опьяняет даже наиболее умеренных, пробуждая в толпе сладострастно-жестокую похотливость. Сентябрьские злодеи, из которых наиболее ожесточенные принадлежали к шайке Мальяра, проявляют при этом страшную непоследовательность и противоречие.

Они как будто не вполне чужды чувства жалости, сострадания и даже справедливости.

Неистовый Мальяр стремится придать избиению аристократов якобы законные формы и установляет подобие какого-то судилища, приговоры которого утверждаются тут же на месте верховной властью народа-самодержца. Известно в чем состояло это ускоренное судопроизводство и всем памятны невероятные сцены ужаса, увековеченные кистью Раффе и разыгрывавшиеся в импровизированных тюремных судилищах. Чтобы не быть свидетелем раздирающих воплей осужденных, Мальяр, например, вместо того чтобы произносить «смерть», провозглашал: «освободить»; «в аббатство», а иногда: «в Кобленц». Его люди хорошо знали значение этих условных слов. По выходе из зала заседаний арестантов или просто душили, или закалывали кинжалами, или, наконец, изрубали в куски саблями. Изредка, впрочем, объявлялись и оправдательные вердикты и надо было видеть, с каким восторгом приветствовали тогда сами палачи подобные акты милосердия. Некий аристократ Журньяк де С. Меар представил суду удостоверение о своих гражданских добродетелях и заявил, что своим безупречным поведением он стяжал себе любовь своих солдат. Он был помилован Мальяром, и в ответ на этот приговор из толпы мгновенно раздались неистовые крики восторга: «Да здравствует нация!» Все по очереди обнимали и поздравляли подсудимого.

Другого оправданного толпа торжественно проводила до дома. Свирепые душегубы превращаются в овечек и изъявля-

ют желание быть свидетелями его семейной радости. А несколько минут спустя снова предаются самой ужасающей резне.

В числе счастливцев, которым удалось спастись, был молочный брат Марии-Антуанетты, который рассказал потом, что он перенес в эти страшные дни. «Лишь только гвардейцы, — пишет он, — подняли свои шляпы на острия сабель и воскликнули: «Да здравствует нация!», раздались неистовые рукоплескания; женщины, заметив, что я был в белых шелковых чулках, грубо остановили двух солдат, которые вели меня под руки, и сказали им: «Берегитесь, вы ведете господина по сточной канаве». Они были правы, канава была полна крови. Такое внимание со стороны этих мегер меня тем более удивило, что они только что перед этим яростно аплодировали избиению моих сотоварищей по заключению. Помилованные народным судилищем обыкновенно отводились в церковь св. Екатерины Культурной, которую народ за это остроумно прозвал «Складом невинных»[27].

Но невелика была эта группа пощаженных; их насчитывают всего не более пятидесяти человек. Наоборот, сцены убийства были бесчисленны и поистине отвратительны и бесспорно доказывают, что самозванными судьями руководили сладострастие и жестокость. Приведем этому хотя бы один из многочисленных имеющихся примеров. В ночь со 2-го на 3-е число одна женщина была подвергнута ужасной пытке. Это была хорошо известная в Пале-Рояле цветочница, арестованная за то, что искалечила своего любовника, национального гвардейца, подвергнув его операции в духе Абеляра. Большая часть пале-рояльских торговок оставались роялистками в память прошлого, когда знать была к ним очень щедра. На нее возвели обвинение в том, что она совершила преступление не из ревности, а из роялистических побуждений, желая этим в лице революционного солдата оскорбить саму революцию. Ей, как кукле, запихали во влагалище сноп соломы, а потом всю извивающуюся от адской боли привязали голую к столбу, к которому прибили ее ноги гвоздями, наконец, ей отрезали обе груди и затем подожгли солому[28].

На следующий день та же толпа разбила ворота женской больницы Сальпетриер. Громилы начали с того, что убили пятерых или шестерых престарелых женщин без всякого иного основания, кроме того, что они стары, потом бросились на молодых арестанток и на публичных женщин и перебили из них душ тридцать, насилуя одновременно как живых, так и мертвых. Этим, однако, дело не окончилось; они проникли в спальни сиротского отделения, растлили массу маленьких девочек, а некоторых из них даже увели с собой для дальнейшей в том же роде забавы[29].

Одновременно и судьи, и палачи, сентябрьские злодеи, как дикие звери бросающиеся на беззащитных жертв, являются воплощением жесточайшего цинизма. В минуты отдыха они пьянствуют[30], равнодушно глядя на трупы своих жертв, валяющиеся кучами по дворам и улицам.

Некоторые будто бы «утоляли жажду человеческой кровью». Здесь уместно заметить: не отсюда ли пошла легенда, которой долго верили, якобы девица Сомбрейль выпила ради спасения отца стакан человеческой крови? Гораздо вероятнее, что ее просто принудили выпить поданный ей окровавленными руками стакан вина «за здравие нации»[31]. Но уже одно то обстоятельство, что и первой версии могли поверить, не служит ли доказательством, до каких пределов доходил садизм во время сентябрьской бойни. Да и могло ли быть, впрочем, иначе в такое исключительное время, когда все человеческие страсти точно смешались и перепутались и когда человек стал, точно зверь, то смирный, то свирепый, готовый то рыдать от чувствительности, то убивать без жалости?[32] Разгоряченный мозг отказывается служить рассудку, теряет всякую способность соображения, им овладевает назойливый фантастический бред, в котором человек совершает самые безрассудные поступки. Таким-то путем революционный невроз приводит к самым ужасным и притом совершенно неизбежным при благоприятном стечении обстоятельств кризисам. Никто из самых ярых сторонников Законодательного собрания и Конвента не оправдывает сентябрьских убийств. Сам Жорес соглашается, «что избиение безоружных узников может свиде-

тельствовать лишь о затемнении рассудка и полном притуплении всяких человеческих чувств». Но рассматривая это кровавое дело как характерное проявление низменных инстинктов человека-зверя, мы, не оправдывая и не осуждая его, можем считать его скорее продуктом массового умопомешательства. Мы охотно бы поверили, что под лоском цивилизации современный гражданин уже окончательно стряхнул с себя остатки того варварства, за которое он столь строго осуждает своих предков. Но на самом деле стоит ему самому попасть в бушующую толпу, и эти варварские инстинкты тотчас же в нем пробудятся вновь, в особенности если эта толпа охвачена страстным религиозным или политическим экстазом. Массовые преступления, когда они только становятся достоянием истории, могут служить для нас самым драгоценным назиданием: мы можем и должны пользоваться этими жестокими историческими уроками. Но если мы их осуждаем безапелляционно, то как же должны мы возмущаться людьми, которые хладнокровно и рассудочно, прикрываясь жалкой пародией на правосудие, стали во время революции неумолимыми поставщиками гильотины, стремясь прикрасить свою жестокость жалкой личиной законности? Разве с этой точки зрения Фукье-Тенвиль и Дюма не должны нести неизмеримо большей ответственности, чем яростные безумцы мальяровской шайки? Последними, по крайней мере, руководили в их поступках исключительно одни бессмысленные, животные инстинкты. Мы приведем этому еще одно последнее и убедительнейшее доказательство, предлагая читателю трогательный мартиролог той, вся вина которой заключалась лишь в том, что она была молода и прекрасна и была любимой подругой королевы Марии-Антуанетты. Читатель уже догадывается, что мы имеем в виду безвременно погибшую принцессу Ламбаль.

Глава III. Мученическая смерть принцессы Ламбаль

Бегство королевской фамилии в Барен было наиболее выдающимся событием 1791 г. Среди немногих приближенных, которых королева Мария-Антуанетта посвятила в этот план, была принцесса Ламбаль, бывшая обер-гофмейстерина королевского двора, замененная лишь незадолго перед тем в этой должности герцогиней Полиньяк.

Между королевой и ее другом — принцессой было условлено, что последняя отправится в Омаль, где жил ее свекор, герцог Пентьеврский, и будет ожидать там писем от королевы тотчас по прибытии королевской семьи в Монмеди.

Во вторник, 21 июня 1791 г., принцесса действительно приехала в Омаль, но тотчас же отбыла далее и на следующий день на английском корабле отправилась в Англию. 23 июня королевская фамилия, возвращенная из неудачной попытки к бегству, прибыла в Тюльери, которые отныне превратились для нее в место заключения.

Месяц спустя Мария-Антуанетта писала своей подруге известное письмо, из которого достаточно привести следующий отрывок. «Я счастлива, моя дорогая Ламбаль, что при ужасном положении наших дел хоть вы в безопасности; не возвращайтесь, я, кажется, всем приношу несчастье. Для моего спокойствия необходимо, чтобы мои друзья не компрометировали себя напрасно, это значило бы себя губить без всякой пользы для нас. Не увеличивайте же моих личных забот беспокойством за тех, кто мне так дорог...»[33].

Несколько времени спустя королева писала ей вновь: «У меня нет более никаких иллюзий, милая Ламбаль, и я полагаюсь теперь только на Бога. Верьте в мою нежную дружбу и если хотите доказать мне ее взаимно, то, прошу вас, бере-

гите свое здоровье и не возвращайтесь, пока не поправитесь окончательно»[34].

Все это время принцесса жила в Англии и вела переговоры с правительством и государственными людьми, стараясь заинтересовать их в участи французской королевской четы. Вместе с тем она лечилась для восстановления своих расшатанных сил. Но она не столько заботилась о своем здоровье, сколько о том, что происходит в Париже при дворе во время ее отсутствия. Письма королевы не могли ее, конечно, успокоить.

В сентябре 1791 г. Мария-Антуанетта пишет ей снова: «Я грустна и огорчена. Беспорядки не прекращаются. Я вижу, как с каждым днем возрастает дерзость наших врагов и падает мужество честных людей. День да ночь — сутки прочь! Страшно думать о завтрашнем дне, неведомом и ужасном. Нет, еще раз повторяю вам, моя дорогая, не возвращайтесь ни за что... Не бросайтесь добровольно в пасть тигра... С меня довольно тревоги за мужа да за моих милых малюток...».

Принцесса была в отчаянии от того, что не может быть полезна своим государям. Невзирая на сопротивление королевы, она настойчиво требует своего возвращения ко двору. «Милая Ламбаль, не возвращайтесь», — пишет ей королева почти в каждом письме. «Не трогайтесь с места», — пишет ей в свою очередь и сам король. «Момент ужасен, я не хочу, чтобы вы жертвовали собою без надобности», — снова повторяет Мария-Антуанетта. Но принцесса, все более и более беспокоясь, слушается только собственного сердца. Под предлогом болезни герцога Пентьеврского она возвращается туда, куда ее требует долг. Она, может быть, еще не думала, что, возвращаясь, устремляется в пропасть, но предчувствие опасности в ней уже зародилось. Перед отъездом во Францию она совершает в Лондоне духовное завещание. Единственной побудительной причиной, заставившей принцессу Ламбаль броситься, как выражается королева, в пасть тигра, была вне всякого сомнения исключительно ее беспредельная преданность королевскому дому, ради которой она не остановилась даже пожертвовать своей жизнью. Мы имеем этому самые несомненные доказательства.

Д'Аллонвиль, автор секретных мемуаров, который пишет и говорит только о том, чему был лично свидетелем, сообщает по этому поводу следующее: «У королевы оставался только один друг, принцесса Ламбаль. Эта красавица возвратилась из Ахена к Марии-Антуанетте, чтобы утешить ее в потере другого не менее нежного друга, отправившегося в изгнание. Напрасно принцессу умоляли отказаться от этой роковой поездки. «Королева желает меня видеть, — отвечала она, — мой долг: при ней жить и умереть».

Другой свидетель говорит почти то же самое. 4 ноября госпожа Ламбаль приехала к больному свекру, а 18-го уже выехала далее, спеша к своей государыне. Только 6 мая следующего года она вновь посетила герцога Пантьеврского, и то всего на одну неделю, спеша снова обратно на свой почетный, но опасный пост.

Вскоре для принцессы представился случай доказать свое мужество и хладнокровие. 20 июня народная толпа ворвалась в Тюльерийский дворец. Госпожа Ламбаль в течение всего этого ужасного дня не оставляла королеву ни на минуту. Во время всей длинной и тяжелой сцены, которая происходила, она, стоя за креслом королевы, казалось, думала исключительно об опасности, угрожавшей государыне, не заботясь ничуть о самой себе.

В этот день Марию-Антуанетту едва не постигла участь, которая через 2 месяца стала уделом принцессы. Мужчины и женщины, вооруженные ножами, вилами и пиками, со страшными криками и ругательствами бросаются к королеве. Один показывает ей пук прутьев с надписью: «Для Марии-Антуанетты», другой представляет ей модель гильотины, третий — виселицу с куклой в женском платье, четвертый сует королеве, не опускающей ни на минуту головы, кусок кровавого мяса, вырезанного в форме сердца, с которого капает кровь[35]. Стойкость принцессы Ламбаль не поколебалась.

10 августа, при обсуждении вопроса о судьбе королевства применительно к новой конституции, Людовик XVI с семейством был помещен в закрытой трибуне, позади президентского места. В этой узкой, дурно вентилируемой и едва осве-

щенной комнатке была страшная жара и спертый воздух. Госпожа Ламбаль, нежная и слабая женщина, упала в обморок и была вынесена замертво. Придя в себя, она тотчас потребовала, чтобы ее отвели обратно к королеве.

После весьма бурного заседания Национальное собрание постановило перевести королевское семейство в Фёльянтинский монастырь. Но кем-то было замечено, что там надзор за пленниками будет совершенно невозможен и потому окончательно решили перевести их в Тампль, где можно было учредить присмотр более строгий.

Королевская семья прибыла в Тампль в 7 часов вечера в понедельник 13 августа. Принцесса Ламбаль была в числе немногих, ее сопровождавших.

В ночь с 19-го на 20-е число вышел приказ Парижской коммуны, предписывавший всем посторонним, не принадлежавшим к королевской семье лицам, немедленно покинуть Тампль. Декрет этот касался и принцессы Ламбаль. Отведенная в Коммунальное управление, она была подвергнута там краткому допросу. Затем ее в продолжение нескольких часов продержали в кабинете одного из членов Собрания. В полдень ее перевели в другую тюрьму.

Госпожа де Турзель, бывшая вместе с принцессой, оставила характерное и правдивое описание этого происшествия: «За нами пришли, — пишет она, — чтобы отвезти нас в тюрьму Форс. Нас посадили в наемный экипаж, окруженный жандармами и сопровождаемый огромной толпой народа. Это было в воскресенье. В карету к нам сел какой-то жандармский офицер. Мы вошли в нашу угрюмую тюрьму через калитку, выходящую на Метельную улицу, недалеко от Сент-Антуанской. Принцессу, меня и мою мать, конечно, разлучили и развели по разным камерам…». Тюрьма, в которой была заключена принцесса, называлась Малой Форс[36].

Здесь содержалось уже 110 женщин, по большей части проституток, а также все обвиняемые в краже белья и столовой посуды из Тюльерийского дворца 10 и 11 августа. Только 9 женщин содержались по политическим делам. Статейный список госпожи Ламбаль гласил: «Мария-Тереза-Луиза Бур-

бон-Ламбаль Савойская. По приказу мэра Петьона и комиссаров 48-ми секций».

Делались ли действительно какие-либо попытки спасти принцессу и существовало ли такое намерение? Говорят, будто в настольном реестре тюрьмы против ее имени была приписка: «3 сентября переведена в Большую Форс». Зачем понадобился этот перевод? К чему было отделять принцессу от ее подруг по неволе, которые большей частью остались в живых? На эти вопросы ответ один: «Ее было решено убить»[37].

За нее, однако, сильно хлопотали перед влиятельными членами Коммуны и, главным образом, перед Мануэлем, который имел решающий голос в делах, и если он не помог, то это значит, что судьба несчастной принцессы зависела не от него одного. Благодаря ему были же освобождены: беременная госпожа Сен-Брис, Полина де Турзель и 24 другие высокопоставленные женщины; лишь одна принцесса не вошла в это число.

Говорили, будто ее свекор, герцог Пентьеврский, предлагал Мануэлю 120 000 ливров, и что якобы последний принял это предложение и обещал освободить принцессу. Действительную роль Мануэля в этом деле обрисовывает человек, принимавший весьма деятельное участие в событиях этой эпохи, а именно врач принцессы Зейферт, дневник которого, до сих пор неизданный, находится у одного из авторов настоящей книги. Он рассказывает, что он прежде всего обратился к Петьону[38] и заявил ему, что над принцессой готовятся совершить страшное преступление. «Народонаселение Парижа, — возразил ему этот малодушный деятель, — самостоятельно ведает правосудие, а я являюсь лишь его рабом». — «Народонаселение Парижа, — ответил ему Зейферт, — не весь французский народ, а небольшая кучка столичных жителей, захватившая теперь власть, тоже не весь Париж... Кто дал право этому сброду быть судьями, приговаривать к смерти и убивать людей под предлогом, что они государственные преступники? Большинство национальной гвардии ждет только приказа, чтобы прекратить это самоуправство, опасное для свободы и постыдное для цивилизованной нации».

«Я не располагаю никакой властью, — отвечал Петьон, — повторяю вам, я сам пленник народа. Обратитесь лучше к тем главарям, которые действуют помимо народного контроля».

Прием, оказанный Зейферту Дантоном, тоже не обещал ничего доброго. «Париж, — сказал он ему угрожающим тоном, — и его население стоят на страже Франции. Ныне свершается уничтожение рабства и воскресение народной свободы. Всякий, кто станет противиться народному правосудию, не может быть не чем иным, как врагом народа!..»

Марат только весело подтрунил над «коллегой» Зейфертом, ученые достоинства которого он ставил очень высоко, но в политическую опытность которого вовсе не верил.

Потеряв всякую надежду смягчить главарей подготовлявшегося движения, Зейферт все еще рассчитывал как-нибудь добиться хотя бы только освобождения своей пациентки, принцессы Ламбаль, из тюрьмы. Он направился к Мануэлю, пользовавшемуся огромным влиянием на народную массу. «Меч равенства, — отвечал ему клубный оратор свойственным ему цветистым языком, — должен быть занесен надо всеми врагами народной свободы. Женщины часто даже опаснее мужчин, а поэтому осторожнее и благоразумнее не делать для них никаких исключений. Впутываясь в это дело, касающееся свободы и равенства нашего великого народа, вы сами рискуете головой из-за простой сентиментальности. Вам, как иностранцу, следовало бы быть осторожнее...».

Зейферт, в отчаянии не зная что делать, бросается к Робеспьеру и пытается возбудить его сострадание.

«Народное правосудие слишком справедливо, — отвечает ему этот честолюбивый лицемер, — чтобы поразить невиновного. Вам ничего иного не остается, как только ожидать результатов этого правосудия. Народ чутьем отличает правого от виноватого. Но он, конечно, не может щадить кровь своих исконных врагов... Я замечаю, — продолжал хитрец, — что вы особенно заинтересованы этой женщиной?»

«Если бы вы хотя один раз встретили ее в обществе, то вы бы поняли участие, которое я в ней принимаю. У нее чудное сердце, она истинный друг народа. Она терпеть не может двор;

она оставалась при нем только по необходимости, чтобы быть возле тех, с которыми ее связывают чувство дружбы и долга... Я спас ей жизнь как врач и знаю ее вполне; она заслуживает полного сочувствия всех друзей свободы. Вы пользуетесь огромным влиянием на народ; одного вашего слова достаточно, чтобы избавить ее от опасности, а этим вы приобретете много искренних друзей».

«То, что вы так откровенно поверяете мне, меня очень трогает, — перебил его этот коварный человек. — Я сейчас же сделаю все от меня зависящее, чтобы освободить ту, о которой вы хлопочете, а вместе с нею и всех ее подруг по заключению».

Час спустя старый доверенный слуга Робеспьера, которого Зейферт когда-то удачно вылечил, явился к нему и сообщил ему следующее:

«Не знаю почему, но вы показались сегодня Робеспьеру очень подозрительным, и он сказал мне, что доктор Зейферт сочувствует вовсе не свободе, а деспотам. Он передо мной проговорился».

Затем Зейферт сообщает о своем визите к герцогу Орлеанскому по тому же делу. «До герцога, — пишет он, — добраться было нелегко. Его негр сообщил мне по секрету, что он сидит, запершись, и никого не принимает. Я тут же написал ему записку: «Примите меня по крайне важному делу». Негр возвратился и повел меня к своему господину. Когда я рассказал герцогу об опасности, которой подвергалась его свояченица, принцесса Ламбаль, он произнес: «Это ужасно! Но что же я могу для нее сделать, когда и сам-то сижу почти под арестом. Ради Бога, скажите мне, что я могу сделать для ее спасения?». Зейферт, по его словам, предложил герцогу написать Дантону и взялся самолично доставить это письмо по адресу. Дантон, кажется, ответил герцогу Орлеанскому, что он примет необходимые меры, чтобы помешать убийствам. Известно, как он сдержал это обещание.

Тем временем наступили сентябрьские события. Не без тревоги ожидала принцесса Ламбаль своей участи, хотя в первый день резни о ней как будто позабыли. Вечером этого дня она бросилась на постель, измученная усталостью и заботами.

На следующий день поутру два национальных гвардейца вошли к ней в комнату и сообщили ей о немедленном переводе ее из тюрьмы Форс в тюрьму Аббатства. Она отвечала, что, хотя все тюрьмы и одинаковы, но ей бы лучше хотелось остаться там, где она уже находится. Она отказалась спуститься вниз и умоляла оставить ее в покое.

Один из надзирателей посоветовал ей лучше повиноваться, прибавив, что от этого может зависеть даже ее жизнь. Она ответила, что готова исполнить все, что от нее требуют, но просит лишь всех выйти на несколько минут на площадку лестницы, чтобы дать ей возможность одеться. Затем, надев платье, она позвала надзирателя и, опираясь на его руку, спустилась вниз в длинную и узкую привратницкую, где уже с раннего утра заседало самозванное народное судилище.

От тесноты здесь было трудно дышать; народ, наполнявший комнату, говорил, спорил, кричал и курил, а изредка сюда же доносились хриплые крики умиравших рядом людей. Ослабевшая принцесса при этом зрелище сразу лишилась сознания. Одна из ее горничных привела ее в чувство, но обморок тотчас же возобновился от поднявшегося вокруг нее крика. Едва она очнулась вторично, как начался допрос. Он продолжался лишь несколько минут.

Гебер, прокурор Городской коммуны, предложил ей следующие вопросы:

— Кто вы такая?

— Мария-Луиза, принцесса Савойская.

— Чем вы занимаетесь?

— Я обергофмейстерина королевы.

— Знаете ли вы о придворном заговоре 10 августа?

— Ничего не знаю и мне неизвестно даже, был ли какой заговор.

— Присягните немедленно, — воскликнул председатель, — свободе и равенству и клянитесь, что вы ненавидите короля, королеву и весь королевский режим.

— Я охотно присягну первому, — возразила принцесса, — но не могу поклясться в последнем, это против моей совести.

Тогда один из присутствовавших шепнул ей тихо: «Клянитесь скорее, иначе вы погибли!» Принцесса не промолвила ни слова, она только подняла руки, закрыла ими лицо и сделала шаг к выходу.

Судья произнес условные слова: «Освободить барыню!». Это был ее смертный приговор.

Говорят, что у судьи было намерение спасти принцессу и что самый допрос не имел иной цели. Несомненно, что колебание было. Когда принцесса отказалась идти, об этом тотчас дали знать городским чиновникам, заседавшим в кровавом трибунале. Последние немедленно отправили нарочного к Петьону и Мануэлю с запросом, что делать далее. Коммунальное управление было близко, и сношения с тюрьмой Форс поддерживались беспрерывно. Гонец быстро вернулся и приказал своим людям затесаться в народ и распустить слух, будто принцесса Ламбаль участвовала в дворцовом заговоре в ночь с 9 на 10 августа. Это и было немедленно исполнено.

Часам к 11 утра в толпе уже послышались крики: «Ламбальшу, Ламбальшу».

Когда чиновники дождались, наконец, такого, якобы народного, требования, они снова отправили наверх за принцессой с приказанием на этот раз привести ее хотя бы силой.

Многие полагают, что ее смерть была предрешена заранее. Это весьма возможно, но возможно также, что подобному решению посодействовала и найденная на ней улика, окончательно решившая ее участь.

Молочный брат Марии-Антуанетты, который оставил после себя полные самого захватывающего интереса мемуары, пишет об этом следующее:

«Не могу отказаться от тяжелой обязанности привести здесь несколько малоизвестных фактов, которыми сопровождалась плачевная кончина самой достойной и самой нежно любимой королевской подруги.

Три письма, найденные в чепчике госпожи Ламбаль во время ее первого допроса, решили ее участь. Одно из писем было от королевы. Этот факт, о котором не упоминается ни в одних записках того времени, подтверждается, однако,

и одним из офицеров герцога Пентьеврского, сопровождавшего принцессу на первый допрос в Городскую думу (20 августа). Он ясно слышал, как один из комиссаров доложил об этих злосчастных письмах, которые, действительно, и были найдены. Доносчик до того в течение восьми лет состоял при принцессе и не раз пользовался ее благодеяниями. Повлияли ли эти письма на решение сентябрьских убийц или нет, мы все же не можем найти ни малейшего оправдания этому преступлению, совершенному притом же в исключительно зверской обстановке».

Эти подробности повторялись много раз, но своевременно, наконец, выделить истину из всех более или менее противоречивых рассказов и из всех более или менее фантастических версий этой кровавой драмы, запятнавшей навеки эпоху террора. Чем же лучше можем мы разоблачить эту истину, как не показаниями свидетелей — очевидцев плачевной одиссеи гнусно-обезображенного трупа, на который обрушилась безнаказанная жестокость рассвирепевшей и охваченной садическим пароксизмом народной толпы.

Вот как описывает первый акт этой драмы секретарь-редактор Комитета общественной безопасности[39].

«Некоторые из деятелей резни, заметив в тюрьме Форс принцессу Ламбаль, тотчас же признали в ней свояченицу царя всех убийц — герцога Филиппа Орлеанского. Она уже будто бы выходила на свободу, когда ее встретил глава палачей-добровольцев и, узнав ее с первого же взгляда, вспомнил, что царь убийц, герцог Филипп, приказал предать смерти и поруганию эту свою родственницу. Он вернул ее обратно и, положив ей руку на голову, сказал: «Товарищи, этот клубок надо размотать!».

В тот же момент один из окружающих, некий Шарла, парикмахерский подмастерье с улицы Св. Павла, бывший барабанщиком Арсийского милиционного батальона, вздумал сорвать с нее чепчик концом сабли. Опьяневший от вина и крови, он попал ей повыше глаза, кровь брызнула ручьем и ее длинные волосы рассыпались по плечам. Двое людей подхватили ее под руки и потащили по валявшимся тут же трупам.

Спотыкаясь на каждом шагу, она силилась сжимать ноги, чтобы не упасть в непристойной позе.

В это время из толпы зрителей выделился какой-то прилично одетый человек, который, видя бесстыдные поступки убийц над обнаженной уже принцессой и неимоверные усилия, которые она, невзирая на грозящую ей смерть, делала, чтобы прикрыться от взоров толпы, закричал в негодовании: «Стыдитесь, несчастные! Вспомните, что и у вас есть жены и матери!» В одну минуту тысяча копий пронзила его насквозь и его тело было растерзано в клочья!

Зловещее шествие достигло узкого переулка, между С.-Антуанской улицей и тюрьмой Форс, называемого Метельной улицей[40].

Здесь несколько человек отважились крикнуть: «Помогите! Помогите!» — «Смерть переодетым Пентьеврским лакеям!» — закричал один из злодеев, по имени Мамэн, и бросился на требовавших снисхождения с обнаженной саблей. Двое из этих преданных слуг были зарублены на месте, остальные спаслись бегством[41]. В тот же момент Шарла ударил принцессу, лежавшую уже без чувств на руках у тащивших ее людей, поленом по голове, и она свалилась замертво на груду трупов.

Другой злодей, мясник Гризон, отсек тотчас же ей голову мясным косарем[42]. Обезглавленный труп был брошен на поругание черни и оставался в таком положении более двух часов. По мере того как кровь, которая струилась из ее трупа и из трупов других жертв, которые валялись кругом, заливала тело, специально поставленные люди обмывали его, цинично обращая внимание окружающих на его белизну и нежность[43]. Возмутительные по распутству сцены, которые при этом происходили, не поддаются никакому описанию.

У несчастной женщины вырезали груди, потом вскрыли живот и вытащили все внутренности. Один из злодеев обматывает их вокруг себя, вырывает сердце и подносит его к своим губам. По уверению одного из свидетелей-очевидцев он даже рвал его зубами[44]. Все, что можно придумать ужасного и зверского, пишет другой современник, Мерсье, все было проделано над телом Ламбаль. Когда, наконец, оно было

окончательно обезображено и изрублено в куски, убийцы поделили их между собой, а один из них, отрезав половые органы, устроил себе из них искусственные усы. Все зрители были объяты чувством отвращения и ужаса[45].

Коллекционеры ничем не гнушаются. Лет 20 тому назад в одном замке эти части ее тела показывались засушенными и растянутыми на шелковой подушке[46].

По словам Пельтье и Бертрана де Мольвиль, одну ногу, оторванную от туловища несчастной, зарядили в пушку и выстрелили. Какой-то господин, проходивший 3 сентября 1792 г. мимо тюрьмы Форс, присутствовал тоже случайно при всех перипетиях этой драмы.

Он видел, что из тюрьмы вышла «небольшого роста, одетая в белое платье, женщина, которую палачи, вооруженные разным оружием, немилосердно били»; видел затем, как ее обезглавили, и потом последовал за шествием, в котором влачили по всему Парижу окровавленные клочья мяса, бывшие еще накануне прекрасной принцессой Ламбаль, той неотразимо-обаятельной женщиной, про которую говорили, будто она служила своей красотой у подножия самого трона. Убийцы, влача по земле кровавые останки, пробежали несколько улиц. Дойдя до конца улицы св. Маргариты, они заметили, что из лохмотьев одежды, болтавшихся еще на трупе, выглядывает какой-то предмет. Произвели осмотр и нашли небольшой портфель. Барабанщик Эрвелен его спрятал и, не теряя времени, сдал в Комитет секции Воспитательного дома. Председатель вскрыл бумажник и, составив опись находившимся в нем документам, возвратил его Эрвелену, одобрив его поведение.

Отсюда последний отправился в Законодательное собрание и так как заседание было уже окончено, то он обратился к приставу, который направил его в Наблюдательный комитет общественной безопасности, куда он и передал, наконец, и опись и бумажник[47].

По окончании допроса по этому делу председатель спросил еще Эрвелена, не заметил ли он, кто именно держал на конце пики голову или какие-либо другие части тела прин-

цессы? Эрвелен ответил отрицательно. Допрос продолжался. Чтобы не лишить его своего поразительного реализма, мы приведем часть его дословно.

На вопрос, не лежала ли голова вышеупомянутой женщины на прилавке кабачка, где они выпивали, Эрвелен ответил, что он этого не видал.

> Вопрос. — Не было ли изжарено сердце бывшей принцессы Ламбаль по требованию людей и даже его самого в топившейся печке в этом заведении и не ел ли он затем сам этого сердца?
> Ответ. — Не видел и не ел.
> В. — Не носил ли он на острие своей сабли половые органы Ламбаль?
> О. — Нет, а носил кусок ее гребенки.
> В. — Как же можно было прикрепить кусок гребенки на конец сабли?
> О. — Это была часть головного убора — тока.
> В. — Но гребенка и ток — две разные вещи?
> О. — Они были соединены проволокой.
> В. — Где он подобрал эти вещи?
> О. — В канаве, напротив тюрьмы Форс.
> В. — Не принимал ли он участия в процессии, которая ходила по улицам с головой и другими частями тела убитой?
> О. — Нет.

Мы попытаемся на основании сохранившихся свидетельских показаний восстановить путь, по которому проследовало шествие с останками принцессы. Из тюрьмы Форс оно прежде всего направляется в Тампль по улицам Франбуржуа, Шом и Кордери[48]. Приблизительно около полудня на улицах послышался страшный шум и образовалось огромное скопление народа. Жена одного из бывших академиков-живописцев, когда-то обязанная принцессе, госпожа Лебель, подошла справиться у прохожих в чем дело. «Это носят по Парижу голову Ламбальши», — последовал ответ. Госпожа Лебель поспешила укрыться у одного парикмахера, которого счита-

ла роялистом по убеждениям. Но едва она к нему вошла, как в магазин нахлынула толпа народа, требуя от парикмахера, чтобы он «отделал» голову принцессы. Последний вынужден был повиноваться. Он вымыл мертвую голову и завил и напудрил ее белокурые волосы, запятнанные кровью. «По крайней мере теперь Антуанетта ее узнает», — сказал тот, который нес этот трофей, поднимая пику со вновь насаженной на нее головой несчастной жертвы[49].

Муниципальная стража в Тампле около часа дня услыхала, что толпа несет голову принцессы, чтобы заставить королеву к ней приложиться в последний раз, и затем влачить по улицам уже 2 головы. Конный ординарец, посланный из тюрьмы на разведку, донес, что действительно по направлению к Тамплю движется колоссальная толпа народа со своей ужасной добычей. Немедленно навстречу толпе были посланы два комиссара с приказанием вступить с ней в переговоры и, по возможности, успокоить наиболее возбужденных. Единственным оружием, которое имели в своем распоряжении эти чиновники для защиты от насилий толпы, были их трехцветные шарфы. Один из них, взобравшись на стул, обратился к народу с речью. Он сказал, что выбранным народом чиновникам Национальное собрание поручило хранить королевское семейство как ценный клад, за который они должны отвечать и перед Собранием, и перед всей Францией, и что они поклялись сохранить его в полной неприкосновенности. Он дал понять толпе, как было бы неполитично упускать из рук столь драгоценный залог в тот момент, когда границы Франции уже находятся в руках неприятеля. С другой стороны, если король и королева будут убиты без суда и следствия, то не послужит ли это им в оправдание в глазах всей нации? Речь закончилась воззванием к толпе, чтобы она остерегалась подстрекательств злонамеренных лиц, которые стремятся только к буйству, рискуя уронить этим парижан в глазах всех остальных французов. Чтобы оказать доверие благоразумию народа, он объявил, что решено допустить шестерых его представителей в сад, окружающий Тампль, в сопровождении самих комиссаров.

Тотчас же были отворены ворота и около 12 человек вошло в ограду, неся кровавые трофеи. Они в порядке проследовали до башни замка, но за ними все же успело проскользнуть немало рабочих, и поддержание порядка стоило немало труда. Раздались голоса, требовавшие, чтобы Мария-Антуанетта подошла к окну, другие кричали, что если она этого не сделает, то надо самим подняться наверх и заставить ее приложиться к отрубленной голове ее бляди. Благодаря исключительной твердости чиновников, которым была поручена охрана Тампля, этого допущено не было. Видя, что им не удается добиться своей цели, убийцы разразились страшными проклятиями и отвратительными, непристойнейшими ругательствами».

Куда могла направиться затем дикая орда после этого визита? С некоторым вероятием предполагалось, что она бросится на бульвары до С.-Денисских ворот, чтобы пройти к Тулузскому отелю (ныне Французский банк), где жил герцог Пентьеврский. Здесь уже приготовились ко всяким случайностям. Сознавая бесполезность сопротивления, герцог приказал открыть галереи дворца и ждал страшного посещения.

Банда, увеличиваясь в числе, уже проходила по улице Клери, когда к Шарла, несшему впереди всех голову принцессы, подошел какой-то человек и спросил его, куда они идут?

— Дать поцеловать этой сволочи ее роскошную мебель, — отвечал Шарла.

— Вы ошибаетесь, — возразил ему тот, — она здесь никогда не жила; ее квартира в отеле Лувуа или в Тюльери.

Действительно, у принцессы была квартира в Тюльери и конюшни на улице Ришелье, но жила она в Тулузском отеле. К счастью, этому человеку поверили на слово, и ватага повернула сразу к Тюльери.

Трудно установить с точностью, прошла ли она через Пале-Рояль по пути к Тюльери или попала туда, идя обратно.

Герцог Орлеанский, живший в Пале-Рояле, собирался садиться за стол в обществе своей любовницы госпожи Бюффон и нескольких англичан, его приятелей. Вдруг во дворе

дворца раздались неистовые вопли толпы. Стоявшие у окна увидели на пике голову принцессы Ламбаль; охваченные ужасом, как сообщает один из свидетелей, они отступили на другой конец комнаты, где сидел герцог Орлеанский, заинтересовавшийся тоже происходившим на улице; на его вопрос ему ответили, что народ несет человеческую голову, насаженную на конец пики. «О, — сказал он, — только-то?! Ну, так давайте обедать!»

Затем он осведомился, убиты ли сидевшие в тюрьмах женщины, и, когда ему ответили, что некоторые из них погибли, спросил: «Скажите мне, пожалуйста, что сталось с госпожой Ламбаль?» Сидевший около него англичанин молча провел рукой вокруг шеи. «Я вас понимаю», — сказал герцог и тотчас перевел разговор на другую тему[50]. Этот эпизод, характеризующий психологию Филиппа Эгалите, которому история еще и доныне не вынесла оправдательного приговора, заслуживает особого внимания.

Многие предполагали, что убийцы принесли к его окнам голову его свояченицы именно для того, чтобы доказать ему, что его приказания исполнены в точности. Но теперь еще не пришло время разъяснять двусмысленное положение, которое он вообще занимал в это смутное время. Весьма возможно, что он и не выказал вовсе ни того хладнокровия, ни того цинизма, который ему приписывают в данном случае. Мы скорее склонны думать, что и он был, наверное, потрясен этой драмой, если не из сострадания к погибшей родственнице, то хотя бы потому, что сам должен был опасаться подобной же участи; он только не выказал своих чувств открыто, может быть, просто из трусости.

Одна высокопоставленная англичанка, присутствовавшая при этом, передавала впоследствии, что ей показалось, будто бы герцог был сильно потрясен этим событием. Он сказал ей, что со своей стороны сделал все, от него зависящее, чтобы спасти принцессу Ламбаль. «Судя по тому, что я узнала впоследствии, — продолжает рассказчица, — я уверена, что он говорил правду, так как он всегда вообще выражал самое живое участие к несчастной мученице»[51].

Отложим пока в сторону дальнейшие комментарии и проследим окончательную судьбу несчастных останков, печальную одиссею которых мы описываем.

В Тюльери стража не допустила народную орду ворваться во дворец. Тогда она направилась по улицам С.-Онорё, Ферронери, Верьер и Сицилийского короля и возвратилась обратно к пункту своего отправления — на Метельную улицу. Вероятно, в это время она и зашла в С.-Антуанское аббатство, чтобы поднести кровавый трофей госпоже Бово, бывшей настоятельницей аббатства и интимным другом принцессы. Но это еще не было ее последней остановкой. Один автор[52] утверждает, что он слышал от одного из своих родственников следующую ужасающую подробность. Он проходил С.-Антуанской улицей, по которой повсюду валялись груды трупов. Кровь текла по канавам, как дождевая вода. Чувствуя, что ему от ужаса становится дурно, он зашел в погребок и спросил стакан воды. Пока он пил, толпа убийц ворвалась туда же и потребовала вина. В руках у одного из чудовищ была только что отрубленная женская голова, великолепные белокурые волосы которой были обернуты у него вокруг руки. Чтобы выпить стакан, он положил голову на свинцовый прилавок кабака. Это была голова принцессы Ламбаль.

Выйдя отсюда, дикари побежали по направлению к Шателе, вероятно, с намерением избавиться от останков, сдав их в морг. Но так как последний был закрыт, то они просто бросили их на соседнем дровяном дворе.

Что касается собственно головы, то ее великолепная шевелюра еще украшала ее, когда чудовища задумали показать ей место, где она покончила свое земное существование. В их отвратительном бреду они воображали, что безжизненные останки жертвы могут еще чувствовать наносимые им оскорбления...

Когда голову проносили в ворота тюрьмы, какой-то парикмахер с невообразимой ловкостью отрезал от нее волосы покойной.

«Говорят, что некто Пэнтель воспользовался этим моментом для того, чтобы вырвать железное острие, на которое

была насажена голова, и завернул ее в салфетку, которую принес с собой специально с этой целью; потом он вместе с товарищами пошел в Попэнкурскую секцию и заявил, что у него в узле находится мертвая голова, которую он просит оставить пока на кладбище Quinze-Vingts, а завтра он придет за ней с двумя другими товарищами, причем пожертвует 100 экю на бедных участка...». Полицейский комиссар участка распорядился похоронить эти бренные останки на кладбище Воспитательного дома[53].

Ознакомившись с ужасными подробностями умерщвления принцессы Ламбаль, мы попытаемся установить ниже истинные мотивы этого дикого преступления.

Почему жертвой пала именно она, а не другие, невинность которых была, может быть, даже менее бесспорна? Мы указывали уже в начале настоящей главы, что доказательством преднамеренного убийства принцессы является перевод ее 3 сентября, одной из всех заключенных с нею придворных дам, из Малой Форс в Большую. «Это исключение заслуживает особого внимания», — пишут авторы «Histoire parlementaire de la Révolution française», — оно доказывает, что ее или хотели судить, считая виновной, или же хотели, по крайней мере, подвергнуть опасности — быть судимой» (т. XVII, с. 417). Те же историки высказывают свои предположения и о главной причине этого убийства. Не может ли осуждение принцессы Ламбаль быть объяснено особенной ненавистью к ней со стороны народа?

Здесь уместно вспомнить о разных появлявшихся в это время брошюрах, в которых обличались нравы французской королевы. Госпожу Ламбаль в них тоже не щадили, выставляя ее подчас в роли едва ли не публичной женщины. Народ ничего этого не забыл и, конечно, в его глазах принцесса пользовалась уже давно скверной репутацией, которой в сущности, может быть, и не заслуживала. На нее обрушивалась вся ненависть, которую народная масса питала к королеве за якобы легкомысленное поведение, приписываемое ей стоустой молвой[54].

По нашему мнению, это и есть настоящая причина того исключения, жертвой коего пала Ламбаль, так как, по словам

современников, «вообще было условлено женщин пощадить» (там же, с. 415).

Это мнение находит себе подтверждение и в тех неописуемых, полных самого дикого безобразия и распутства сценах, которые разыгрывались вокруг ее еще теплого трупа.

Автор «Парижских картин» — Мерсье, относящийся весьма неблагосклонно ко всем «бывшим» (т. е. аристократам), не находит, однако, никакого оправдания этому «столь же гнусному, сколь и бесполезному» «подвигу» сентябрьской резни, так как и в глазах самой толпы, говорит он, единственным преступлением принцессы была ее искренняя привязанность к королеве.

«В народных волнениях вообще принцесса не играла никогда никакой выдающейся роли; на нее не падало никакого подозрения и она, напротив, была известна всему народу своей обширной благотворительностью. Самые беспощадные журналисты, самые пылкие народные ораторы никогда не указывали на нее ни в своих статьях, ни в своих речах». Проводя такое суждение, Мерсье, по-видимому, однако, забывает содержание памфлетов, направленных против Марии-Антуанетты и обвинявших ее, между прочим, в склонности к противоестественному лесбийскому пороку. В этих брошюрах принцесса Ламбаль почти всегда упоминалась, как подруга и сообщница королевы по разврату[55].

Нельзя сомневаться, что это обвинение руководило многими из тех, которые гнусно надругались над ее трупом.

Искали, впрочем, и другие причины кроме ее дружбы с Марией-Антуанеттой.

Некоторые подозревали герцога Орлеанского в соучастии в убийстве своей свояченицы[56]. Иные говорили, что и Робеспьер играл в этой мрачной драме какую-то зловещую роль, которая, однако, и по сие время остается окончательно не выясненной[57].

Необходимо ли теперь, когда мы установили роль, сыгранную главными виновниками в подготовке только что описанной нами драмы, распространяться о соучастниках этого преступления. Палачи[58] только исполнили полученный приказ,

но, однако, утонченная жестокость и кровожадные излишества, которым нет ни имени, ни счета, должны, без всякого сомнения, падать всецело на совесть этих душегубов[59]. Их образу действий можно найти если не снисхождение, то хотя бы некоторое объяснение только в том кровавом опьянении, в том временном умопомрачении, которое психиатры определяют термином «садизма толпы», и несомненной наличности коего мученическая кончина несчастной принцессы Ламбаль служит одним из печальнейших, но и убедительнейших подтверждений.

Глава IV. Патриотические бичевания

От кровожадного садизма, примеры коего мы привели выше, необходимо перейти теперь к другим более умеренным проявлениям того же порока, несомненно, менее зловредным для его жертв, чем уже описанные, но все же по своей сущности не только унижающим человеческое достоинство, но и весьма болезненным. Сюда относятся телесные наказания, весьма неумеренно применявшиеся в течение всего революционного периода.

В этом отношении революция не выдумала ничего нового. Она наследовала этот обычай от прошлого режима и, вместо того чтобы отвергнуть это с негодованием, как отвратительный и несогласный с ее достоинством, напротив, дала ему едва ли не более обширное применение.

У людей этой эпохи было странное представление о человеческом достоинстве. Они из гуманности вводят гильотину для сокращения мучений и упрощения исполнения приговоров и сохраняют в полной неприкосновенности самую обыкновенную и унизительную порку, которую наравне с колодкой и позорным столбом следовало бы первым долгом сдать в архив дореформенного режима.

Напротив, в руках народа розги становятся тотчас же самым излюбленным орудием. Часто и долго битый по капризу своих бывших бар, простодушный Жак Боном, в свою очередь, начинает щедро и основательно расправляться плетью направо и налево. Его усердие возрастает при виде обнаженных прелестей красавиц аристократок, и дремлющий в нем садизм пробуждается. Какое наслаждение истязать белые нежные тела, полосовать их до крови, в то время как багровые от стыда и боли их обладательницы, монахини и бывшие «барыни» корчатся и бьются под бичом народного самосуда!

Откуда могли бы смягчиться нравы простого народа и как ему было отрешиться от варварства, когда правившие им доныне классы сами сплошь и рядом проявляли полную некуль-

турность. Всякий порабощенный класс, хотя бы даже возмутившийся против притеснителей, перенимает у них же способы расправы с противником. Розги, применявшиеся в старину исключительно лишь к прелюбодеям и к падшим женщинам, в ближайшие к 89-му году времена начали пользоваться все больше и больше популярностью и особенно прочно вошли в обычай в тюрьмах и больницах, которые в то время немногим отличались от мест заключения.

В госпитале Сальпетриер «прелесть» телесного наказания пришлось испытать на себе госпоже Ламотт, героине знаменитого процесса об «Ожерелье королевы». Эти наказания были здесь даже прямо узаконены. «Кто не исполнит урока по шитью: полрубахи, — гласит устав больницы, — тот дважды в день подвергается наказанию плетью». Это считалось единственным радикальным средством удержать преступников в повиновении[60]. В госпитале Бисетр щедро секли при всяком удобном случае лиц обоего пола. Их раздевали донага и били плетью или розгами по чему попало: по голому телу, по ногам и даже по голове. Но особенно курьезно, что телесному наказанию уже без всякой вины, а как бы в виде предварительного целебного средства подвергались все поступающие в больницу сифилитики, до начала надлежащего лечения[61]. Достоверно известно, что телесное наказание в очень широких размерах применялось и в больнице Св. Лазаря. Недруги Бомарше, желая погубить его репутацию, распространяли в публике картинку, изображавшую исполнение над ним подобной экзекуции. Хотя достоверность этого факта многими и отрицалась, но ныне, по последним исследованиям, он, к сожалению, вне всякого сомнения[62].

Вообще, и в городе и при дворе, как среди аристократии, так и в буржуазии, розги считались тогда наилучшим воспитательным и карательным средством; зато в них в то время и не видели, как ныне, ничего оскорбительного для человеческого достоинства: злоупотребление ими как будто атрофировало их воздействие на моральное чувство. Лишь со времен революции, когда бичевания стали производиться публично и как бы умышленно, с целью попрать оскорбляемое чувство стыдливости, телесные наказания начинают приобретать

и нравственно-оскорбительный характер. Более, может быть, чем от физической боли, жертвы его страдают от позора, с которым соединяется это наказание. Народ жестоко издевается над всеми и особенно над женщинами, которые имеют несчастье почему-либо ему не понравиться. Знатных женщин секли прямо на улицах; монахинь истязали в стенах монастырей, куда врывались толпы черни. Но телесное наказание не было, однако, исключительно уделом одних «подозрительных» представителей старого режима; к нему прибегали подчас и соперничающие между собой республиканцы разных оттенков и партий, и нередко уличные схватки между якобинцами и брисотинцами[63] оканчивались «генеральной поркой» побежденных. Однажды один из наиболее влиятельных якобинских ораторов, гражданин Варле, произнес в своем клубе речь, в которой обвинял сестер милосердия национальной больницы в укрывательстве священника, не принесшего присяги революции и тайно отслужившего у них панихиду по тирану — Людовику XVI. В заключение он требовал примерного наказания виновных. «Мы беремся за это», — воскликнула тотчас же одна из вязальщиц, наполнявших хоры клуба и на которых речи Варле действовали всегда особенно возбуждающе.

В ту же минуту банда мегер отправилась прямо из клуба к национальной больнице. Четыре вязяльщицы врываются в госпиталь и вскоре появляются обратно, влача за собою несчастных сестер, даже не подозревающих, куда и зачем их ведут. Они, впрочем, недолго остаются в неизвестности. Вязальщицы схватывают их, пригибают к земле и, подняв юбки, секут их жесточайшим образом ремнями и розгами в присутствии огромной собравшейся кругом публики, не обращая ни малейшего внимания на их мольбы и крики. Гнусное истязание, конечно, жестоко отразилось на здоровье всех пострадавших. Одна же из них, которой удалось вырваться и убежать по направлению к мосту, была поймана там жестокой толпой и утоплена в Сене[64]. Здесь действовала, по всей вероятности, та же самая банда, которая 9 апреля 1791 г., имея в своем составе массу мужчин, переодетых женщинами, последовательно врывалась во все парижские женские монастыри, набрасывалась

на монахинь и послушниц и забавлялась их публичным истязанием и бичеванием. Приведем описание этого достопамятного дня, заимствованное из газеты того времени: «Наша доблестная национальная гвардия оказалась бессильной в присутствии самых постыдных насилий. Она была невольной свидетельницей, как дикая толпа срывала одежды и секла всех монашек, без различия возраста и положения. Не щадили ни робкой молодежи, ни дряхлых старух; девочки-подростки и восьмидесятилетние почтеннейшие дамы подвергались одинаковой участи. Толпа, обнажив их, гоняла затем их розгами по длинным монастырским коридорам, садам и террасам, осыпая ударами и подвергая оскорблениям, более жестоким, чем сама смерть. Не были пощажены даже сестры св. Винцента, известные всему народу своей скромностью, благочестием и самоотверженно служившие на помощь ближнему. Их били и истязали своими окровавленными руками те, которых они столь часто кормили, одевали и лечили. Словом, наша гвардия с глубокой скорбью вынуждена была быть безмолвным зрителем, как в течение нескольких часов на этих девственниц обрушивались все насилия, на которые способны разве только солдаты в городе, только что взятом штурмом. Когда же ярость бушующей толпы утихла, то последняя спокойно разошлась сквозь ряды солдат без малейших препятствий[65, 66].

Седьмого апреля 1791 г. много монахинь снова подверглось телесному наказанию в разных кварталах Парижа. «И поделом», — добавляет сообщающий об этом репортер Горза[67].

«Вчера в половине одиннадцатого, — читаем мы в брошюре от того же числа, — обитательницы С.-Антуанского предместья обратили внимание, что в местном монастыре уже отслужены с утра 22 обедни[68], между тем как обыкновенно их служили не более шести или семи. Это обстоятельство, по их мнению, свидетельствовало о стечении в монастыре священников, не принявших республиканской присяги. Тотчас же, с большой торжественностью и с громадными пучками прутьев, местные республиканцы направились шествием к церкви. Двери оказались заперты, но вскоре, по воле этого народного сената, их открыли; вожаки ворвались в церковь и нашли

там только одну ханжу-аристократку, которую бывший викарий церкви Св. Павла, Подевэн, тайно исповедовал. Народный суд тут же на месте преступления приговаривает ее к публичному сечению вместе с двумя привратницами, не впускавшими процессию в монастырь; экзекуция была произведена безотлагательно. Четыре женщины вывели исповедницу на середину улицы, без всякого стеснения обнажили ее и жестоко высекли, не щадя ее прелестей, наверно, весьма милых ее духовнику. Толстых привратниц постигла тут же та же участь. Их тонкие белые платки, предназначенные для отирания покаянных слез, на этот раз послужили им, чтобы стирать грязь, которой уличные мальчишки забросали их чрезмерно белые, обнаженные во время экзекуции части. Если бы национальная гвардия не подоспела вовремя, то и всех остальных монахинь постигла бы та же участь».

Число женщин, подвергшихся телесным наказаниям, было вообще весьма значительно[69]. Три сестры монахини — паулинки, приписанные к приходу Св. Маргариты, умерли от последствий насилия. Памфлетисты прославляли эти зверства с безумным восторгом. Вместо того чтобы стараться их замолчать или смягчить, они нагло кричали о них с самыми грязными подробностями. Один из этих памфлетов носил довольно откровенное заглавие: «Список монашек и ханжей, высеченных торговками разных кварталов Парижа, с обозначением их имен и приходов, к которым они принадлежали, и с точными подробностями о их любовных сношениях со священниками, викариями и завсегдатаями их приходов». Автор памфлета, не входя в частности, бросает гуртом всем потерпевшим обвинения в безнравственности: он возводит даже на монахинь св. Роха, будто они кипятили масло, чтобы облить им приходского священника, приверженца конституции, когда он будет проходить под их окнами! Другой памфлет озаглавлен так: «Список блядей-аристократок и конституционалисток, высеченных вчера торговками рынка и С.-Антуанского предместья». Он написан таким слогом, что цитировать из него что-либо нет никакой возможности. Автор удостоверяет, что телесному наказанию подверглись в этот день сразу три сотни монахинь и светских женщин.

10 апреля муниципальный совет Парижа опубликовал воззвание, в котором строго порицал лиц, стремящихся карать этим позорным наказанием монахинь за их привязанность к реакционерам. Впрочем, все это делалось более лишь для виду, и подстрекатели, прекрасно понимая это, вместо того чтобы образумиться, продолжали еще усерднее действовать в том духе[70].

В эпоху всемогущества Неккера одна женщина была высечена за то, что плюнула на его портрет[71]. Вскоре затем, когда этот министр пал, другая подверглась той же участи за то, что сохраняла у себя его портрет. В сентябре 1790 г. на улицах Парижа продавалась брошюра, озаглавленная: «Беседа дворянина со своей женой, высеченной в Пале-Рояле за хранение портрета Неккера».

Госпожа Альбани была крайне обижена на Францию за поэта Альфиери и за себя. «Эти обезьяноподобные тигры», как она называет французов, внушали ей ужас; убегая от них, она на заставе была подвергнута толпой варваров одному из тех обычных насилий, которыми революция осыпала аристократок, отказывавшихся от республиканской кокарды, и молодых монашенок, отказывавшихся от мира[72].

Госпожа де Коаньи едва не подверглась такой же участи. 22 июля 1791 г., когда в Париже стало известно о бегстве королевской семьи, любопытство толкнуло ее вместе с одним из ее друзей, г. де Фонтенэйлем отправиться на Карусельскую площадь. Ее аристократическая внешность, вероятно, возбудила сразу подозрительность толпы. С угрозами, а может быть, и побоями ее увели в Тюльери, где она оставалась арестованной в королевском кабинете от 11 до 4 часов дня, пока де Бирон не явился из Национального собрания и не освободил ее вместе с ее спутником.

В одном из писем принца де Линя последний в остроумных стихах намекает на то, что ей угрожало. Вот эти стихи в вольной передаче:

Пугаться незачем, прелестная маркиза:
Не голову срубить,

Лишь прелесть обнажить
Твою хотел народ французский.
Он прав сто раз:
Зачем скрывать,
Зачем таить,
Что красотой и белизной
Всей расы нашей гордость составляет?

Провинция последовала весьма охотно примеру столицы. В Нанте, в день прибытия конституционного епископа, газеты поместили объявление, которым «старые ханжи» предупреждались, что 45–50 молодых людей, вооруженных розгами, умеют подавлять всякие выражения неудовольствия против избранного народом пастыря и в случае чего «задрав юбки, немедленно отхлещут всех недовольных»[73].

В Лионе 8 апреля, на Пасху, якобинцы завладели церквями и часовнями и предались в них самым возмутительным бесчинствам.

«Я видел, — пишет очевидец, — как на мирных жителей нападали шайки разбойников, я видел, как слабый женский пол становился предметом самых яростных преследований, как наших жен и дочерей волочили по грязным улицам, публично секли и всячески обесчестили. Картины эти никогда не изгладятся из моей памяти».

«Я видел женщину, окруженную окровавленными людьми, всю в слезах, раздетую, с опрокинутым в грязь туловищем и закинутой головой. Своими нечистыми руками они хватали ее за самые нежные части тела, открыто удовлетворяя на ней грязные инстинкты зверства и разврата. Она была чуть жива от стыда и отчаяния. Что касается стражи, то она являлась только чтобы любоваться преступлениями, а не пресекать их. Чаще же всего разбойники находили в ней всякую поддержку, а вовсе не противодействие.

В одном месте часовой загораживает священникам дорогу штыком, в другом — стража умышленно выпускает людей, которые высекли женщину, и задерживает человека, который ее защищал, а патрули при виде всех этих ужасов открыто им рукоплещут».

Эти «гражданские экзекуции» так вошли в моду или, вернее, так на нее повлияли, что в них усматривают даже происхождение появившегося тогда обычая ношения женщинами «невыразимых».

По свидетельству Тэна, «сознавая почти полную невозможность избегнуть столь щедро применявшегося телесного наказания, женщины высших и средних классов начали сшивать свои сорочки между ног с целью уберечься при экзекуциях хотя бы от публичного обнажения — отсюда, говорит историк, и возник впервые обычай ношения женщинами панталон». Мы оставляем, впрочем, это объяснение всецело на ответственность его автора.

Во все эпохи народных смут и волнений имели место почти одни и те же болезненные явления. Конечно, не революции принадлежит монополия пробуждения «садизма» в толпе. После террора он только притаился, но даже и утонченная цивилизация XIX в. далеко не победила этого низменного инстинкта. Плохо знает народную душу тот, кто представляет ее себе настолько сознательной, вдумчивой и уравновешенной, чтобы она перестала быть когда-либо способной на чисто животные порывы, в которых жестокость сливается со сладострастным развратом. Число исторических примеров бичевания неисчерпаемо.

В эпоху реставрации на юге Франции дамы-роялистки ловили и в праздники и в будни женщин и девушек протестанток, таскали их по улицам, бросали на землю, задирали юбки и яростно колотили их вальками с железными лилиями и острыми краями, которые впивались в тело[74]. Эти инструменты получили даже поэтому наименование «королевских вальков»[75].

Плеть и хлыст служили часто средством телесного воздействия то в руках аристократии, то в руках народа; употребление их особенно распространилось в периоды революции и следовавшей за нею реакции. В 1851 г. генерал Гербиллион перепорол всех захваченных им инсургентов. Во времена Коммуны, в 1871 г., тоже не преминули широко воспользоваться этой исправительной мерой.

Психология толпы во время восстания 1871 года была очень удачно схвачена Лабордом, но труд его ныне уже исчез из обращения. Вот факт, о котором он, однако, не упоминает и который мы заимствуем из записок Рошфора. Описывая вступление пруссаков в Париж 1 марта, он говорит: «Все было спокойно. Единственным фактом, нарушившим порядок, был арест и «порка» парижанами трех негодниц, которые вышли на Елисейские Поля навстречу неприятельским офицерам и стали бесстыдно, на глазах у всех, осыпать их поцелуями. Толпа набросилась на них с гиканьем и руганью, раздела их почти донага и жестоко высекла. Им плевали в лицо и били кулаками. Не была ли эта дерзкая выходка немок, живших в Париже и вышедших приветствовать своих соотечественников? Я этого не мог узнать, так как они, растерзанные, стремительно убежали и скрылись в соседних домах, откуда могли выйти только с наступлением ночи». Эпизод этот находит подтверждение — хотя не во всех подробностях — у одного из летописцев осады. «Ни один парижанин, — пишет Франсис Вэй, — не показывался в квартале Елисейских полей, занятом неприятельскими войсками. Только несколько тварей, одетых в пестрые наряды, отважились на нечестивые сношения с врагами родины. Народ вырвал их почти из объятий немецких офицеров и тут же высек их публично, на глазах у последних». Наконец, нужно ли вспоминать, что на другой день после известного процесса о торговле орденами[76] скомпрометированная в нем госпожа Лимузен, осмелившаяся появиться в публике, была тоже, просто-напросто, высечена наивной парижской толпой, которая доныне считает свой самосуд без проволочек и юридических хитросплетений наилучшей из всех форм судопроизводства.

Не надо вообще забираться далеко в историю веков, чтобы убедиться, что плеть и розги — излюбленные средства народного воздаяния!

В поразительно реальной сцене Золя изображает страшную схватку между Жервезой и Виржини, заканчивающуюся, как известно, жесточайшей «поркой» вальками. И на этот раз нужно признать, что бытописатель Ругон-Маккаров ничего не выдумал «из своей головы».

Отдел второй
Преследователи и преследуемые



Глава I. Революционный трибунал

Отличительная черта всех революций — это подчинение законов и правосудия грубой силе. Против злоупотреблений свергнутого режима возмущенный народ выводит на сцену открытое насилие, и нелегкое, даже и в мирные времена, уравновешение всеобщих прав становится вовсе невозможным в моменты народной смуты. Чашки общественных весов приходят в непрерывное колебание. После монархического гнета наступает период народовластия; за революциями наступает реакция. И так продолжается, пока общественное самосознание не придет, наконец, в себя и не восстановит равновесия своих умственных сил; пока между разными классами общества не установится более или менее прочного жизненного компромисса.

Едва народившаяся французская революция вступает как будто в соревнование с неправдами, творившимися при королевском самодержавии, и возводит сама насилие в систему управления. Народная тирания становится суровее королевской. Затем берет перевес реставрация, снова заканчивающаяся второй революцией. Вся история XIX в. представляет во Франции лишь ряд таких переходов власти от одной формы правления к другой. Необходимое равновесие было бы, конечно, достигнуто скорее, и эволюция пошла бы по более ровному пути, если бы люди 1793 г. сумели избежать ошибок и насилий террора.

Было ли это, однако, возможно? Как было требовать от народа, — внезапно призванного, но вовсе не подготовленного к власти, — мудрости Солона или Ликурга? Такое требование свидетельствовало бы лишь о глубочайшем неведении как человеческих слабостей, так и всех психологических основ общественного самосознания. Но если из-за злоупотреблений и насилий террора нельзя отвергать весь созидательный труд

революции, то, равным образом, нельзя и обелять явных преступников и злодеев исключительно ради величественного памятника, созданного Конвентом, в образе французской конституции.

Партийные люди, к сожалению, продолжают, однако, делать это и поныне.

Немногие из историков революции относились до сих пор строго объективно к своей задаче, и в трудах большинства доныне сквозит именно их партийное направление. На самом деле историческому бытописателю революции не следует ничего ни осуждать, ни оправдывать, так как перед ним развертываются события, отмеченные роковым характером неизбежности и неминуемости. По мере того как эти события совершались, они все сильнее отражались в революционных умах и предрасполагали их, так сказать, все к большим и большим излишествам.

Вареннское бегство не могло через 20 месяцев иметь другого логического последствия, как казнь Людовика XVI. Кровь жирондистов вопияла о крови дантонистов, а последняя влекла за собой Термидор[77]. Кто мог остановить эту безумную скачку к бездонной пропасти? Все, кто на это пытался, были в конце концов сами увлечены бурным потоком.

Как и все политические учреждения того времени, Революционный трибунал испытал на себе то же головокружительное стремление вниз по наклонной плоскости, в область бесполезной кровожадности. На первых порах он проявляет еще, конечно относительно, некоторую склонность к милосердию, но вскоре окончательно погружается в самый необычайный для судебного учреждения бред мракобесия и становится лишь отвратительной и недостойной пародией на правосудие. Перед судом истории на нем останется вечно несмываемое обвинение в том, что под личиной справедливости он служил орудием мести, злобы, ненависти, честолюбия и самых низменных страстей, притом даже не всего народа, а лишь нескольких отдельных личностей.

Если сентябрьские убийства, которые были делом толпы, охваченной паникой, движимой самыми низменными инстинк-

тами, каким-то скотским остервенением, еще могут найти себе какое-нибудь объяснение, то не надо забывать, что казни Трибунала являлись плодами хладнокровного обсуждения и проводились систематически как меры, якобы необходимые для оздоровления общества.

Революционный трибунал был не более как орудием в руках Комитета общественного спасения. Имена Фукье-Тенвиля и президентов Дюма и Коффингаля преданы проклятию. А между тем, как высказал Фукье во время своего процесса, они только исполняли данные им приказания, быть может, впрочем, и с излишним усердием. Их помощниками были трое судей и десять назначенных Конвентом присяжных заседателей, которые публично обсуждали дело и затем постановляли вердикт по абсолютному большинству голосов. «Вся система террора в этом только и состояла»[78].

Зал заседаний был разделен на две части: одна предназначалась для суда, другая — для публики. В первой на эстраде заседали: посередине — президент, слева — судьи, пониже президента — судебный пристав. Налево от эстрады, на ступенях были места для подсудимых и кресло для допрашиваемого; направо — места для присяжных.

Костюм судей и прокурора состоял из черного фрака, треуголки с султаном из черных перьев и трехцветной кокардой, на шее и на груди висела медаль на трехцветной же ленте[79].

Вначале революционный суд считался с законными формами и обрядами судопроизводства и права защиты оставались неприкосновенными. Но в процессе жирондистов, ввиду того что многие свидетели были неудобны, а Верньо был слишком красноречив, да и общественное мнение хорошо сознавало всю тенденциозность этого дела, судебная процедура была упрощена. Делегаты от 400 провинциальных народных обществ находили, например, совершенно излишним даже допрос и вызов свидетелей. Робеспьер и Осселэн добились у Конвента декрета, разрешающего прекращать всякие судебные прения на третий день от начала процесса, как бы ни было велико число обвиняемых. Но и этого казалось еще мало. Закон

22-го прериаля, предложенный Кутоном, еще значительнее усилил дискреционную власть суда. Присяжные, просеянные, что называется, сквозь сито и признанные «надежными», не имели права присуждать ни к какому другому наказанию, кроме смертной казни. Нет более предварительного допроса, нет ни защиты, ни обвинительного акта, нет ни резюме председателя, ни даже свидетельских показаний. Термидористы пошли даже еще далее террористов. Когда Робеспьер и его пособники перестали быть угодны Конвенту, они были объявлены вне закона без всяких признаков суда; Трибуналу оставалось только удостоверить их личность и затем отправить на эшафот.

С 22 прериаля судопроизводство ограничивалось уже лишь следующей, весьма простой формальностью. В Люксембургском процессе мнимых заговорщиков, известном под именем процесса 160-ти, президент Дюме довольствовался таким упрощенным допросом.

Вот, например, допрос обвиняемого Дориваля:

— Знали ли вы о заговоре?

— Нет.

— Я ожидал такого ответа, но это вам не поможет. Следующий.

Допрос Шампиньи:

— Вы бывший дворянин?

— Да.

Допрос Кедревиля:

— Вы священник?

— Да, но я присягнул республике...

— Довольно. — Следующий...

Допрос Мениля:

— Вы были в услужении у бывшего члена Учредительного собрания Менана?

— Да.

— Следующий!..

Допрос Вели:

— Вы были архитектором королевы?

— Да, но я впал в немилость с 1788 года.

— Следующего!..

Допрос Гондрекура:

— Ваш тесть в Люксембурге?

— Да.

— Следующего!

Допрос Дюрфора:

— Вы были королевским телохранителем?

— Да.

— Следующего!

И т. д.

Этих нескольких слов было достаточно, чтобы успокоить совесть присяжных, произносивших приговоры без всяких дальнейших доказательств[80].

В большинстве случаев привлекались к суду по обвинению в заговоре против республики, более или менее доказанному. Несомненно, многие замышляли ниспровержение якобинской тирании, но сколько пало жертвами доносов своих политических противников, своих должников, соперников, личных врагов... Гильотина, повторяем, слишком часто служила страстям.

Впрочем, Трибунал в своих циничных приговорах не давал себе труда прикрываться даже лицемерной мотивировкой. Людей посылали на эшафот по обвинениям самым вздорным[81]. Лавуазье и 27 главных откупщиков попали на скамью подсудимых и были приговорены к смерти за то, что смачивали табак водой[82].

17 плювиоза того же года один крестьянин был обвинен в заговоре на том основании, что засеял разными кормовыми травами 300 акров земли, которые были прежде под рожью, и оставил под паром земли, которые можно было запахать[83].

Мы не приводим здесь обвинений в речах противообщественного характера, которые тоже наказывались смертью. Такая участь постигла, например, Кальмера, президента Революционного комитета в Клиши, обвиненного в оскорблении властей вопросом, обращенным им к Городскому управлению: «Не принадлежит ли его осел общине?»[84]

Реестры Комитета общественного спасения и Революционного трибунала велись так небрежно, что публичные обви-

нители сами не всегда могли в них разобраться. Они должны были обращаться к специальному, так называемому, Корреспондентскому бюро, где стекались все доносы как из Парижа, так и из провинции.

Параллельно с этим существовало еще Бюро обличительных доказательств, где сосредоточивались подробные справки о всех «подозрительных» живущих в данном городе лицах. Сведения эти подлежали разбору особых служащих бюро. Здесь агенты народных комиссий и черпали свой материал для обвинений. Правда в том, что эти списки стали вскоре известны под названием «смертных»[85].

Можно себе представить, как злоупотребляли здесь чиновники, над которыми не было ни малейшего надзора.

Они рылись в судебных делах и, желая кого-нибудь спасти, уничтожали все компрометирующие документы, а иногда истребляли и целые находившиеся в производстве дела[86]. Члены народных комиссий тоже забирали из этих бюро все, что хотели, без всяких расписок и квитанций.

В результате, конечно, во всех «делах» вскоре воцарился неописуемый хаос. Дошло до того, что нередко граждан приговаривали к смертной казни, гильотинировали или оправдывали одного за другого. «Я видел в тюрьме, в которой содержался, — пишет де-л'Эпинар, — а позднее и в Консьержери несчастных, которых вызывали для освобождения, а оказывалось, что они уже давно казнены. Однажды в тюрьму было прислано свыше восьмидесяти приказов об освобождении лиц, оправданных Комитетом общественного спасения, но оказалось, что Революционный трибунал тем временем уже успел казнить из них шестьдесят два человека»[87].

В других случаях приговоры составлялись без всяких соображений и без соблюдения даже самых элементарных формальностей. Так, приговор по процессу 155-ти (заговор в Люксембурге) содержит только имена обвиняемых, изложение обвинительного акта и подписи судей; но в нем не приведен ни вердикт присяжных, ни справка о законах; нет даже имен осужденных и не прописан самый приговор и список осужденных. Тем не менее все обвиняемые были казнены[88].

Часто одни обвиняемые осуждались за других. Пользуется известностью драма семей Луазеролль и Салье, где отец пошел на эшафот вместо сына. В другой раз сын Сен-Перна был казнен 1 термидора II г. вместо отца. Ниже помещен необычайный случай с госпожой Серильи, выступившей в процессе Фукье-Тенвиля с полицейским свидетельством в руках о ее собственной смерти и погребении. Она избежала казни только вследствие беременности; протокол же о приведении приговора в исполнение, несмотря на это, был составлен задним числом и находился уже в деле.

Можно было бы привести и еще массу судебных ошибок, совершавшихся Революционным трибуналом. Впрочем, в подобного рода упрощенных судах не могло не быть самых чудовищных несправедливостей, когда этот суд не давал себе даже труда установить как следует личности обвиняемых.

Относительно цифры жертв террора существует немало изысканий, но вполне точная статистика в этом отношении совершенно невозможна ввиду беспорядка, царившего во всех делах.

Берриа Сен-При приводит следующие цифры: в Париже было арестовано около 30 000 и произнесено 2719 смертных приговоров, которые по времени распределялись следующим образом: 7 произнесены трибуналом 17 августа 1792 г.; 1256 — с 10 марта 1793 г. до 22 прериаля; 1351 (крайний террор) — от 22 прериаля до 9 термидора; 105 — от 10-го до 12 термидора. Тьер считает, что общее число приговоренных к смерти не превышает 1867; Бюшез — 2669; Луи Блан — 2750. Принимая во внимание среднее из этих цифр, мы видим, что Парижский революционный трибунал приговаривал к смерти приблизительно одну двенадцатую часть всех арестованных.

Эти цифры, однако, значительно ниже тех, которые даются обыкновенно. Если бы к ним не прибавлялось бы еще значительное число осужденных департаментскими трибуналами, то революционное правосудие не стяжало бы себе той печальной известности, которая сохранилась за ним в истории. Ужасные репрессии в Нанте, Страсбурге, Лионе, Оранже, Аррассе и во многих других городах поглотили в общем 12 000 жертв.

Гранье де Кассаньяк распределяет жертвы по категориям. Руководствуясь его исследованиями, можно видеть, насколько беззаконно действовали революционные трибуналы и военные комиссии, лишая нередко революцию ее лучших сынов. Из 12 000 жертв лишь 3000 падают на аристократические классы прежнего правительственного режима — на дворянство и духовенство. Остальные все принадлежат к третьему и четвертому сословиям, и на гильотине погибло 4000 крестьян и 3000 простых рабочих!

Всякие комментарии к этим красноречивым цифрам излишни. Они еще раз лишь подтверждают наше исходное положение, что революция, под влиянием грубых инстинктов толпы, не замедлила уклониться от своего нормального пути и, опьяневшая от ярости, начала собственноручно приносить в жертву своих же собственных сынов. Если бы она, напротив, сумела сохранить равновесие и умственную устойчивость, вдвойне необходимые для всякого, держащего в руках опасное оружие, она не пришла бы ни к тирании якобинцев, ни к термидорской реакции. Ее жертвами пали не только такие наглые и безрассудные тираны, как Дантон, Демулен и Робеспьер, но наряду с ними — самые смирные, самые неизвестные представители той нарождавшейся демократии, которая, поверив в революцию, скоро и отступилась от нее лишь для того, чтобы броситься в объятия империи.

Эта пародия на правосудие не составляет вовсе отличительной черты, характеризующей одну только великую революцию 1789–1793 гг. Напротив, всякий раз, когда народ или правительство пытаются скрыть произвол под личиной законности, можно быть заранее уверенным, что воспоследуют не только подобные же ошибки и такие же несправедливости, но, несомненно, проявится и такая же жестокость и кровожадность.

Нужно ли вспоминать, каким образом действовали военно-полевые суды, на которые было возложено, при воцарении Наполеона III, подавление восстания 1851 г.[89] или те, которые немилосердно расстреливали коммунаров после франко-прусской войны. Массовые казни, последовавшие за вступле-

нием версальцев в Париж в 1871 г. и производившиеся под покровом якобы правосудия, конечно, не менее гнусны, чем и гекатомбы, приносившиеся Революционным трибуналом первой республики.

В заключение мы не можем не высказать, что вообще всякий чрезвычайный суд является, в сущности, лишь отрицанием истинного нормального правосудия. Последнему нелегко торжествовать даже и в обыкновенных судах. Но лишь только оно вступает в атмосферу разыгравшихся страстей, ненависти, мести, так сейчас же начинает прямо плавать в крови невинных жертв.

В применении к насилиям террора является вполне уместным слово «гонение». Оно заключает в себе, действительно, понятие не только об обидах и несправедливостях, но как бы и о заранее составленном плане таких насилий. Никакой резкой разницы не существует между гонением первых христиан в Риме, между преследованием еретиков церковью в средние века и искоренением «подозрительных», практиковавшимся Революционным трибуналом.

Правилен ли будет однако термин «гонение» с строго клинической точки зрения? Вправе ли мы безусловно утверждать, что главные деятели кровавого Трибунала были действительно поражены той опасной формой безумия, которая характеризуется в науке «бредом преследования», в широком значении этого слова. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо познакомиться с нравственным и умственным обликом главных действующих лиц этой великой драмы.

Первое место здесь принадлежит по чести Фукье-Тэнвилю. Зловещий прокурор Трибунала был несомненно обер-поставщиком жертв гильотины. Он исполнял эту обязанность с каким-то особенным вкусом и удовольствием. Он знал только один приговор — смерть. Если, по его мнению, Трибунал не решал дела достаточно быстро, он торопил судей и приказывал готовить заранее и приговоры[90], и колесницы, и самый эшафот.

Фукье устроил залу заседаний Трибунала по собственному плану, стремясь к простоте и удобству. После 22 прериаля

вместо адвокатских стульев и скамьи подсудимых был устроен целый амфитеатр, рассчитанный сразу на 100–150 жертв. Это были, по его выражению, ступени его карьеры. Чтобы не терять времени, он приказал даже в самой зале воздвигнуть эшафот. Потребовалось вмешательство в дело самого Комитета общественного спасения, чтобы убрать отсюда гильотину. А для того чтобы умерить рвение, Фукье пришлось издать закон, воспрещающий предавать суду одновременно свыше 60 человек[91].

Тот же Фукье внес однажды предложение пускать перед казнью осужденным кровь, дабы этим ослаблять мужество, с которым они шли на смерть. Мы не будем распространяться далее ни об обезглавлении трупов самоубийц, ни о посылаемых на эшафот беременных женщинах, ни об изобретении им «амальгамизации» процессов, благодаря которой он ловко соединял их в одно дело, и по обвинению в одном и том же заговоре лиц, никогда не видавших друг друга в жизни, наконец, далее о вечном издевательстве его над правосудием вроде зажимания рта защите, подтасовки «благонадежных» присяжных заседателей, отказа в вызове свидетелей, в ознакомлении с документами и т. п.

Некоторые утверждают, что Фукье был алкоголиком и по этому поводу ссылаются на страницы, посвященные Пруссиналем мнимым оргиям присяжных и обвинителя как в буфете суда, так и в разных парижских кабачках. Но это все еще ждет доныне серьезных доказательств: «Секретная история Революционного трибунала»[92] написана, в общем, так пристрастно, что без особых подтверждений на нее одну полагаться нельзя. Хронический алкоголик едва ли мог бы внести в эти кровавые преследования столько хладнокровия и логики. Мы, со своей стороны, склонны думать, что жестокость Фукье объясняется тоже тайной наклонностью к садизму; доказательством этого может служить то, что он обожал лично присутствовать при казнях, и особенно когда на эшафот возводились молодые и красивые женщины: он приказывал тогда ускорять час своего обеда, чтобы затем всласть насладиться зрелищем казни «красных рубах». Для этого «красного

человека» было истинное наслаждение смотреть, как под ударом страшного ножа падали прелестные женские головки и как из-под него струилась теплая, алая кровь...

Не является ли этот варвар-прокурор, опустошитель тюрем, простым клиническим маньяком? Если он и не представляет ярко выраженный тип безумия, то, во всяком случае, его действия свидетельствуют об утрате им душевного равновесия. Впрочем, несомненно, что он был подвержен частым галлюцинациям. Выходя однажды из ворот Лувра, он испугался собственной тени, причем ему тут же послышались проклятия загубленных им жертв и их вопли о мести. Он ускорил шаг и, если бы был один, то, по его собственным словам, не знал бы, что бы с ним сталось.

На него революция явственно наложила свой отпечаток. До событий 1789 г. он состоял прокурором в «Шател» и отличался не только честностью, но и гуманностью и милосердием. По случаю его назначения прокурором Революционного трибунала все друзья законности, как например адвокат Беллар, выражали искреннюю радость, что такой «грозный» пост вверен столь «честному человеку».

Но попав на новое место, Фукье-Тенвиль резко изменился.

Можно с достаточной долей вероятности предположить, что и он в свою очередь сделался жертвой страха. Он вечно опасался проявить недостаточно усердия, дабы в один прекрасный день самому не быть казненным в качестве «подозрительного», нерадивого и слишком умеренного. Он дрожал в свою очередь перед владыками Комитета общественного спасения и, по примеру древних, смягчавших гнев богов искупительными жертвоприношениями, наполнял роковые колесницы, чтобы отвлечь от себя малейшее подозрение в мягкосердии и слабости. Он поистине ввел систему «кровавого перепроизводства». Трусливый и слабый по натуре, вовлеченный в движение помимо своей воли, он считал выгоднее идти в передовых рядах бойцов, так как знал, что все отстающие были заранее обречены.

Но он позабыл, что, как за приливом следует отлив, так, в конце концов, после всяких излишеств наступает реакция,

когда первые становятся последними. При таком направлении он, разумеется, не мог бы рассчитывать, предпочтительно перед прочими, избежать своей судьбы.

Его сотрудник, председатель трибунала Дюма, без всякого предварительного уговора действовал совершенно в одном и том же духе — из подражательности ли или по собственной наклонности — неизвестно. Но во всяком случае они оба точно соперничали в жестокости.

Дюма обожал отпускать остроты[93] самого ужасного свойства.

Старые девицы де Ноайль были обвинены в соучастии в заговоре. Они не отвечали на суде ни слова, потому что были абсолютно глухи. «Это безразлично, — произнес Дюма[94], — они все же могли быть "глухими"[95] заговорщицами».

Один старик на суде не может произнести ни слова, вследствие того что у него парализован язык. «Нам нужен не язык его, — говорит председатель, — а голова». Говоря про обреченного на казнь графа Монтиона, он выразился: «Славный толстый аристократ, нежный и пухлый, с приятной для рубки головой».

Чиновники, вручавшие обвинительные акты, также изощрялись иногда в остроумии: «Такой-то!» — выкликал один из них обвиняемого: «Получай, тебе пришла вечерняя газета!» (Обвинительные акты обыкновенно вручались подсудимым накануне заседания в 10–11 часов вечера.) Другой прямо объявлял: «Такой-то, вот тебе твой похоронный билет!»

Какой-то фехтовальный учитель приговаривается к смертной казни. «Ну-ка, отпарируй этот вольт!» — бессердечно острит президент Трибунала.

Предстает перед Трибуналом юноша: «Хотя ему только шестнадцать лет, но для суда все восемьдесят», — говорит Дюма. На каждый случай у него всегда находилось соответствующее словцо.

Интересная подробность для характеристики этой личности: Дюма никогда не заседал иначе, как с двумя заряженными пистолетами, один лежал от него справа, а другой слева; они служили для запугивания невоздержанных подсудимых.

Тот же Дюма заключил свою собственную жену в Люксембургскую тюрьму и собирался уже ее казнить, но этому помешало наступление термидорских событий.

Описание его дома ясно показывает, что он сам был постоянно объят невыразимым страхом: «Двери дома походили на тюремные ворота, при приходе посетителя в них открывалось лишь маленькое потайное оконце, защищенное решеткой. Говорить приходилось со слугой, который уже передавал все сказанное своему господину. Последний очень редко принимал кого-нибудь лично, ограничиваясь обыкновенно разговорами слуги через эту форточку».

Присяжные заседатели, выносившие кровавые вердикты, понимали тоже свои обязанности весьма своеобразно. Вот как, например, пишет об этом присяжный Пейан к одному из своих друзей: «Тебе предстоит великая задача. Позабудь, что природа сотворила тебя человеком... При исполнении общественных обязанностей всякая гуманность, всякая умеренность, застилающие всевидящее око правосудия, — преступны... Все, кто воображает себя умнее или справедливее своих товарищей, — или сами ловкие заговорщики, или просто заблуждающиеся, то есть люди, одинаково недостойные республики.

Если ты не обладаешь достаточной силой и твердостью для покарания заговорщиков, то, значит, сама природа не создала тебя достойным свободы»[96].

Можно ли удивляться, если присяжные с подобным мировоззрением проявляли слепое повиновение публичному обвинителю Революционного трибунала. Для них правосудие не воплощалось в образе светлой богини, окруженной ореолом торжества справедливости, а олицетворялось мстительной фурией с вечно занесенным окровавленным мечом, не знающей ни милосердия, ни даже утомления.

Мягкосердечие и нерешительность становятся в глазах революционеров преступлением. Они всячески избегают малейших признаков слабости.

Однажды, когда к Дантону явилась какая-то несчастная женщина с малюткой-дочерью умолять его об освобождении арестанта, этот огромный мужчина набросился на них с иска-

женными чертами и зарычал громовым голосом: «Меня вы не разжалобите, вы просите невозможного». Он был похож в эту минуту на солдата, отражающего кавалерийскую атаку[97].

Нельзя не обратить внимания на эту характерную черту. Она ярко рисует этих людей, стремящихся во что бы то ни стало ожесточиться, страшащихся всякого проявления в них малейшей чувствительности и искренно верящих в необходимость катоновской строгости и неумолимости. «Summum jus, summa injuria»*, — сказал Цицерон!

Особенно заметно проявляется эта черта у большинства народных представителей, командируемых с особыми полномочиями от Национального собрания и Конвента в разные концы Франции. У некоторых подчас она доходит до полного умственного затмения. Каррье, гнуснейшая личность террора, потерял в этом отношении, так сказать, окончательно человеческий облик. Это было чудовище, неутолимо жаждущее крови. Он уже не удовлетворяется насильственной смертью всякого, кажущегося ему сколько-нибудь «подозрительным»; он еще изобретает самые утонченные жестокости, которые ставят его в один ряд с Нероном и Калигулой. История проконсульства Карье в Нанте слишком хорошо известна. Но только сгруппировав все его подвиги, можно вывести надлежащую оценку умственного состояния этого мрачного маньяка.

В день своего прибытия в Нант, опьяненный верховной властью, которой он был облечен Конвентом, он объявляет, что нужно поголовно и без малейшей пощады истребить всех «подозрительных», не исключая даже тех, которым уже была гарантирована их неприкосновенность.

Он обзывает «сволочью и прохвостами» тех, кто напоминает ему о святости данного слова, и грозит им самим гильотиной. В конце концов он делается неспособен говорить ни о чем ином, как только об убийствах, гильотинах и расстрелах.

Учрежденная им военно-судная комиссия действовала под надзором Комитета ультрареволюционеров, принявшего имя

* Безусловно осуществленное право иногда равносильно высшему бесправию (*лат.*). — *Прим. ред.*

«друга народа», т. е. Марата. Он так и назывался «Товариществом Марата». Члены его, вступая, приносили следующую присягу: «Клянусь смертью всем роялистам, всем фанатикам, всем негодяям, всем монахам и всем «умеренным», к какому бы оттенку или партии они ни принадлежали»[98].

Под руководством этого Комитета военный суд постановлял невероятнейшие приговоры. Он присудил к смертной казни: булочника за обвес; какого-то гражданина, пытавшегося подкупить полицейского уткой; другие отправлялись на эшафот за ношение жилетов с вышитыми лилиями[99], за завзятый аристократизм, за испорченность натуры, за превознесение жирондистов и даже за скупку брюквы на базаре для перепродажи по высшей цене[100].

Карье оказывал к законным формам и обрядам судопроизводства такое же пренебрежение, как и Фукье-Тенвиль. Он говорил Фелиппу: «Вам, судьям, нужны сотни свидетелей и доказательств, чтобы осудить виновного, а у меня это делается сокращенным порядком, без разговоров: за шиворот и в воду. Вот я скоро примусь «санкюлотизировать[101] женщин». Этот фигуральный термин значил на его языке не более и не менее, как топить людей в реке.

Однажды, когда взывали к его милосердию, чтобы пощадить четверых малолетних детей, он воскликнул: «В какой, наконец, стране я нахожусь? Никому никаких исключений!».

Нантские горожане хотели из сострадания призреть сирот, оставшихся после казненных, но всесильный член Конвента потребовал, чтобы «молодые волчата» были возвращены республике, то есть, иными словами, были попросту преданы смерти.

Карье приобрел особенно печальную известность знаменитым потоплением савенейских горожан. Первая партия, подвергшаяся этой участи, состояла из пятидесяти трех священников; их посадили в лодку, вывели ее ночью на фарватер и пустили ко дну. «Как революционна наша Луара!» — писал об этом случае Карье, намекая на то, что река не отдала ни одной из своих жертв. Нантистам крайней партии такое сокращенное судопроизводство пришлось, видимо, по вкусу, и людей стали топить в реке, как щенят, все чаще и чаще...

Вскоре Карье вышел окончательно из всяких пределов. Тюрьмы были переполнены, и в дополнение всех ужасов в городе развился страшный тиф. Изнуренные плохой пищей, скученностью и дурным содержанием, арестанты, конечно, были его первой добычей. Их трупы заражали воздух. По мнению тирана, было лучше бросать их в воду еще живыми.

Как последнее и убедительнейшее слово всех гражданских войн и укрощений оставался еще расстрел. Карье не преминул воспользоваться и этим аргументом. Каждый день целые вереницы арестантов передавались войскам для экзекуций. Для исполнения их пришлось нанимать волонтеров из немцев, не понимавших по-французски и остававшихся глухими к мольбам казнимых. От них нельзя было опасаться какой-нибудь неуместной жалости. Начались настоящие человеческие бойни, и одновременно не стало уже вовсе ни судебных форм и обрядов, ни даже и судов. Это было полным подобием сентябрьских избиений с той лишь разницей, что здесь, в Нанте, они были установлены не народным своеволием, а законным представителем власти.

Наряду с точными историческими данными идут, конечно, сведения и легендарно-анекдотического характера. К числу таковых относятся, несомненно, так называемые «республиканские браки». Самые враждебные к якобинцам историки не могли доныне сколько-нибудь документально доказать подлинность этих актов дикого садизма, которыми, так сказать, увенчивается печальная репутация Карье. Даже его враги во время его процесса показывали об этом далеко не ясно. Тронсон-Дюкудре, прокурор Нантского революционного комитета, ограничился следующим заявлением: «Я не стану говорить о жестокостях, известных под именем «республиканских браков», так как они недостаточно выяснились на суде, но самое наименование их уже свидетельствует о их гнусном варварстве».

Однако один из свидетелей показал, что жертв связывали по двое вместе, чтобы они не могли спастись вплавь, и в таком положении бросали в реку. От таких насильственных предсмертных союзов и возникло само наименование «республи-

канских браков». В приговоре по делу Карье об этом, впрочем, не упоминается вовсе.

Возможно также, что исполнители указов Карье и без его ведома связывали попарно осужденных без всяких развратных поползновений. Такой обычай, по-видимому, существует при массовых избиениях. Нечто подобное рассказывают и по поводу утопления массами китайцев в реке Амур, близ города Благовещенска в 1900 г., во время боксерского восстания в Китае[102].

Возвращаясь к Карье, попытаемся, на основании приведенных данных, очертить его нравственный облик и состояние его умственных способностей.

На некоторых, наиболее распространенных портретах он походит на умалишенного. Знавший его лично, автор «Biographie Nouvelle» (1821 г.) описывает его так: это был человек высокого роста, но сутуловатый; у него были черные волосы, которые он носил по тогдашней республиканской моде — жирно напомаженными; его движения были принужденны, резки и угрожающи; голос жесткий и грубый; речь громкая и быстрая; глаза маленькие и разбегающиеся; цвет лица смуглый; вся наружность была пошлая, мрачная и свирепая. Мишле рисует его нервным и желчным, с жестоким и меланхолическим воображением и заключает: «Это был человек высокого роста, худощавого сложения, смуглый, не уверенный в себе, с неискренними, смешными, но подчас угрожающими телодвижениями, тип мольеровского Лимузена, с неприятными манерами, редкой бородой, темными, прилизанными волосами, с беспокойным взглядом и испуганным, оторопелым видом». Такие люди редко бывают храбры, но часто поддаются взрывам бешенства. И на самом деле, Карье был труслив до подлости: не он ли постыдно бежал в сражении при Шолэ? Но когда им овладевал неистовый гнев, то его лицо наливалось кровью, он выхватывал свою длинную саблю комиссара Конвента и грозил не более и не менее как самоличной расправой со своими противниками. Его сотоварищу, Жюлену, который был принужден, наконец, довести до сведения правительства о его злоупотреблениях властью, при-

шлось самому выслушивать от него подобные угрозы. Были ли у него эти порывы ярости нормальны или вызывались явлениями болезненного свойства? Возникали ли они на почве природного темперамента или представляли лишь симптомы скрытой душевной болезни, развившейся благодаря стечению благоприятствующих обстоятельств. Мы скорее склоняемся в пользу последнего. До своего пребывания в Нанте он был обыкновенным нормальным якобинцем, который, без сомнения, не пренебрегал насилием, но не был неприступен и для чувства сострадания[103]. Но с появлением его в центре шуанского движения его кровожадные инстинкты заглушили все остальное. У него явилось страстное желание показать себя на высоте положения, а последнее действительно было ужасающе. Вся нация, в отчаянии от вандейских злодеяний, вопила об отмщении. Не вандейцы ли собственно и были первыми родоначальниками террора?

20 сентября 1793 г. они завалили колодец в Монтэгю телами республиканцев и засыпали сверху этот живой бут целыми телегами булыжного камня.

15 ноября в Ноармутье все взятые в плен «синие» были расстреляны. Вандейцы проявили в изобретении мучений изощрение, достойное занять место в самом аду: одних живьем закапывали в землю по шею, других жарили заживо в кирпичных печах, к раненым, оставшимся на поле битвы, подходили женщины, как бы для перевязки, и хладнокровно выкалывали им глаза. Наконец, если верить некоторым свидетельствам, то массовые потопления, приписываемые инициативе Карье, практиковались противной партией, т. е. вандейцами против республиканцев еще до его приезда в Нант. Жители ожидали от диктатора репрессивной политики, и он не обманул их ожиданий. Но слабая голова Карье, может быть, уже давно не вполне нормальная, утратила всякое чувство меры и превзошла границы возможного. Так же как и Фукье, он потворствовал народному озлоблению и разжигал его, чтобы только на него как-нибудь не пало подозрения в недостатке усердия. Здесь еще раз обнаруживается, каким сильным психологическим фактором является всякого рода

страх. Следует присовокупить, что Карье к тому же был все время сильно болен и с трудом поправлялся. В периоде восстановления здоровья он пьянствовал и предавался всевозможным излишествам не только со своей любовницей, но и с женами заключенных, которые отдавались ему в надежде спасти своих мужей или родных. Когда же в городе открылся тиф, то упадок нравов еще более усилился, и Карье дошел до явного умопомешательства или, вернее, до острой мономании. Один из его современников, осведомленный ужасными непоследовательными и противоречивыми поступками проконсула, весьма основательно пишет: «Карье тогда мне показался взрослым ребенком, к которому следовало бы или приставить опытных нянек, или же… поместить в Шарантон»[104].

Не подлежит сомнению, что скрытая, так сказать, таившаяся, давнишняя ненормальность Карье была внезапно пробуждена и вызвана наружу именно той неограниченной диктаторской властью, которую ему столь неосмотрительно доверил Конвент. Здесь еще раз подтверждается то общее правило, что личные успехи всякого правительства и даже всякого отдельного государственного человека зависят главным образом от лиц, сотрудничеством коих им удастся заручиться. Проектировать хороший закон, составить удачную многообещающую программу — этого мало, необходимо уметь выбрать и подходящих для проведения их в жизнь людей. Для этого требуется совсем особый талант и дарование. У Наполеона I он был в высшей степени развит[105], у Конвента его не было совершенно.

Из числа других представителей Конвента, посылавшихся им с особыми поручениями в провинции, никто не сравнялся по жестокости с Карье. Некоторые из них имели даже весьма благородное представление о своих обязанностях; они избежали разлитого в воздухе невроза жестокости как продукта опьянения властью.

Другие, в особенности двое: Жозеф Лебон и Колло д'Эрбуа, не избежали общей участи и пошли по наклонной плоскости. В Лионе, образовавшем «Коммуну»[106], которую Конвент декретом от 12 октября 1793 г. постановил «уничтожить» с кор-

нем, это распоряжение приводилось в исполнение без соблюдения самых элементарных форм судопроизводства, со страшной жестокостью и кровожадностью. Революционная комиссия дошла до того, что выносила за сутки по 200 смертных приговоров. В то время уверяли, что будто судьи, утомившись произносить одно и то же слово, под конец выражали приговор знаками. Во всяком случае достоверно известно, что экзекуции производились массовые и уже не при помощи гильотины, которая работала недостаточно быстро, а путем расправы из ружей и пушек. 14 фримера, например, 60 осужденных были расстреляны из орудий, а те, которые при этом еще остались в живых, были добиты саблями. На следующий день «партия» в 40 душ досталась на расстрел пехоте. Фуше называл это «отправлением под удар молнии»[107]. Колло д'Эрбуа, сумевший с таким усердием исполнять приказания Конвента, сто лет спустя приобрел себе верных подражателей.

Парижская коммуна была в 1871 г. подавлена такими же мерами, как и Лионское восстание 1793 г. Ружейные залпы укладывали в казармах огромное число захваченных на улице с оружием в руках граждан, не только виновность, но даже самоличность коих не проверялась. А в казарме Лобау над этим «сбродом» работали прямо пулеметами. Военно-полевые суды 1871 г. тоже нисколько не отстали от своих лионских собратьев. В конечном выводе ни одной политической партии нечего возмущаться другой, ей противной: все они одинаково пользовались теми же самыми орудиями и средствами борьбы, совершая одинаковые зверства и жестокости, и подпадают перед лицом истории одинаковой ответственности. «Белый» террор столь же отвратителен и ужасен, как и «красный», и оба они сходятся в своих приемах и средствах, как два противоположных конца согнутого прута, как раз в той точке, где наступает предел здравого человеческого смысла и рассудка.

Глава II. Презрение к смерти во время террора

По неизбежной игре революционных судеб преследователи поочередно меняются ролями со своими жертвами и через известный промежуток времени сами попадают в положение преследуемых, пополняя собою ряды тех, кои только что пали от их кровожадности.

Впрочем, весьма немногие из них и сами сомневались в судьбе, которая их ожидала. Они предвидели, что рано или поздно популярность должна им изменить и что неизбежным эпилогом их тирании будет для них такой же суд и такая же казнь. Все что они могли поделать — это лишь отодвинуть, по возможности, час расплаты и возмездия.

Каждый политический деятель, каждый член Конвента, Трибунала, даже каждый журналист мог быть вполне основательно уверен в своей близкой смерти.

Требовалась, очевидно, известная смелость, чтобы бросаться при таких условиях очертя голову на арену политической деятельности и во что бы то ни стало принимать участие в общественной борьбе. Но политические страсти в человеке сильнее всякого благоразумия, и каждый в душе, наверное, питал тайную надежду, искусно лавируя, миновать «чашу неизбежного». Не всем, однако, были даны в удел хитрость Фуше или счастье Карно. Большинство безропотно подчинялось судьбе и, не сопротивляясь, отдавалось увлекавшему всех потоку.

Разве 31 мая жирондисты, невзирая на народное восстание, не могли все же остаться хозяевами положения и владыками Конвента, располагая в нем абсолютным большинством? Разве дантонистам не удалось бы при большей настойчивости избегнуть обвинительного декрета Собрания? Наконец, раз-

ве не мог Робеспьер, опираясь на страх, который он внушал всем и каждому, произвести государственный переворот и смести с лица земли Национальное собрание, как это сделал впоследствии Наполеон, будучи еще молодым генералом? Он и ухватился было за это, но уже слишком поздно. Когда перечитываешь страницы истории революции, то кажется, что этими людьми, созданными для борьбы, овладевал внезапно какой-то упадок сил, и как раз в те моменты, когда им нужно было бы удесятеряться, с такой удивительной покорностью они бессильно давали вести себя на бойню. Когда же они пробовали, как Дантон, давать отпор, то бывало поздно: минотавр террора уже держал их в своей пасти.

Эти люди играют столь неосторожно с опасностью вовсе не из праздного тщеславия. Так же, как и гибнувшие аристократы, они все воодушевлены одним и тем же чувством — верховным презрением к смерти. Солдат на поле сражения, пощаженный первыми пулями, скоро приучается к военной опасности, возбуждается и пьянеет при запахе пороха и будто забывает об убийственном огне неприятеля. Подобно этому и на поле революции ее борцы думают только об ударах, которые они наносят сами, не задумываясь о тех, которые могут достаться на их долю.

Роялисты проявляют в своих заговорах непостижимую дерзость. Барон де Бац, как настоящий герой романа, готовит заговор «красных рубах», который мог быть весьма легко раскрыт. Каждый день он подвергает опасности жизнь и свою, и всех сотоварищей. Наконец, последних накрывает Комитет общественной безопасности, и они восходят на эшафот, не выдав, однако, ни одной из своих тайн. В самый день их казни одному из «красных рубах», очень молодому человеку, обещают полное помилование, если он откроет убежище главы заговора. Де Бац лично присутствовал при казни своих единомышленников в первом ряду зрителей. Молодой человек только бросил взгляд на толпу, узнал своего главаря и, не говоря ни слова, отдался в руки палача.

Большая часть осужденных умирала со стоической твердостью. Быть может, последняя являлась как естественное

последствие ослабления и даже полной атрофии чувства самосохранения. Благодаря постоянному ожиданию смерти люди как будто свыкаются с ней?

Некоторые историки сообщают, якобы, за редкими исключениями, все жертвы гильотины обыкновенно в последний момент дрожали от страха и подходили к ступеням эшафота уже полумертвыми. По этому поводу Ретиф де Ла Бретон рассказывает о казни 8 заговорщиков в Руане: «Я видел этих несчастных в полдень и наблюдал за ними. Я всегда замечал, что за исключением Марьянны Шарлотты (вероятно, Шарлотты Корде), все мыслящие существа, шедшие на смерть, были уже полумертвыми. То же наблюдал я и на 12 человеках в Бретани, которые приободрились лишь на глазах у публики». Такое впечатление далеко не похоже на то, что передает огромное большинство современников. Напротив, решительно все единодушно подтверждают, что осужденные проявляли несомненное мужество.

Кто же из сильных людей, принесенных в жертву революции, был охвачен страхом в последнюю свою минуту? Не Камил же Демулен, который, возмущенный тем, что его привязывали к телеге, действительно вырывался в надежде, может быть, что его освободит окружающий народ, но который, однако, перед ножом гильотины сумел вернуть себе полное самообладание и ясность мыслей.

Остальные жертвы, принесенные на алтарь свободы, держались в последние минуты тоже с неменьшей твердостью. Людовик XVI умер с полным достоинством, воспротивившись палачу только когда тот стал связывать ему руки. 9 месяцев спустя и королева последовала тоже его примеру.

Своей героической кончиной жирондисты заслужили сразу переход в бессмертие. Были приняты все меры, чтобы перед смертью они не могли выпить чего-нибудь возбудительного. Это не мешало им хором запеть марсельезу не как похоронный самим себе псалом, а как победный марш, как символ надежды на судьбы отечества. «Они пели с увлечением, громко и внятно и на печальной колеснице и сходя с нее на землю и поднимаясь на ступени эшафота. Лишь тяжеловесный нож гильотины заставлял их голоса умолкать навеки».

Дантонисты были тоже полны презрения к ожидавшей их участи. «Ты покажешь мою голову народу, — сказал Дантон палачу, — она стоит этого...».

Шабо, едва оправившийся от покушения на самоубийство, Гебер, Шомет, Анахарзис Клоц — все держались на гильотине смело и достойно.

Сторонники Робеспьера 9 термидора вели себя точно так же. Что касается «черни», как окрещивает Ретиф де Ла Бретон огромное темное стадо безвестных жертв террора, то обнаруживала ли она перед казнью менее покорности судьбе? Это, конечно, возможно, потому что у этих людей не было ни идеалов, ни веры, ни энтузиазма, одушевляющих истинных мучеников за идею[108]. Большинство из них умирало не за королевство или за республику, а просто потому, что на них гнусно, клеветнически и весьма часто лживо доносили всевозможные шпионы и соглядатаи.

И все-таки гильотина сравнительно только изредка имела дело с людьми малодушными. Лучшим доказательством этого может служить предложение, приписываемое Фукье-Тенвилю, — пускать перед казнью осужденным кровь, дабы ослаблять их силы и мужество, не оставлявшее их до последней минуты и, видимо, раздражавшее заправил террора[109].

Народ, впрочем, уже так привык к зрелищу ежедневных казней, что мало трогался стоическим мужеством жертв. Казнь жирондистов и дантонистов не произвела почти никакого впечатления. Никто даже не удивлялся их презрению к смерти. Мишле доказывает свое глубокое знание психологии толпы, когда пишет: «Массы относились к этим трагическим актам единственно с точки зрения сентиментальности.

Слезы старого генерала Кюстина, его благочестие, трогательное прощание с духовником, привлекательность его невестки, которая провожает его с дочерней нежностью, — все это представляло, конечно, очень трогательную картину и не могло не вызывать сочувствия среди зрителей. Но наибольшее впечатление произвела на народ, конечно, казнь самой недостойной из жертв революции — госпожи дю Бари. Ее отчаянные крики, страх и обмороки, ее страстная привязанность

к жизни глубоко потрясли инстинктивную восприимчивость толпы, ударили, ее, так сказать, по нервам; многие в этот момент поняли, что смерть — не свой брат и что едва ли гильотина действительно столь легкая, безболезненная и «приятная» казнь, как это готовы были утверждать ее сторонники»[110].

Дю Бари была, по словам современников, одной из тех немногих жертв, отчаяние которых разразилось бесполезными мольбами и инстинктивным сопротивлением.

Некоторые очевидцы говорили, например, о синеватой бледности ее лица на эшафоте. Но казнь имела, как известно, место уже при наступлении сумерек, в 5-м часу вечера в сентябре. Каким образом можно было заметить изменение в чертах ее лица? В последний момент она испустила, — подобно Людовику XVI, — ужасный стон, что и вызвало в официальной газете заметку: «Она жила в разврате и умерла без мужества»[111].

Зато иные не упускали даже случая острить под ножом гильотины. Один, вложив голову в отверстие гильотины, прямо вышучивает народ и палача Сансон[112].

Другой, по словам Мерсье, тоже шутя, желает зрителям большей удачи, чем было у него...

Один из казнимых упорно молчит, другие лихорадочно болтают, третьи поют и лишь изредка кое-кто заплачет. Печальное шествие проходило в разгар террора по набережной Сены и следовало мимо развалин Бастилии, медленно поднимаясь в С.-Антуанское предместье до площади «Поверженного трона». Напиханные стоймя, как рогатый скот, в простую телегу, то освистываемые, то приветствуемые чернью, осужденные медленно совершали свой последний путь, и нельзя было даже подумать, что все эти люди шли на смерть, а вся эта толпа спешила на самое ужасное из зрелищ.

Ежедневное шествие колесницы производилось, впрочем, по разным улицам. Полицейский доклад от 18 вентоза II г. указывает на необходимость установить для него определенное направление. Скопление экипажей нередко задерживало процессию. Аристократы пользовались такими задержками, обращаясь с речами к народу. Но какие нежелательные и не-

предвиденные результаты получались от этого! «Дети становятся жестокосердыми, а беременные женщины рискуют производить на свет потомство, отмеченное рубцами на шее или пораженное столбняком».

Жертвоприношения гильотине прививались — все более и более; они стали входить в привычку, делались народной потребностью, и толпа, приучившаяся к виду крови, перестала испытывать чувство отвращения, а вскоре уже не могла обходиться без подобного, возбудительного для нервов средства. «Матери приводили на места казни детей, отцы поднимали их на плечи, воспитывая в них таким образом ненависть к тиранам и чувство мужества».

Является вопрос: каким образом инстинкт самосохранения, самый могучий из всех человеческих инстинктов, кроме, может быть, инстинкта размножения, мог остаться не извращенным и даже совсем не уничтоженным? Как могли люди страшиться смерти, когда она стояла почти у каждого очага?

Человек привязывается к жизни в периоды расцвета спокойствия и безопасности. Лишь по мере того как его учат, насколько священна чужая жизнь, увеличивается его привязанность к своей собственной. Как бы это ни казалось парадоксальным, но можно положительно сказать, что развитие современной общественной солидарности ведет прежде всего и к развитию индивидуального эгоизма и сколь многих сдерживает вообще страх наказания?..

Революция же совершила чудо в обратном смысле — она дала людям презрение и к жизни и к смерти...

Глава III. Эпидемия самоубийства

«Странная страсть — “самоубийство”, — говорит известный психиатр Проспер Люка, — оно заразительно, эпидемично и всецело подчинено закону подражания». Этот психологический закон действительно подтверждается бесчисленными примерами, и мы ежедневно убеждаемся в его неумолимой суровости. Стоит только появиться, например, в печати описанию какого-нибудь самоубийства со всеми его подробностями, как оно тотчас же находит себе подражателей из числа неуравновешенных натур. После смерти депутата французской Палаты депутатов, Сивтона, лишившего себя жизни в 1904 г. удушением светильным газом, было тотчас же отмечено несколько случаев такого же самоудушения, причем некоторых несчастных находили иногда прямо с гуттаперчевой газопроводной трубкой во рту. Во время последней русско-японской войны несколько японских офицеров на поле битвы вскрыли себе животы и вдруг парижане тоже прибегают к «харакири»! Не только эпидемично самое самоубийство, но даже и на его род и способ бывает своя мода.

После первого представления «Вертера» двое увлеченных приключениями гётевского героя последовали его примеру и прибегли к пистолету. Не без основания говорила госпожа Сталь, что Вертер был причиной большего числа самоубийств, чем величайшие женские неверности. Врачи Вигуру и Жюкеле сообщают два типичных наблюдения, выясняющие роль, которую играет в самоубийстве подражание. В 1772 г. тринадцать инвалидов, один за другим, в короткое время повесились на одном и том же крючке в темном коридоре Инвалидного дома в Париже, но стоило только заколотить этот коридор и эпидемия тотчас же прекратилась.

В 1805 г. в Булонском лагере, на расстоянии всего нескольких дней, застрелилось несколько часовых в одной и той же

караульной будке. Достаточно было сжечь эту роковую будку, чтобы прекратить возникшее среди солдат болезненное состояние умов. Особенно ярко выступает этот подражательный характер в массовых самоубийствах. Существовали, а может быть существуют и поныне, клубы, члены которых были обязаны кончать с собой по жребию. В России, стране, склонной к мистицизму, эпидемии самоубийства производили огромные опустошения.

Во время религиозных гонений являлись пророки, проповедовавшие не только умерщвление, но прямо уничтожение плоти. Люди то умирали голодной смертью, то заживо себя погребали. Чтобы увеличить число жертв, приятных, по их мнению, Господу, стали проповедовать всеобщее самосожжение. Весь север и северо-восток России и часть Сибири особенно страдали от этого нового своеобразного бича. Однажды за один раз погибло в пламени шестьсот человек. Г. Ван-Стоукин (Stohoukine), историк русских религий, насчитывает только с 1675 г. по 1691 г. до двадцати тысяч подобных жертв. Он даже приводит случай, когда будто бы на одном костре погибло сразу 2500 человеческих жизней, которые все принесли себя в жертву в твердой надежде на лучший будущий мир. В течение девятнадцатого столетия было тоже не менее двадцати случаев коллективных самоубийств одних только русских сектантов. Последний относится к 1896 или 1897 гг., когда сразу 24 лица, из страха религиозных гонений, решили сами покончить с собой самопогребением заживо.

Таким образом, несомненно, что самоубийство является весьма нередко прямым продуктом социального невроза и что среди народов, предрасположенных к таковому и склонных к тому же к мистицизму, оно является почти хроническим.

Во Франции со времен революции это зло принимает эпидемический характер. Каждый раз, когда общество бывает потрясено до основания одним из ужасных социальных шквалов: революцией, войной или иным переворотом, когда нервное потрясение глубоко всколыхивает его и разрушает на время гармонию его сил, необходимо ожидать усиления и эпидемического самоубийства. Французская революция не могла

избежать силы этого закона. Если верить Прюдому, то за время революции не менее трех тысяч человек добровольно прекратили свое земное существование. Достоверных данных, чтобы установить точно это число, к сожалению, не имеется. Нам известны только самоубийства политических людей, по преимуществу уже арестованных, которые, во избежание гильотины, предпочитают добровольно сами покончить со своими физическими и моральными страданиями. С другой стороны, во время революции немало граждан распускало умышленно ложные слухи о своей смерти, между тем как на самом деле они или эмигрировали или просто скрывались, стараясь такими слухами прекратить дальнейшие их розыски. Тем не менее даже и при отсутствии точной статистики мы все же можем, пользуясь бесконечными списками самоубийц, оставленными нам архивами, составить себе довольно ясное понятие об интенсивности этой эпидемии. Некоторые, как например жирондисты или Робеспьер и его сторонники, силой обстоятельства зашли в такие тупики политики, из коих по тому времени выйти живым было уже нельзя. Самоубийства таких были по крайней мере объяснимы. Другие, напротив, не будучи вовсе активными деятелями, пришли во время бури, охватившей Париж и провинцию, в такое душевное смятение, что заранее предпочитали лишать себя жизни из одного опасения худшей доли. Наконец, к третьей категории следует отнести тех безответных и невинных жертв, которые не могли пережить потери дорогих им существ и добровольно следовали за ними. Разве смерть мужественной госпожи Лавернь, бросившейся на шею мужа, только что осужденного Революционным трибуналом, и этим достигшей права разделить с ним его участь, тоже не самоубийство?

Писец у одного нотариуса, узнав, что над его братом произнесен смертный приговор, который должен быть тотчас исполнен, приходит в свою контору и, поджидая наступления роковой минуты, погружается в глубокое раздумье. Затем берет пистолет и со словами: «Настал час, когда его голова должна пасть; я соединяюсь с моим дорогим братом — стреляется».

Очень многочисленны также во время террора случаи любовного отчаяния. Да и могло ли быть иначе! Головорубка каждый день уничтожала людей молодых, прекрасных, в полном расцвете сил и страстей, преисполненных презрения к опасности и которых политическая горячка того или другого лагеря делала истинными апостолами своих убеждений. Разве они не были наиболее достойны любви и разве женщины не увлекаются обыкновенно именно теми, кто смело жертвует своей жизнью ради достижения идеала? В героические времена любят более всего; любовь в такие моменты перестает быть банальным развлечением, она делается сильна и увлекательна, она ведет одинаково ко всем крайностям — как к величайшим низостям, так и к высочайшим и самоотверженнейшим подвигам. Число тех, которые сошли в могилу за своими любовниками или мужьями, — неразгаданная тайна истории. Эта тайна «отчаявшихся, потерявших надежду» и которые без славы и шума, ради одной чистой любви, молча жертвовали своей жизнью. Лишь некоторые, коих мелодраматические наклонности не удовлетворялись тихой и безызвестной кончиной, требовали себе во что бы то ни стало гильотины. Одни, как госпожа Лавернь, молили, как милости, лишь одновременной казни с тем, кого они должны были лишиться. Другие писали Трибуналу оскорбительные письма только для того, чтобы дать ему какой-нибудь повод осудить их. Эти мрачные драмы, воспоминание о которых сохранилось и до нашего времени, свидетельствуют не менее, чем документы, о том удручающем влиянии, которое производила революция на умственные способности ее участников и современников.

Нужно признать, что люди, занимавшиеся политикой и предвидевшие более или менее заранее свой неизбежный конец, когда для них наступал роковой час, переносили его с необыкновенным мужеством. Трагическая смерть жирондистов представляет одну из самых кровавых страниц в истории революции. Из двадцати осужденных один сразу покончил свое земное существование — это был Валязе, вонзивший себе кинжал в грудь в самом зале революционного трибунала. Но все же его уже остывшее тело было гильотинировано[113].

Революция не отстала в этом от прежнего режима. Остальные не пытались ускользнуть от руки Сансона. Вернио не воспользовался даже заранее припасенным и спрятанным в его одежде ядом; он предпочел умереть со своими и взошел на эшафот без страха и рисовки. Госпожа Ролан, в мужестве которой нельзя сомневаться, предпочла тоже, ради чести своей партии, отказаться от нередко посещавшей ее мысли о самоубийстве. Клавиер, задержанный в ночь на второе июня, не попал почему-то в общую массу казненных 31 октября. Госпожа Ролан, содержавшаяся с ним в одной тюрьме, часто с ним беседовала. Эти разговоры носили обыкновенно философский характер и дарили им минуты забвения. Но его подруга по несчастью скоро его покинула. Ее перевели сначала в тюрьму Консьержри, а затем вскоре казнили[114].

Клавиер уже начал питать надежду, что о нем позабыли, как вдруг Кутон откопал его дело. Когда ему был объявлен смертный приговор, он спросил у содержавшегося с ним в одной тюрьме Риуфа, какой наилучший способ лишить себя жизни, затем наметил сам место, куда должен быть нанесен удар, и простился со своим другом, напомнив ему стих Вольтера:

Влекут на казнь — одних людей трусливых,
А храбрых участь — им самим принадлежит.

Когда через несколько минут в его камеру вошли, чтобы отправить его на эшафот, он уже хрипел. Возле него валялся роскошный кинжал, отделанный в серебро и слоновую кость, пятидюймовое лезвие которого было все окрашено кровью.

Прочие жирондисты успели бежать, но их преследовали, как диких зверей; на каждом шагу их выдавали доносчики, и они влачили в бегстве самое жалкое существование. Восторжествовавшая партия Горы[115] преследовала с невероятной настойчивостью рассеянные остатки бриссотинцев.

Гадэ был опознан в окрестностях Либурна. Этого было достаточно, чтобы начать тщательные поиски по всем рвам, пещерам, каменоломням и особенно по Сент-Эмиллионским подземельям, где «заговорщики» могли найти убежище и даже

кое-какие средства к существованию. Жюльен, полномочный представитель Комитета общественного спасения, при содействии испытанных патриотов, обыскивал с громадными собаками все тайники округа. Все дело велось в величайшей тайне. Десять приглашенных с этой целью и готовых на все патриотов, не знавших сами, куда их везут, прибыли в Либурн, имея при себе, в качестве конвоя, воинскую часть от 10-го Бэк д'Амбезского батальона. Они с помощью местных жителей-добровольцев обшарили все окрестные каменоломни и овраги. Они уже начали терять всякую надежду, когда вдруг двое из них, безуспешно обыскивавших несколько раз дом Гадэ, обратили внимание, что чердак как будто немного короче нижнего этажа. Они снова поднимаются наверх и, измерив мансарду, убеждаются в существовании пристроенного сбоку потайного помещения, не имеющего, по-видимому, никакого внутреннего сообщения с чердаком. Взбираются на крышу и в этот момент до них вдруг доносится звук пистолетной осечки. Этим Гадэ и Салль выдали свое убежище. Выстрел должно быть был сделан последним, так как в своем предсмертном письме к жене он пишет: «В момент моего ареста я раз десять приставлял к виску пистолет, но он обманул мои надежды, а я не хотел сдаваться живым». Салль и Гадэ были препровождены в Бордо. Почти в то же время несколько других добровольцев, проходивших по полю в полуверсте от Кастильона, услышали пистолетный выстрел и увидели невдалеке двух быстро убегавших людей. Третий остался на месте, истекая кровью. На белье у него были метки «Р. Б». «Вы не Бюзо ли?» — спросил его сыщик. Он отвечал лишь отрицательным жестом, так как выстрелом ему раздробило челюсть. «Не Барбару ли вы?» — спросили его снова. Он кивнул утвердительно. Несмотря на ужасные раны, Барбару полумертвого перевезли в Бордо, где его прикончил палач. Что же касается бежавших, оказавшихся Петьоном и Бюзо, то их нашли через несколько дней уже мертвыми. Прибегли ли они к самоубийству или погибли от утомления и голода — это осталось навеки тайной. В донесении кастильонских санкюлотов Конвенту имеются лишь следующие малопонятные

слова: «Найдены их трупы (Петьона и Бюзо) ужасно обезображенными и наполовину съеденными червями; их члены стали добычей собак, а их кровожадные сердца пищей хищных зверей»[116]. Лидон и Шамбон, представители Корезского департамента, попав в руки врагов, дорого продали свою жизнь. Свалив троих из нападающих, Лидон затем сам лишил себя жизни; что же касается Шамбона, спрятавшегося в риге, то он пустил себе пулю в лоб при приближении жандармов.

Другой приговоренный к смерти, жирондист Ребекки, утопился в Марсели. Салль, как уже сказано выше, несколько раз стрелял в себя из пистолета, но оружие дало осечку и он был гильотинирован в Бордо.

Похождения Лувэ представляют целую драму. Имея при себе всегда сильную дозу опиума, он скитался по лесам и деревням, передвигаясь лишь ночью, и отдыхая днем в каких-нибудь укромных уголках. Однажды он едва не был захвачен санкюлотами при въезде в Орлеан на заставе. Они остановили воз с соломой, в котором он был спрятан. Пока обыскивали подозрительную повозку, беглец, притаившись сколько мог, уже вложил себе в рот дуло имевшегося при нем короткоствольного штуцера, готовый спустить курок, чуть только его откроют. Штуцер заряжался разом 4 пулями и 15 картечинами и после выстрела выбрасывал еще острый штык. Но главным образом он надеялся на яд, который он носил на теле в обрывке перчатки, так хорошо спрятанным, что найти его можно было бы, только раздев его донага[117].

Одним из наиболее нашумевших в свое время самоубийств была смерть знаменитого философа-математика Кондорсе. Ему как-то удалось ускользнуть от ищеек Комитета общественной безопасности, и хотя он и состоял в числе 42 жирондистов, объявленных вне закона, он все же продолжал жить в Париже, в одном доме с одним монтаньяром, депутатом Мон-Блана, который не только не выдавал его, но еще заботился о его спасении. Однажды Кондорсе получил письмо, которым его предупреждали, что его убежище открыто, и советовали укрыться в Фонтене-о-Роз у академика Сюарда. При первой возможности он покидает Париж и устремляется в это

новое убежище. Не хотел ли он сам, из боязни скомпрометировать своих друзей, здесь оставаться или он был чем-либо к этому принужден, но он все же здесь не остался и скрылся в Кламармском лесу. Патриоты арестовывают его «по подозрению» и заключают в тюрьму под вымышленным им именем. На другой день его нашли уже мертвым: он проглотил пилюлю из опиума и белладонны, которую ему дал Кабанис на случай опасности[118].

Известно, что бывший министр внутренних дел Ролан не захотел пережить смерти своей погибшей жены. Было ли это с его стороны угрызение совести за то, что он допустил ее до самопожертвования; сознание ли навсегда погибшего дела — восстановления королевства или, наконец, личное отчаяние человека, бывшего скорее отцом, чем мужем подруги Бюзо? Возможно, что его подтолкнуло на самоубийство все это вместе взятое. Предсказание госпожи Ролан: «Когда Ролан узнает о моей смерти, он покончит с собой» — оправдалось. Когда роковая весть о ее казни подтвердилась, он, не говоря ни слова, ушел из дома, где гостил (в Руане), отправился за четыре лье расстояния, в местечко Бодуэн, свернул по проселку, присел на краю дороги и закололся кинжалом.

Две недели спустя Конвент получил донесение народных представителей, командированных в департамент Нижней-Сены, что «какой-то неизвестный человек найден мертвым на большой дороге между Парижем и Руаном». Мясник Лежандр, осмотрев труп, тотчас же категорически признал в нем «бывшего министра внутренних дел Ролана». В карманах были найдены четыре документа: первый заключал апологию его жизни и смерти с некоторыми пророческими предсказаниями. На обороте он изложил и вымышленные причины своего самоубийства. Доклад властей по делу об этом самоубийстве заканчивается так: «Национальный конвент, быть может, признает нужным водрузить на его могиле столб с надписью, возвещающей потомству трагический конец порочного министра, развратившего общественное мнение; дорогой ценой купившего славу добродетельного человека и бывшего вожаком преступного заговора, имевшего целью спасти тирана и истребить респуб-

лику». Это витиеватое словоизвержение объясняется, по-видимому, заключительными строками несчастного Ролана: «Не страх, а негодование заставило меня покинуть мое убежище, когда я узнал об убийстве моей жены; я не хочу более оставаться на этой земле, оскверненной преступлениями». Так кончили люди, побежденные 31 мая 1793 г. Те из них, которые сложили голову на эшафоте, рассчитались и за спасшихся бегством, но и последние тоже, после неудачной попытки поднять против Парижа провинцию и создать в стране федеральное движение, нашли последний выход в самоубийстве. Каково бы ни было их представление о революции, они все же жестоко искупили свои политические ошибки. Здесь уместно привести заключение Маллэ дю Пана, который в 1795 г., оглядываясь на путь, пройденный со времени созыва Генеральных штатов, пишет: «Францией управляют события, а вовсе не люди; последних же лишь влечет непреоборимая сила неожиданных, непредвиденных и чисто роковых обстоятельств.

«Гора» тоже заплатила дань самоубийственной эпидемии. 26 сентября 1793 г. в Тулоне закололся кинжалом Пьер-Бэйль, депутат департамента Устьев-Роны. Затем Осселэн, заключенный в тюрьму Плесси, вонзил себе в грудь гвоздь. Долго тюремное начальство судило и рядило: вынуть ли этот гвоздь вон или оставить его в ране; порешили на последнем, вероятно, чтобы продлить его предсмертные мучения.

9 термидора террористы потерпели, наконец, крушение. Робеспьер выстрелом из револьвера раздробляет себе челюсть, а его брат бросается из окна городской ратуши. Разбитый параличом Кутон наносит себе, хотя и безуспешно, удары кинжалом. Сен-Жюст хладнокровно ждет смерти. Реакция Термидора пощадила Пью де Домского, депутата Ромма, и он еще долго продолжал жаловаться то Конвенту, то клубу якобинцев на происки аристократии. Он не побоялся, однако, выказать свое сочувствие восстанию 1 прериаля (июнь 1795 г.), когда шайка оборванцев, мужчин и женщин, ворвалась в Законодательное собрание, с яростными криками требуя «хлеба и конституции 1793 года». Ромм был арестован так же, как и его соучастники Буррот, Дюруа, Гужон, Дюкенуа и Субра-

ни. Все шестеро провели несколько недель в Бычьем форту (в департаменте Финистерэ), а потом предстали перед судной комиссией, специально назначенной по их делу. Не дрогнув, выслушали они свой смертный приговор. Но дойдя до лестницы, ведшей из залы заседаний в их камеры, они все поочередно, кроме одного Дюруа, закололи друг друга кинжалом, который был спрятан у Гужона под одеждой. Ромм и Дюкенуа умерли на месте. Для троих оставшихся в живых ускорили казнь. Двух раненых пришлось везти на гильотину в повозке. Чернь всю дорогу осыпала их ругательствами.

Мор и Рюль также сами покончили с собой. Бабёф[119] и Дарте тотчас же по произнесению над ними смертного приговора закололись кинжалами и упали, обливаясь кровью, на руки подбежавших с целью их обезоружить жандармов. Дартэ еще жил, когда его возвели на эшафот. Что же касается Бабёфа, то он был уже мертв: палач обезглавил лишь его труп.

Немало покончило с собой и людей, не бывших членами Конвента, т. е. не стоявших у самого кормила власти, но тем не менее игравших в революции известную видную роль. Таковы, например, Жак Ру, сторонник свирепого Гебера и вместе с тем священник, один из любимейших парижских проповедников и редактор «Клубной газеты»; он охотно звал себя «санкюлотским проповедником» и сопровождал Людовика XVI на казнь.

Год спустя, 18 января 1794 г., он сам попадает под суд и приговаривается к смерти. Жак Ру тут же вынимает из кармана нож и наносит себе пять ударов в грудь. После первой помощи, поданной в зале суда, его перенесли в лазарет Бисетра, по прибытии куда он и скончался. Точно так же покончил и лионец Гальяр, который привез из Лиона в Париж голову казненного Шалье[120]. Он надеялся на сердечный прием у Робеспьера, но вышло наоборот: якобинцы приняли его более чем холодно. Идя навстречу ожидавшей его участи, он покончил с собой выстрелом из пистолета. Академик Шамфор тоже не дожидался осуждения. После первого ареста он поклялся, что не войдет более живым ни в одно место заключения. Когда, в силу нового приказа, полиция явилась к нему, он принял ее агентов без сопротивления, прося их лишь, как милости,

разрешения пройти в свой рабочий кабинет. Прошло несколько минут, и раздался выстрел. Шамфор, как оказалось, пустил себе пулю в лоб. Пуля раздробила кости носа и пробила глаз. Тогда он вооружается бритвой и наносит себе удары по горлу, потом разрезает грудь и, наконец, вскрывает вены. С дрожащими членами, бьющегося в судорогах, его тащат в тюрьму. Там он диктует чиновникам следующее заявление: «Я, Севастьян Рох Николай Шамфор, сим заявляю, что предпочел скорее умереть, чем быть вновь лишенным свободы. Я объявляю, что если бы вздумали силой меня тащить в тюрьму, то даже в положении, в котором я нахожусь ныне, у меня еще достаточно сил, чтобы покончить с собой; я свободный человек, и никогда никто не заставит меня войти живым в тюрьму». Когда Сиэйс пришел его навестить, то Шамфор протянул ему руку и сказал: «Вот что значит быть неудачником, даже убить себя не сумел». Смерть прекратила его страдания только спустя несколько месяцев, 13 апреля 1794 г.[121]

Этих несчастных заставлял поднимать руку на самих себя ужас казни. Не все обладают величием души Лавуазье, отвечавшего тем, кто предлагает ему принять яд: «Я не дорожу жизнью, и хотя судьба наша без сомнения очень тяжела, но зачем же идти самому навстречу смерти? Нам нечего стыдиться, так как наша прошлая жизнь обеспечивает нам приговор, который произнесет над нами общественное мнение, а это самое главное».

Еще понятнее были случаи добровольной смерти в тюрьмах накануне сентябрьских дней. Тогда вопрос шел уже не о самой смерти, а о том, чтобы не подвергнуться при этом еще гнуснейшим издевательствам разъяренной толпы, опьяненной садизмом, не быть поднятым на штыки или брошенным в окровавленные канавы, не претерпеть тысячи физических и моральных мучений. Верующих ужасало, что когда их души отлетят на небо, то их тела будут, как жалкие трофеи, влачить по городу и бросят гнить, как падаль, где попало. Вот почему такое множество арестантов спешило опередить народный самосуд. «Подозрительный» аристократ, полковник конституционной королевской стражи де Шантрен говорит одному

из своих сотоварищей по неволе: «Нам всем предстоит быть перебитыми, примем же лучше смерть от своей собственной руки» — и тут же, не колеблясь, наносит себе три удара ножом в сердце. Молодой офицер, Буарагон, содержавшийся в той же тюрьме, не замедлил последовать его примеру, но неудачно. Он выжил от ран и был затем убит во время сентябрьской резни. Несколько других заключенных лишают себя жизни в своих камерах; один из них разбивает себе голову о дверной засов[122]. В тюрьмах Консьержри, Форс и Большом Шателэ самоубийства с каждым днем увеличиваются[123].

В монастырях: Бернардинском, Кармелитском, Вожирарском[124], св. Фирмена, в госпиталях Сальпетриере в Бисетре тоже немало народа покончило с собой добровольно. Самоубийство в Бурбе (иначе Порт-Либр, ныне Родильный дом) бывшего лакея маркиза де Куньи произвело в Париже большую сенсацию.

Все газеты заговорили об этом случае, и в продолжение нескольких часов он не сходил с языка. Вот как сообщают об этом тюремные записки того времени: «Несчастный случай омрачил нам весь день. В то время как молодежь играла в саду в городки, несчастный заключенный по имени Кюни, служивший раньше лакеем у бывшего маркиза де Куньи, перерезал себе горло в одной из камер. Об этом самоубийстве узнали только четверть часа спустя. Прибывший только за два дня перед тем Кюни ночевал в общей камере и рассказывал всем о своем горе; на другой день он впал в меланхолию. Тщетно все старались его развлечь. Он сам отточил свой нож и написал духовное завещание, которое и было найдено в его камере при составлении чиновниками протокола об этом происшествии».

Кюни умер не сразу. Завещание этого несчастного выражало надежду, что Конвент примет во внимание его просьбу «о несчастных санкюлотах», о его племянниках и племянницах и, в особенности, о бедном сироте, которого он всегда любил и которому помогал. Самоубийство Кюни оказалось заразительным: в то же время банкир Жирардо, переведенный из тюрьмы Маделонет в лечебницу Бельома, убил самого себя семью ударами ножа.

Маркиз де Ла Фар и Ахилл Дюшателэ, лишившийся ноги при осаде Гента, тоже покончили с собой добровольно. Последний оставался до конца в тюрьме Маделонет. Он был крайним республиканцем. Это он, например, перевел и расклеил по Парижу, даже в коридорах Национального собрания, воззвание англичанина Томаса Пайна, провозглашавшего еще в 1790 году свержение Людовика XVI с престола.

В тюрьмах как будто был отдан какой-то пароль: самоубийства умножались изо дня в день в возрастающей прогрессии. В Люксембургской тюрьме некто Леран, только что заключенный, бросается со страху с крыши на мраморную балюстраду перестиля. На землю брызнули кровь и мозги и образовали большое пятно, на которое нельзя было смотреть без содрогания. В Бисетре восьмидесятилетний старик бросает оставшиеся у него деньги в выгребную яму и распарывает себе живот бритвой. Кардинал Ломени де Бриен, санский архиепископ и бывший министр Людовика XVI, так же как и его сотоварищи, гренобльский епископ, тоже избегают эшафота посредством самоубийства в тюрьме.

Фанатик революции, бывший сапожник Льюлье, ставивший свою кандидатуру в парижские мэры против врача Шамбона, по выражению автора мемуаров того времени, «собственноручно покарал себя за свои плутни и мошенничества».

Для выяснения причин смерти Льюлье, вооруженная секция санкюлотов назначила хирурга, который пришел к заключению, что таковая произошла от самоубийства. Плечевые вены оказались перерезанными бритвой. Труп Льюлье был найден в тюремной камере.

Мания самоубийства произвела в провинции не меньше опустошений, чем в Париже.

В Лионе якобинец Шарль, глотая гвозди, успел поранить себе глотку и пищевод. Врач Жоне выбрал более верное орудие. «Ему были известны растения, которые могли освобождать людей от гнета тирании». Он лично себе изготовил и принял яд. Другой, не имея под руками ничего, кроме бутылочного стекла, вскрыл им вены, нанеся себе в одну минуту больше 30 ран. К утру его нашли плавающим в крови и едва дышащим. Его отнесли на

гильотину на тюфяке. Напрасно Конвент по предложению Фукье Тенвиля декретирует, что имущество самоубийц будет впредь конфисковываться в пользу республики без соблюдения каких-либо дальнейших формальностей. Самоубийства губили больше народа, чем сама гильотина. Правда, что кончали таким образом преимущественно те, кто был все равно обречен в жертву палачу. Но все же некоторые из них погибли исключительно под влиянием невроза, не будучи в состоянии перенести современных ужасов. Так, например, некий парикмахер с улицы Св. Екатерины Культурной перерезал себе горло, узнав о смерти короля; на другой день после казни Марии-Антуанетты какая-то женщина бросилась в Сену; горничная королевы, теща будущего маршала Нея, выбросилась из окна и разбилась насмерть. Наконец, какой-то ярый приверженец Дантона сошел с ума, узнав, что на последнего начинают возводиться разные обвинения; его пришлось как буйного засадить в Бисетр.

Мы заканчиваем на этом наш перечень, который угрожает сделаться монотонно-бесконечным.

Психологи и психиатры всегда констатировали увеличение числа самоубийств в моменты политических передряг. Еще Фальрет говорил когда-то, что «самоубийства учащаются во время политических потрясений», потому что возбужденное событиями воображение преувеличивает опасность и человек из одной боязни, что он не сможет ее победить, заранее уже падает духом. «Жизнь теряет свою цену, потому что всякий считает себя обреченным заранее». Люди лишают себя жизни с улыбкой на устах, лишь бы избавиться от гуртового избиения, от организованной резни, которую обезумевшая толпа производит с бессознательной дикостью, свидетельствующей лишь о том, как легко пробуждаются в массах в известные моменты животные инстинкты. Все революции вообще несомненно видные факторы сумасшествия; люди разрушают старый общественный строй ценой своей крови, а нередко и рассудка. И когда этот строй, наконец, обрушивается окончательно, то он увлекает за собой в своем крахе и неосторожных, которые над этим работали... Какой страшный урок для потомства?..

Глава IV. Драма в Епархиальной больнице

Из самоубийств эпохи террора заслуживает внимания самоубийство бывшего капуцина Шабо как личности довольно необыденной. Жизнь этого человека, присвоившего себе прозвище «чистейшего из санкюлотов», протекла действительно очень бурно. Он постригся в монахи еще декабре 1789 г.; был послушником в капуцинском монастыре в Тулузе, затем профессором в Каркасонской семинарии и, наконец, настоятелем маленького капуцинского монастыря в Родэзе. От монашеских обетов, он был освобожден конституцией. Шабо тотчас же поспешает в Блоа, к епископу Грегоару, и, благодаря всевозможным проискам, добивается избрания в Законодательное собрание. Обуреваемый честолюбием и жаждой наслаждений, он с головой бросается в круговорот политических событий. Бывший капуцин скоро превращается в опасного донжуана. Он весь отдается политике и любви и быстро достигает огромной популярности; произносит замечательные речи в Национальном собрании и у якобинцев, принимает деятельное участие в событиях 10 августа и приобретает, наконец, такую известность, что его имя не сходит с уст публики. Однажды все С.-Антуанское предместье схватилось за оружие при одном слухе, что он будто бы убит. Тем временем он вел очень широкую жизнь и швырял деньгами, хотя на самом деле был вовсе небогат. Но эта бедность шла у него рука об руку с самой беззастенчивой изворотливостью.

Шабо женился на 15-летней Леопольдине Фрей, братья которой, по происхождению австрийские евреи, были попросту шпионами на службе у коалиционных держав. Они, повидимому, устроили недурной гешефт торговлей своими родными сестрами, как сообщает об этом в своих записках гене-

рал Тренк. «Я знал, — говорит он, — некоего еврея Фрея... Он приехал в Вену, чтобы пустить в оборот своих двух сестер, очень хорошеньких девушек, которые не только разоряли молодых людей, но иногда и заражали их скверными болезнями, за что и были, наконец, со скандалом высланы из пределов Австрии. Позднее он выдал одну из этих знакомых всей Вене «девственниц» за бывшего капуцина Шабо, депутата Национального собрания»[125]. В этой же заметке упоминается далее, будто бы и сам император Франц II удостаивал этих девиц своим вниманием.

В такую семейку попал Шабо[126]. По брачному контракту он якобы получал за женой 200 000 ливров приданого, но в действительности у Фреев не было ничего, кроме долгов. Жених это, конечно, прекрасно знал, но ему была нужна такая уловка, чтобы узаконить этим свое собственное состояние, объяснить происхождение которого иначе ему было бы, несомненно, очень трудно, так как он добыл его попросту взяточничеством. Действительно, он получил огромный куш с Индийской компании за то, чтобы оттянуть и видоизменить в ее пользу постановление о ее ликвидации. Но его погубили сообщники. В последний момент он струсил и сам донес Комитету общественного спасения о своих сношениях с компанией, уверяя, что завел их лишь с целью обнаружить ее плутни и предать виновных в руки правосудия. Ему, однако, не поверили; у него был сделан обыск и в отхожем месте были найдены бумаги, которые разъяснили все дело. Шабо был арестован, а вместе с ним попался Фабр д'Эглантин, который был решительно ни при чем в данном деле; оба были «амальгамированы» Фукье Тенвилем в дело об иностранном заговоре, к которому они в действительности не имели никакого отношения.

Из Люксембургской тюрьмы, в которую он был заключен, Шабо посылает письмо за письмом к Робеспьеру и в Конвент. Но донесение д'Амара, производившего следствие, было неумолимо. Шабо[127] предстал перед революционным трибуналом и без долгих проволочек получил смертный приговор.

После осуждения его переводят в Консьержри. Он решается тогда спастись от позорной казни самоубийством. Его

жене удается пронести ему сулемы. Приняв яд, Шабо чувствует, будто у него разрываются внутренности; он звонит, кричит и зовет на помощь!

Сперва все думали, что у него в комнате случился пожар, и на его крики сбежались надзиратели, привратники и арестанты. Когда двери камеры открылись, то увидели несчастного капуцина в конвульсиях; он тотчас же сознался, что отравился. Содержавшийся в той же тюрьме врач Зейферт прописывает поспешно противоядие, и в то же время посылают за тюремными врачами Марковским[128] и Зупе[129]. При виде их Шабо приподнялся на кровати; он едва имел силы указать взглядом на пустую бутылку с надписью «для наружного употребления» и затем прерывающимся от стенаний голосом проговорил: «Я написал завещание...[130] я думал, что моя смерть необходима для блага родины... я выпил лекарство, прописанное мне для наружного лечения...[131] Глотая этот яд, я воскліцал: «Да здравствует республика!»

Человек, проглатывающий яд с криком: «Да здравствует республика!» и тотчас же хватающийся за шнурок звонка, чтобы звать на помощь, похож скорее на комедианта, чем на отчаявшегося в жизни и решившегося прекратить свое земное существование мыслителя. Но актер уже сыграл свою роль, так как, несмотря ни на что, яд продолжал действовать. Шабо очень страдал; ему давали в изобилии внутрь молоко, масло из сладких миндалей, а так как боли не прекращались, то прописали еще сильную дозу опия[132].

В течение трех дней врач оспаривал его у смерти. Наконец, 30 вентоза его перевели в Епархиальную больницу, которая предназначалась исключительно для больных арестантов[133].

Когда Шабо вышел из Люксембурга, то был так слаб, что его вели под руки двое людей. Его друзья Базир, Фабр д'Эглантин и Делоне, считавшиеся его сообщниками, были тоже больны и измучены.

Час искупления приближался. Еще несколько дней, и голова капуцина Шабо присоединилась в плетеной корзине к головам его товарищей по заключению[134].

Глава V. Женщины перед эшафотом

История французского общества времен террора тесно переплетена с историей парижских тюрем. Невзирая на то что они являлись обыкновенно преддверием беспощадного Революционного трибунала и последней ступенью к эшафоту, жизнь в это время била в них ключом, и обитатели их, в ожидании рокового часа, беззаветно предавались наслаждениям минуты, для многих последней. Здесь у порога смерти каждый сбрасывал с себя иго предрассудков и светских условностей, свергал гнет этикета и перед страхом истинным расставался с ложным страхом общественного мнения и людской молвы.

Если приближение смертного часа и вызывало в некоторых женщинах сосредоточенное, молитвенное настроение, то у большинства, безропотно покорявшегося неизбежной судьбе, в последние минуты пробуждалось лишь одно желание: взять от жизни то, что еще возможно, насладиться ею, как неверным, но прекрасным любовником, с которым все равно, так или иначе, а придется очень скоро расстаться, и эпикурейски безмятежно провести с наибольшим наслаждением последние минуты земного бытия.

По мере приближения рокового часа жажда жизни будто лихорадочно усиливалась, всякому хотелось выпить до дна чашу наслаждений и запретных радостей. Зачем же было терять понапрасну дорогое время?

Под влиянием нервного возбуждения голос плоти говорил, может быть, даже сильнее обыкновенного, а завтрашний день был безнадежен и неведом. И под влиянием таких факторов под мрачными сводами острогов лились сладостные гимны Эросу, богу любви.

Безумие ли овладевало людьми или в них говорила присущая их классу распущенность нравов? Или, наконец, их просто влекло друг к другу сильнее обыкновенного под влиянием

чувства взаимной нежности и жалости к их общей печальной участи?

Без сомнения, все эти факторы сыграли свою роль; у природы есть свои слабости, у сердца свои увлечения, у порока своя любознательность, но ни патолог, ни историк не должны упускать из виду и еще одну несомненную и немаловажную причину этого явления. Это именно тот факт, что женщины, более чем мужчины, под влиянием страха способны не рассуждать, а только повиноваться. Покинуть жизнь во цвете лет, оставить за собой все, что украшало существование, родных и близких, все, что любишь и ценишь, видеть себя мишенью надругательства со стороны толпы и не иметь даже утешения умереть прилично и красиво — вот что ожидало каждую из этих несчастных в неминуемом, конечном итоге революционной вакханалии.

Когда судьба каждой из них уже решена, ни одна не проявляет более ни страха, ни малодушия, все идут на эшафот мужественно, с достоинством, с какой-то иногда неземной радостью в лице.

Но можно ли удивляться, если до осуждения, когда роковой вопрос еще не разрублен окончательно мечом фемиды, когда все еще теплится там далеко какая-то ничтожная надежда, они прибегали, ради спасения, ко всему, что только могло им помочь, не останавливаясь ни перед чем, даже перед пожертвованием своей честью?

В этом отношении выбора в средствах почти что не было. А из законных средств было всего счетом только одно, и то не лучше незаконных, к которому, впрочем, надо признать, в общем, и прибегали лишь весьма немногие. Это было заявление о беременности, которое, в случае его подтверждения, делало будущую мать неприкосновенной и служило защитой как ей, так и ее невинному, но несчастному плоду.

Таким образом самая надежда на спасение покупалась уже ценою бесчестья. Привязанность к жизни, лучшему дару природы, служила им, конечно, достаточным в этом оправдании.

Бывали еще и такие женщины, которые ради спасения мужей, женихов или близких тоже доходили до подобного

же самопожертвования, и нельзя не признать за ними полного права на глубокое уважение. К сожалению, однако, по большей части, такие жертвы не оправдывались последствиями.

Редко достигая своей цели, они оставляли в этих героинях на всю жизнь лишь горькое, неизгладимое воспоминание о напрасно загубленной чистоте и чести.

У одного из современников описываемой эпохи мы в подтверждение только что высказанного нами положения заимствуем следующий правдивый пример.

Молодая и весьма недурная собой женщина, с большим талантом к живописи, получила разрешение быть заключенной в тюрьму одновременно с мужем, который был арестован по незначительному делу о какой-то драке между разными парижскими секциями, т. е. по обстоятельству, имевшему место чуть ли не ежедневно...

Художница повела свои дела весьма удачно. Ее заработок приносил ей весьма приличный доход, так как спрос на портреты в тюрьмах был, понятно, весьма значителен. Она даже не особенно хлопотала о скорейшем освобождении мужа, так как обоим жилось под стражей далеко не дурно. Но вот до ее сведения дошло, что в списки одного из главных шпионов Фукье-Тенвиля — некоего Бойенваля, попало имя ее мужа по доносу, впрочем, другого, но менее крупного шпиона, у которого когда-то с ее мужем были личные неприятности.

Она бежит к Бойенвалю, плачет, валяется в ногах, доказывает, что ее муж незначительный, бедный человек, никогда не имевший ничего общего с аристократией, и что он не мог участвовать ни в каком антиреволюционном заговоре. Злодей как будто смягчается... Он убежден, он вычеркнет ее мужа из списка, он его спасет, но... при одном лишь условии. Просительница поняла его с полуслова и покорно подчинилась воле шпиона. Через несколько дней, невзирая на это, ее муж был казнен...

Справедливость обязывает сказать, что, конечно, далеко не все завязывавшиеся в мрачных казематах интриги носили такой же возвышенный, героический характер. Многие не

находили даже себе простого оправдания в молодости, любви и красоте. Многие также и не заканчивались таким низким и жестоким образом... Напротив, все тюрьмы без исключения были притонами весьма беззастенчивого разврата, оправдываемого или, вернее, объясняемого всего вернее тем же состоянием невроза, в котором находилось почти всецело все тогдашнее общество...

Гражданин Марино, бывший посудный торговец, возведенный при революции в должность тюремного инспектора, однажды открыто высказал вновь прибывшей в Люксембургскую тюрьму партии арестанток: «Знаете ли вы, что про нас говорят по всему Парижу? Что все тюрьмы — публичные дома, все арестантки — проститутки, а все тюремные чиновники — простые сводники!..»

Доля правды в этом несомненно была. В Люксембургской тюрьме, например, надзор за содержащимися был почти немыслим. Тысяча слишком арестантов была разбросана по целой массе комнат и зданий, вовсе не приспособленных для содержания преступников. Сношения между обоими полами были воспрещены скорее номинально, чем в действительности. Нарушить нехитрые преграды было немудрено... Одного огромного и тенистого Люксембургского сада было бы довольно для всевозможных любовных свиданий и приключений.

Вскоре, однако, некоторые из таких приключений настолько огласились, что пришлось принять более строгие меры. Стало известно например, что некая гражданка Орм... с лихвой вознаграждала себя в тюрьме сразу за несколько лет вынужденного воздержания на воле. Подтвердилось также, что какой-то молодой человек за деньги являлся в тюрьму с воли и за простой ширмой наслаждался в объятиях своей возлюбленной, содержавшейся в остроге по какому-то важному делу...

Когда однажды их захватили на месте, дама подняла страшный крик, стала жаловаться, что сделалась жертвой насилия, а ее поклонник улетучился, так что и след его простыл... Тюремные ворота легко отворялись при помощи золотого ключа в обе стороны.

В Порте-Либр надзор был гораздо строже; передавали случаи, когда даже записки, приносимые арестантам с воли посетителями, перехватывались и представлялись по начальству.

Здесь с трудом дозволялось заключенным даже писать стихи или заниматься музыкой.

В С.-Пелажи арестанты сносились между собой знаками и стуками. Бакалейщик Кортей, содержавшийся по одному делу с бывшим герцогом Монморанси и губернатором Инвалидного дома Сомбрейлем, довольно свободно сигнализировал через коридорное окно с бывшей принцессой Монакской и посылал ей воздушные поцелуи. Это возмутило старого аристократа Понса, который не выдержал и прочитал Кортею следующую нотацию: «Должно быть вы очень скверно воспитаны, г. Кортей, если вы позволяете себе подобное обращение с дамой столь знатного происхождения. Мне теперь понятно, почему вас хотят гильотинировать вместе с нами, вы уже теперь начинаете считать нас своей ровней».

В С.-Лазарской тюрьме, невзирая на чрезвычайные строгости и скверное содержание (даже беременным женщинам здесь не давалось молока), беспорядки только умножались с каждым днем.

Здесь, где нас смерть стережет у порога,
Где над нашей главой давно меч занесен,
Все мужья, все любовники смотрят нестрого,
Слышен шепот любовный и ласки кругом,
Здесь танцуют, поют, юбки кверху летят!..
Сочиняют куплеты, словечки...

Такова характеристика, данная этой тюрьме знаменитым поэтом Андрэ Шенье.

5 термидора, т. е. 20 июля 1795 года, четыре подруги поэта по заключению, госпожи С. Аган, Мерсэн, Жоли де Флери и Гиннисдаль объявились все беременными в надежде спастись от эшафота.

Лишь одно из этих заявлений было, однако, признано достоверным, именно первой из них, муж которой содержал-

ся с нею в той же тюрьме. Трем остальным удалось отсрочить лишь на сутки время, потребное для освидетельствования, — роковую развязку.

Все это были женщины молодые и красивые, а одна из таких заявительниц, показание которой, впрочем, подтвердилось, была даже совсем ребенком; это девица де Кроазейль, которая отдалась любовнику в Кармелитском остроге на пятнадцатом году от роду...

В тюрьме Форс были тоже случаи подобного рода, здесь же имело место и другое любовное приключение, более чистое и благородное. Сын губернатора Инвалидного дома, Сомбрейль, был заключен под стражу и вскоре тяжко заболел. Его навещала по временам какая-то прелестная неизвестная женщина. Застав его раз в бессознательном состоянии, в горячке, она в один миг переоделась в его платье и продежурила у его изголовья целых трое суток. К счастью, ее никто не заметил.

В то время, если женщины любили, они ни перед чем не останавливались ради своих возлюбленных. Одна из них не побоялась даже проводить его до самого эшафота. После казни она провожает, его останки до кладбища. Здесь она подкупает могильщика, и тот за сто золотых соглашается выдать ей, с наступлением ночи, голову казненного. В условленный час она является и, обернув драгоценные останки в великолепный саван, уносит их с собой...

Но по дороге ей изменили силы, она упала без сознания вместе со своей ношей... Обход нашел ее без чувств и отнес в ближайший Революционный комитет. К сожалению, история умалчивает о ее дальнейшей участи...

«Они жаждут любви накануне смерти. Они ищут земного рая, и сама ночь перед казнью превращается подчас в ночь свадебных, любовных восторгов. Любовь и смерть братаются здесь ежечасно».

Тюрьмы Люксембургская, Порт-Либр, С.-Лазарская и Кармелитская не только среди народа, но даже и у современных историков слыли под названием «любовных» и «мюскаденских» вовсе не потому, что их население до заключения на-

слаждалось в жизни по преимуществу любовными утехами, но именно вследствие того, что даже и здесь, под стражей, эти счастливцы-арестанты проводят восхитительные дни в объятиях прелестнейших подруг-арестанток среди садов, беседок и боскетов, почти что на лоне природы... Здесь даже надзиратели и ключники вежливы и любезны, они и говорят здесь каким-то иным языком. В тюрьмах Консьержри, Мадлонет, С.-Пелажи или Форс их, пожалуй, даже и не поняли бы — чистые академики, да и только...

Консьержри была действительно тюрьмой в совсем другом роде. Пройдя первую решетку, а их было в общем не менее четырех, вы попадали в пространство, окруженное кругом железными цепями.

Здесь допускались свидания с посетителями, но обыкновенно к заключенным приходили только одни женщины, их и принимали, конечно, всего приветливее...

Здесь, по словам одного из современников, мужья становились любовниками, а любовники удваивали свою нежность. Было, по-видимому, без особого договора условлено не обращать более внимания на законы общественных приличий, «годных, конечно, лишь тогда, когда возможно отложить излияние нежностей до другого, более удобного случая и места».

Беззастенчиво раздавались здесь направо и налево нежнейшие поцелуи. Под покровом сумерек или просторного платья обменивались смело излияния нежности, удовлетворялись самые горячие порывы. Подчас эти восторги прерывались видом несчастных, только что приговоренных к смерти, которых проводили через этот же дворик из залы судебных заседаний Трибунала. Тогда на минуту кругом воцарялось гробовое молчание; все испуганно переглядывались... а потом?.. потом снова раздавались нежные слова, поцелуи, горячие объятия, все принимало прежний вид... Все незаметно шло опять своим чередом.

Под главным входом наблюдалось почти то же. Вдоль длинных скамей, по стенам, сидели мужья с женами и любовники с любовницами, все обнимались и ласкались с таким же

спокойствием и радостью, точно они возлежали на ложе из роз. Иные лишь изредка плакали и стенали.

В другом флигеле того же места заключения, называвшемся неизвестно почему «стороной двенадцати», имелся специально женский двор. На мужской половине не было никакой прогулки, кроме темного коридора, освещаемого и днем и ночью коптящей лампочкой, который выходил в небольшие сенца, отделенные от женского двора обыкновенной железной решеткой. Сквозь эту решетку мужчины могли легко целоваться с женщинами и нередко, говорит современник, «в этих нежных излияниях забывались все ужасы тюрьмы и неволи».

На женском дворе был колодец, очень обильный водой. Каждое утро заключенные, у которых подчас не бывало даже другой смены белья и платья, занимались во дворе стиркой и сушкой своей верхней и нижней одежды.

В утренние часы они так увлекались этим занятием, что казалось ничто, даже вручение обвинительного акта, не могло бы их от него отвлечь.

После утреннего неглиже они возвращались в камеры и выходили оттуда принаряженные и причесанные с большой тщательностью и вкусом. Под вечер они снова появлялись в вечернем дезабилье. Всякая, которая только могла, переодевалась не менее трех раз в день. Те, кто был победнее, заменял роскошь туалетов изысканной чистоплотностью...

А вечерами любовь снова вступала нераздельно в свои права. Все дисконтировалось тогда в ее пользу: вечерний сумрак, тень проносившегося облака, утомление стражи и надзирателей, скромность и сон остальных заключенных.

Подчас, впрочем, сами тюремщики, конечно не бескорыстно, содействовали этим сближениям.

Один из свидетелей-очевидцев сообщает, что однажды была приговорена вместе со своим любовником к смерти сорокалетняя, но еще довольно аппетитная особа. Любовник был офицер северной армии, молодой человек возвышенного ума и прекрасной наружности. Они вышли из трибунала после выслушания приговора часов около шести вечера. Женщина, посредством величайших хитросплетений и происков, доби-

лась, что ее на ночь соединили с возлюбленным. Их вырвали из объятий друг друга лишь наутро, чтобы вести прямо на эшафот.

Найдутся, может быть, строгие блюстители нравов, которых возмутит подобный беспорядок. Мы откровенно признаемся, что более склонны к снисхождению.

Многие стремятся истолковать подобную якобы распущенность тем, что будто бы уверенность в неминуемой смерти в точно определенный момент вносит в здоровый и полный сил организм какой-то протест возмущенной природы, выражающийся в неимоверном припадке сладострастия и похотливости.

Не подлежит сомнению, что в подобные моменты необходимо считаться с чрезвычайным подъемом деятельности сердца и вообще всех чувств, а повышение чувствительности несомненно должно повышать и возбудимость организма... Но мы все-таки не можем не указать, возвращаясь вновь к уже высказанному ранее положению, что огромное значение в таком подъеме сил, несомненно, должно быть отведено и чувству страха, как одному из существенных проявлений невроза...

Мы переходим в силу этого к естественно вытекающему вопросу о том, какое положение было предоставлено законом и практикой во время революции беременным женщинам.

Прежде чем приступить к его разрешению, нам кажется необходимым сделать несколько исторических справок.

С сожалением приходится констатировать, что с начала XIX в. суды перестали делать различие в применении карательных мер к беременным и к небеременным. В настоящее время женщина, носящая в себе плод, привлекается к суду одинаково с незамужней; кодекс Наполеона 1810 г. предусматривает только в некоторых случаях отсрочку наказания, но, впрочем, эта статья уложения не имеет более случая применяться на практике, так как случаи осуждения женщин к смертной казни крайне редки, а когда суд присяжных и обнаруживает такую строгость, то наказание обыкновенно отменяется путем милосердия главы государства[135].

В том же кодексе имеется статья, предписывающая в необходимых случаях медицинскую экспертизу. Она гласит: «Если присужденная к смертной казни женщина заявит, что она беременна, и если это заявление подтвердится, то она подвергается присужденному наказанию после разрешения от бремени».

Эта статья — простое воспроизведение статьи 23 главы XXV Уголовного ордонанса 1670 г. Согласно оной исследование должно было быть произведено даже в том случае, если женщина вообще покажется беременной, хотя бы она о сем сама и не заявляла.

Закон, изданный в жерминале месяце III г., был еще либеральнее: 3-я статья его, действительно, гласила, что во всех случаях, когда к женщинам предъявлялось обвинение в преступлении, влекущем за собою смертную казнь, она не могла быть даже предана суду, пока обычным путем не будет проверено, не беременна ли она? Законодатель при этом между прочим ссылается на то соображение, что волнения, производимые судебным производством, могут вредно отразиться на матери и на ребенке. Закон этот строго соблюдался[136], и даже многие постановления суда присяжных были кассированы по его нарушению. Кассационный суд в решении от 8 жерминаля 13 г. подкрепил этот гуманный закон весьма филантропическими соображениями.

Один из известнейших врачей — легистов XVII в., Закхиас, рассказывает, что в его время беременные женщины не подвергались даже первой степени пытки: их допрашивали только под простой угрозой, с показанием им пыточных орудий[137].

В 1790 г. мэр г. Парижа ходатайствовал об освобождении беременных женщин от наказания железным ошейником.

В теории и революция следовала той же непрерывающейся традиции и щадила беременных женщин, но на практике было совсем иное. В самом начале революции суды еще относились внимательно к беременности обвиняемых. Некая лионская жительница обвинялась в том, что покушалась на убийство мужа, влив ему во время сна в ухо расплавленного свинца[138].

Она объясняла это беспримерное покушение манией, являвшейся у нее в состоянии беременности, и на самом деле оказалась таковой. Суд составил экспертизу из нескольких врачей и хирургов и потребовал их заключения по вопросу о душевных изменениях в период беременности и ее обычных последствиях. Заявление экспертов было благоприятно для подсудимой и допускало в принципе возможность воздействия беременности на умственное состояние женщины. Суд в свою очередь сделал следующее постановление. Принимая во внимание:

1) что из доклада дела и протокола экспертов является доказанным, что в момент совершения покушения на жизнь мужа обвиняемая находилась на 3-м месяце беременности;

2) что, по мнению врачей, беременность является в действительности болезненным состоянием, способным влиять на мозговые отправления и вызывать более или менее значительное расстройство центральной нервной системы, в зависимости от темперамента беременной женщины, вследствие чего поступки, совершенные беременными, не всегда являются выражением свободной воли, особенно в первые 3–4 месяца этого состояния;

3) что на основании вышеприведенного в пользу обвиняемой может возникнуть законная презумпция о ее невменяемости и что покушение ее на жизнь мужа, в коем она созналась, могло быть совершено только в минуту душевного расстройства, причиненного беременностью, если ей, впрочем, удастся подтвердить те факты, на которые она указывает в доказательство исключительности своего душевного состояния, и если эти факты будут подкреплены показаниями других женщин;

4) что закон, рассудок и чувство гуманности вменяют судьям в обязанность не пренебрегать ничем для защиты обвиняемой и окружить ее, особенно в чрезвычайных случаях, всеми возможными источниками света...[139]

Суд предоставляет обвиняемой вызвать такое количество женщин, какое она найдет необходимым, чтобы доказать возможность беспричинной раздражительности, злости и ка-

призов, особенно в первые три или четыре месяца беременности, против мужей и иных лиц.

Этот процесс имеет своеобразный интерес. Он доказывает, что, во всяком случае, вначале Великая французская революция допускала принцип невменяемости при наличности известного патологического или физиологического факта. Она признавала и за беременными женщинами особые привилегии, из которых главная была — право провести период беременности без вмешательства палача Сансона и трагического нарушения ее спокойного и правильного течения.

Но эпоха террора отвергла гуманные идеи революции 1789 г. Принципы человечности и справедливости она заменила принципами страха и человеконенавистничества. Гильотина перестала признавать разницу между женщиной и ее плодом, между девственницей и зачавшей — все были уравнены под ее ножом.

Женщины, содержавшиеся в разных тюрьмах Парижа и объявлявшие, что они находятся в состоянии беременности, направлялись в Епархиальную общую тюремную больницу[140]. Здесь больничные врачи при содействии акушерки[141], гражданки Приу, составляли протокол осмотра и затем направляли его к государственному обвинителю, который высказывался по делу окончательно. В архивах можно доныне найти несколько таких свидетельств, из которых одни подтверждают беременность, а другие ее отвергают.

В первом случае казнь отсрочивалась, но после родов приговор приводился в исполнение[142].

По большей части, однако, Фукье-Тенвиль вовсе не считался с докладами врачей, и палач получал приказ исполнить свою обязанность. Одним из серьезнейших пунктов обвинения против Фукье, когда последний предстал сам перед революционным судом, было то, что он посылал на эшафот женщин, объявлявших себя беременными и о которых врачи не могли высказаться определенно. Так было, например, со вдовой министра Жоли де-Флери, с госпожой Гиннисдаль и многими другими, менее известными.

Обнаруживая подобное презрение к человеческой жизни, Фукье в то же время возбуждает уголовное преследование против какого-то мясника «за убийство[143] стельной коровы в целях уничтожения ее плода».

Историки французской революции заклеймили образ действий Фукье-Тенвиля по достоинству, но даже и современники его не могли не возмущаться его позорным образом действий.

Пол, созданный для смягчения самых диких, жестоких нравов, пишет Пари де Л'Епинар[144], не находит милосердия у Фукье-Тенвиля. Беременные женщины, составляющие предмет уважения в глазах всех народов, наряду со всеми, безразлично влачились в кровавый трибунал. Однажды в присутствии Баяра, одного из больничных врачей, в больницу явились для исполнения приговора над одной из женщин, заявившей о беременности; этот мужественный человек бежит лично в Коммунальный совет и защищает там с энергией, опираясь на авторитет всех своих коллег, то положение, что женщине, объявляющей себя беременной, надо верить на слово и что врачи могут высказаться положительно относительно этого вопроса только после 4,5 или пяти полных месяцев. Постановление Совета состоялось согласно с заключением ученого сословия.

Но товарищи Баяра, чиновники и лекари, назначенные по протекции Робеспьера и Фукье, не стеснялись подобными сомнениями и открыто пренебрегали всяким чувством гуманности.

7 и 8 термидора к ним приводят восемь несчастных женщин, заявляющих себя беременными. Их тотчас же осматривают[145] с величайшей бесцеремонностью, объявляют семерых из них симулянтками и предают спокойно в руки палачей. В полдень того же дня их уже не стало.

По смерти Робеспьера один из этих врачей, Ангюшар, с целью оправдаться, опубликовал целую докладную записку. В это время вошло в обычай сваливать в так называемых оправдательных записках собственные преступления на низвергнутого «тирана».

Впрочем, такие факты были привычными у Ангюшара и, несмотря на все его оправдания, мы можем составить себе вполне определенное о нем мнение. Девушка 17 лет после осуждения объявила о своей беременности; ее отвели, после прочтения приговора, в больницу; здесь она подвергается осмотру, и по докладу Ангюшара и Нори, будто она старается только затянуть время, она была казнена на следующий день.

В числе семи женщин, отправленных на эшафот по докладу Ангюшара, история одной слишком трогательна, чтобы не привести ее здесь подробнее.

Когда принцесса Стенвилль Монакская попала в число «подозрительных», то Комитет секции «Красной шапки» обещал ей, по ее просьбе, оставить ее под домашним арестом, под надзором стражи, нанятой за ее счет.

Но, в нарушение этого обещания, Комитет вскоре распорядился взять ее в тюрьму. Ей удалось, однако, спастись через потайную дверь.

Какая-то сердечная женщина оказала ей приют на некоторое время. Чтобы не скомпрометировать ее, госпожа Монако под покровом ночи оставляет свое убежище и скитается некоторое время за городом. Утомленная такой бродячей жизнью, она, однако, возвращается в Париж. Здесь ее узнают, задерживают и она предстает перед революционным судом.

8 термидора II г. принцесса Гримальди-Монако (Тереза Франсуаза де Стенвилль) выслушала свой смертный приговор.

Ее направляют в больницу, так как она объявила себя беременной, и там она подвергается осмотру. Краснея от стыда за то, что прибегла к такой лжи, чтобы продлить свои дни, она написала Фукье-Тенвилю тут же следующее письмо, в котором отказалась от своего первоначального заявления:

«Я предупреждаю вас, гражданин, что я не беременна. Я хотела сказать вам об этом лично, но не надеясь более, что вы придете ко мне, я сообщаю вам это письменно. Я не осквернила бы своих уст этой ложью из боязни смерти или из желания ее избегнуть, но сделала это лишь для того, чтобы по-

дарить себе один лишний день жизни и самой отрезать свои волосы, не допуская до них руки палача. Это единственное наследство, которое я могу завещать моим детям. Пусть же оно, по крайней мере, останется чистым».

В то же время она написала письмо и к своим двум девочкам[146], а другое — их гувернантке, вложив в первое пучок волос, которые она отрезала куском стекла. Затем она написала по адресу своего грозного обвинителя вторую записку такого содержания:

«Гражданин, прошу вас во имя человечности передать этот пакет[147] моим детям; у вас гуманный вид, и, глядя на вас, я жалела, что вы не были моим судьей; может быть, мне и не пришлось бы теперь поручать вам мою последнюю волю. Уважьте же просьбу несчастной матери, которая погибает в молодые годы и оставляет сирот лишенными их источника жизни; пусть они получат, по крайней мере, последнее свидетельство моей нежности, и я буду очень признательна вам».

Такое поведение принцесса Монако сохранила до конца.

Прежде чем выйти из своей камеры, чтобы идти на эшафот, она попросила свою служанку подать ей румян: «А что, если природа одержит верх, — воскликнула она, — и я испытаю минуту слабости? Прибегнем лучше к искусству, чтобы ее скрыть». К заключенным, толпившимся на ее пути, она обратилась с следующими горячими словами: «Граждане, я иду на смерть с тем спокойствием, которое внушает мне моя невинность, желаю вам всем лучшего жребия!» Обращаясь затем к одной из женщин, тоже подлежавшей одновременно с ней смертной казни и уныние которой так шло вразрез с ее твердостью, она сказала: «Мужайтесь, мой дорогой друг, мужайтесь! Только преступники могут обнаруживать слабость».

«Все заключенные, — прибавляет автор этого рассказа, — обливались слезами».

Через 24 часа, 9 термидора, для несчастной наступило вечное успокоение! Одновременно с принцессой Монакской погибло еще шесть молодых женщин, объявлявших себя тоже беременными[148]: суд, осмотр и казнь — все произошло в 24 часа.

Продолжим обозрение этих печальных картин смутного времени.

3 мая 1793 г. госпожа Колли приговаривается к смерти вместе с ее мужем и двумя другими личностями по обвинению, как гласит обвинительный акт, в сношениях с эмигрировавшими членами королевской фамилии.

Она заявила о шестинедельной беременности и была подвержена медицинскому осмотру; так как, по заявлению врачей, этого нельзя было определить с полной достоверностью, то суд постановил отложить исполнение приговора. Сообразно сему она была снова заключена в тюрьму Аббатства, так как в тюрьме Консьержри число заключенных было уже так значительно, что недоставало отдельного помещения для женщин.

Решили выждать с новым осмотром до июля. В этот промежуток ее перевели в тюрьму Малую Форс.

После нового осмотра врачи объявили, что беременности не было вовсе, так как доныне не обнаружилось никаких ее признаков.

Подсудимая возразила, что за время пребывания в новой тюрьме она вступила в сношения с мужчиной и считает себя вновь беременной на 6-й неделе. Новый осмотр опять не дал точного ответа ни в том, ни в другом смысле.

4 августа Трибунал снова дает обвиняемой отсрочку и назначает переосвидетельствование на 3 ноября.

Но так как никаких симптомов в беременности и на сей раз не оказалось, то госпожа Колли заявила о будто бы сделанном ею десятинедельном выкидыше, в доказательство чего и предъявила сохраненный в спирте зародыш. Ее обман был тотчас же обнаружен, так как зародыш оказался четырехмесячный.

Чувствуя себя погибшей, она вновь объявляет себя беременной, утверждая, что отдалась какому-то неизвестному человеку, заплатив ему «за труды» 50 ливров ассигнациями. Одновременно она посылает своих детей в зал заседаний Конвента — умолять Собрание о помиловании. Однако эта просьба отклоняется. 14 брюмера после последнего, давшего снова отрицательные результаты, осмотра суд вынес ей

смертный приговор, который и был приведен в исполнение в 24 часа.

6 сентября 1793 г. портниха Дрие, 31 года, признанная виновной в оскорблении полиции, была приговорена к смертной казни. Она объявляет себя беременной. Но так как осмотр врачей показал противное, то 8 декабря ее гильотинировали.

Следующий случай заслуживает больших подробностей: Шарлотта Фелисите де Люппе, разлученная жена маркиза де Шарри, которой угрожал закон об эмигрантах, с полным доверием обратилась за защитой к члену Конвента Осселену, одному из самых ярых монтаньяров.

Она была еще очень привлекательная женщина и произвела на свирепого революционера сильное впечатление; он галантно предложил ей свое покровительство взамен ее благосклонности.

Они стали открыто сожительствовать, поначалу даже очень покойно. Но когда Робеспьер проведал об этой связи, то Осселен испугался и, чтобы скрыть свою возлюбленную от преследований, отослал ее к своему брату, приходскому священнику в окрестностях Версаля, где ей некоторое время и удавалось прятаться от розысков под чужим именем.

Вскоре, однако, место пребывания беглянки открывается; на нее уже готовится донос в Департамент полиции, когда Осселен выступает сам в роли доносчика. Он продолжает, однако, для отвода глаз ее посещать и даже дает захватить себя у нее, когда к ней является полиция для ареста.

Революционный трибунал приговорил Осселена к ссылке, а госпожу де Шарри к смертной казни. Ее заключили под стражу в тюрьму Консьержри.

Здесь она сперва задумывает отравиться опиумом, но ее удается от этого отговорить. Тогда у нее является мысль объявить себя беременной. Врачи удостоверяют, что хотя очевидных признаков беременности и не усматривается, но что таковая возможна, если начало ее восходит не далее как к 2 месяцам, как это утверждает и осужденная. Во всяком случае они не высказались окончательно ни за, ни против.

Дается новая отсрочка; ее переводят в женскую тюрьму Сальпетриер, где она содержится в полном разобщении с мужчинами. Освидетельствованная снова спустя месяца четыре после осуждения, она не представила никаких симптомов беременности и посему последовало распоряжение об исполнении над нею казни на другой же день[149].

Вообще во всех сомнительных случаях приговоры приводились в исполнение безотлагательно. Одновременно с принцессой Монакской три другие подсудимые объявили себя тоже беременными. Врачебное освидетельствование гласило, что таковая возможна, но не удостоверена. Тем не менее Трибунал дал указ об исполнении казни. Если беременность признавалась врачами несомненной, то суд обыкновенно давал осужденной отсрочку до разрешения от бремени. В некоторых случаях это приводило к спасению этих несчастных.

12 декабря 1793 г. две публичные женщины были приговорены к смерти за то, что в пьяном виде кричали: «Да здравствует король, да здравствует королева, да здравствует Людовик XVII!» Одна из них объявила себя беременной, и это подтвердилось. Ей была дана отсрочка. Осужденная разрешилась от бремени в тюрьме, и затем ей выпало исключительное счастье — быть позабытой Фукье-Тенвилем. Она была еще жива в III году республики.

В числе казненных 21 флореаля (10 мая 1794 г.) значилось имя госпожи Серильи. Между тем эта самая госпожа Серильи появилась со свидетельством о своей собственной смерти и погребении в руках на процессе Фукье-Тенвиля.

Она предстала перед судом, как привидение с того света, явившееся обличать, во имя погибших жертв, их обвинителя и судей, попавших, наконец, в свою очередь на скамью подсудимых.

«21 флореаля, — показывает она, — мой муж и я с другими 23 подсудимыми были здесь приговорены к смертной казни. Мы с мужем обвинялись в соучастии в заговорах 28 февраля, 20 июня и 10 августа. Весь суд состоял в том, что нас спросили наши имена, возраст и звание. Этим и ограничились все дебаты, ибо председатель Дюме не давал обвиняемым

говорить и сам никого не слушал. Тогда я видела здесь на скамье подсудимых своего мужа и друзей, а теперь вижу на их месте их убийц и палачей.

Вот свидетельство о моей смерти от 21 флореаля, когда мы были осуждены, выданное мне местной полицией».

В судебных документах действительно оказались: заявление о ее беременности, симптомы которой, хотя еще и сомнительные, подтвердились медицинским свидетельством, приказ суда об отсрочке казни, приказы о переводе осужденной в Епископальную тюремную больницу и, наконец, акты об ее разрешении от бремени и о включении в списки умерших.

Так как протоколы о казнях составлялись на каждого осужденного отдельно, то в Коммунальном комитете, вероятно, предположили, что в ее деле недостает этого документа просто по недосмотру, и составили его задним числом, сообразуясь с текстом приговора.

Вначале Революционный трибунал давал[150] отсрочки на несколько месяцев каждой приговоренной женщине, даже и с неясными признаками беременности. Но потом, после прериаля месяца, начали немедленно казнить всех, беременность которых не была совершенно очевидна, основываясь на том соображении, что, содержась в тюрьмах, они якобы не могли иметь сношений с мужчинами[151].

Мы, однако, уже указывали выше, как, напротив, в них были легки сношения между заключенными обоего пола.

Известная Олимпия де Гуж[152] была также казнена, несмотря на заключение врачей, что ее беременность возможна. Она была осуждена 2 ноября 1793 г. за издание антиреволюционных брошюр и, пытаясь спасти жизнь, заявила на суде, что она беременна.

Мишле пишет о ней следующее: «Под влиянием страха смерти, от которого не всегда свободны даже самые неустрашимые люди, она внезапно преобразилась в слабую, слезливую, трепещущую от страха женщину. Узнав об отсрочке казни, существующей для беременных, она, как говорят, захотела воспользоваться этим предлогом. Один из ее друзей оказал ей с горечью необходимую для этого услугу, бесполезность

которой, впрочем, и сам предвидел. Акушерки и врачи были настолько жестоки, что высказали, что если беременность и имеет место, то во всяком случае слишком недавняя, чтобы ее можно было констатировать. На подмостках эшафота к ней вернулось ее обычное мужество».

Несмотря на неопределенность заключения врачей, Фукье потребовал исполнения смертного приговора, основываясь на невозможности сношений мужчин с женщинами в местах заключения. «Обвиняемая, — по его словам, — напрасно утверждала, что она забеременела в тюрьме; естественнее предполагать, что она заявляет о сем ложно, чтобы избавиться от немедленной казни».

Приговор был приведен в исполнение в тот же день[153].

Так же, как госпожа Серильи, девятого термидора спаслась от гильотины и госпожа Корнюлье де Сен-Перн. 1 термидора она заявила о своей беременности, которая была признана семимесячной. Падение Робеспьера спасло ее от эшафота. Тем не менее она все же попала почему-то в списки казненных.

Другие были менее счастливы. Так, вдова подполковника или генерала Кэтино была казнена ранее 9 термидора вследствие преждевременных родов.

Другую женщину, Роже, постигла такая же участь: она была гильотинирована после родов, а ее ребенок отдан в Воспитательный дом.

Ни красота, ни возраст, ни пол не смягчали неумолимых палачей. Столь же мало обращалось внимания и на национальность обвиняемых. Приводимый ниже, малоизвестный в его подробностях, случай может служить этому весьма характерной иллюстрацией.

Молодая полька, княгиня Любомирская, по словам одного из ее восторженных поклонников, «прекрасная, как Венера», была осуждена при обстоятельствах, заслуживающих внимания.

29 брюмера (19 ноября 1793 г.) она была арестована и заключена в тюрьму Малую Форс в качестве «подозрительной». В действительности она обвинялась в переписке с герцоги-

ней дю Барри, недавно перед тем тоже заключенной под стражу.

Местом заключения княгини, точно так же, как и герцогини де-Муши (в 1794 г.), была выбрана старинная резиденция герцогов Форс, превращенная во время революции в тюрьму того же названия, где в верхнем этаже было устроено отделение для публичных женщин. Здесь она просидела[154] до первого плювиоза (20 января), а затем, когда заболела, то была переведена в лечебницу гражданина ля Шапелль в Попенкуре. 14 апреля ее снова перевели в тюрьму С.-Пелажи, а оттуда в Порт-Либр.

30 жерминаля (19 апреля) она предстала перед Революционным трибуналом по обвинению в том, что вела антиреволюционную переписку с бывшей фавориткой — дю Барри.

Когда ей вынесли смертный приговор, она заявила себя беременной и считала уже себя спасенной.

Заявление прекрасной польки, что бы о нем ни говорили, было безусловно искреннее, но признать это не входило в расчеты Фукье-Тенвиля. Осужденную перевели из Консьержри в тюремную Епископальную больницу.

Один из современных анекдотических писателей рассказывает пикантное приключение, героиней которого по всей вероятности была именно княгиня Любомирская, так как приводимое автором описание внешности героини довольно близко к ней подходит. Читая этот рассказ, невольно вспоминается однородный и прелестно разработанный Ренаном сюжет его «Жуарской аббатиссы».

Как мы уже говорили выше, при больнице был сад, которым заключенные обоего пола могли пользоваться в определенные часы. Женщины спускались в сад по лестнице, общей с мужчинами, и проходили мимо ванной комнаты, предназначавшейся для больных и расположенной на антресолях. Помещение это обслуживалось одним из тюремных ключников.

Некий молодой аббат ля Тремуйль, «сложенный, как Аполлон Бельведерский», узнав, что молоденькая иностранка опасается, как бы не стали оспаривать ее положения, задумал

смелый план оказать ей в этом посильную помощь хотя бы на девять месяцев.

Он рассчитал, что ей, может, удастся незаметно проскользнуть вечером в ванную комнату, которая в это время пустовала, и что затем и ему не будет ничего легче, как пробраться вслед за нею и пробыть с ней некоторое время наедине. Надо было только подкупить надзирателя, которому вверена была охрана ванной.

Но напрасно предлагали ему за это весьма крупную сумму (две тысячи экю); он был непоколебим, и в результате на следующий же день, по докладу об этом Фукье-Тенвиллю, молодой аббат искупил на эшафоте свое напрасное усердие. По какому случаю не разделила и княгиня в тот же день участи своего неудачного избавителя, остается необъяснимым, да и вообще вся эта история если не представляет всецело праздного измышления, то по меньшей мере, вероятно, во многом преувеличена.

В действительности прекрасная полька была казнена только 22 мессидора (21 июня). Утром того же дня врачи Нори и Ангюшар с помощью акушерки Приу ее освидетельствовали и объявили, что по исследовании «никаких симптомов беременности у нее не усматривается».

Утверждали, что документ, написанный рукой Ангюшара, был якобы подписан прежде, чем в нем было проставлено имя осужденной, но доказать такое тяжкое обвинение трудно.

Как бы то ни было, но княгиня ни в каком случае не могла бы избегнуть постигшей ее участи, так как она и в тюрьме продолжала свободно высказывать свои убеждения, не стесняться в способах выражения своего справедливого негодования. По словам одного хорошо осведомленного писателя, она упрекала все начальство и лекарей в жестокости и несправедливости.

«Чудовища, — говорила она им, — я вижу, что вы злобно трепещете от моих слов. Вы горите нетерпением поскорее включить меня в число ваших жертв. Смелей! Доводите до конца свою работу. Убейте меня; убейте одним ударом и мать

и дитя… Несчастный ребенок, которого я ношу под сердцем, покраснел бы, как и я, от стыда, если бы был обязан вам своею честью и жизнью. Идите к вашим начальникам, скажите им, что молодая иностранка требует от них смерти, так как не может больше жить на земле, пропитанной кровью их жертв!» Эти слова были переданы Фукье-Тенвиллю и через двадцать четыре часа ее желание расстаться с жизнью было исполнено.

Что бы ни говорили защитники террора, никогда ему не смыть с себя обвинение в избиении беременных женщин. Единственно, что можно привести в его защиту, это то, что преступления подобного рода не были его исключительной монополией[155].

Наполеон совершил, по крайней мере однажды, такое же преступление. Одна знатная дама, госпожа Акэ, была приговорена к смертной казни как политическая заговорщица. Она заявила, что беременна, но в ответ, однако, получила только отсрочку казни. Воспользовавшись приездом императора в Шенбрун[156], она послала к нему своих детей, одетых в глубокий траур с прошением о помиловании.

Возвращаясь из Ваграма, куда он ездил для осмотра поля сражения, Наполеон увидел на своем пути двух малюток-девочек, заливающихся слезами. Он подошел к ним. Девочки упали к его ногам: «Государь, верните нам нашу мать!» Император был тронут, взял прошение. Прочел и задумался… Потом отвернул голову, прошептал: «Это не в моей власти!» — и ушел, оставив позади себя безутешно рыдающих детей.

В его защиту нельзя даже привести того обстоятельства, что он жил в эпоху революционного безумия!

Отдел третий
Революционный вандализм



Глава I. Вандалы и иконоборцы

Человеческая натура соткана из противоречий: эта истина находит подтверждение в истории всех времен, и эти противоречия и являются именно одним из симптомов того коллективного невроза, который, главным образом, обнаруживается в моменты народных смут. Сообразно этому и в революционной трагедии бывали самые резкие переходы: утром народ стремился смотреть, как летят головы под ножом гильотины, а вечером искал других зрелищ и переполнял сады и театры. В самый разгар террора все увеселительные заведения делали полные сборы. То же противоречие замечается и во всем остальном. Искусство во всех его видах прославлялось и поощрялось более, чем когда-либо, а наряду с этим не менее немилосердно истреблялось все, что составляет лучшее украшение и драгоценнейшее достояние всякого цивилизованного общества. Не будучи в состоянии бороться с таким течением по причинам, не имеющим ничего общего с задачами чистого искусства, республика была вынуждена это терпеть и допускать. Еще раз подтверждалась истина, что добро и зло неразлучны, причем последнее берет обыкновенно верх над первым. Может быть, причиной этого была присущая вообще демагогическому режиму по самому его существу враждебность ко всему, что противоречит его упрощенным и односторонним взглядам? Во всяком случае не подлежит сомнению, что победоносный народ не отличается особой деликатностью своих приемов и, как дикий зверь, вырвавшийся на волю, бросается на все довольно безрассудно.

Как велика поэтому должна быть ответственность тех, кто сперва так долго держит его на помочах и потом внезапно бросает его на произвол природных инстинктов! Напрасно было бы установлять эту ответственность и искать виновных.

Тот, кто берется за такую задачу, упускает (а может быть, даже вовсе не признает) того фактора, существенность коего все более возрастает в наших глазах с тех пор, как мы производим настоящее исследование. Мы говорим именно о факторе патологическом. Не безразлично ли, например, на весь ли Конвент или лишь на одну из его групп падает ответственность за враждебное отношение республики к памятникам искусства, за указы, изгоняющие все, что чем-нибудь напоминало ненавистное прошлое? Конвент — да не покажется это положение парадоксом — мечтал, напротив, о возрождении искусств; грандиозные празднества, которые он задавал, доказывают, что он далеко не был чужд эстетического чувства. Он делал всякие усилия, чтобы из исключительной привилегии богачей сделать роскошь доступной для всего народа, чтобы те удовольствия, которые в былые времена были для него недосягаемы, стали отныне всеобщим достоянием. Но он упускал лишь при этом, что для этого надо прежде образовать и воспитать народ. Послужило ли бы, выражаясь научным языком, это воспитание достаточным профилактическим средством? Принесло ли бы оно больше уважения к дивным памятникам презираемого прошлого? Мы затрудняемся ответить на это утвердительно, и именно потому, что в периоды общественных переворотов нарождается совершенно особое, только и присущее этим периодам мировоззрение «Homo homini — lupus est»*. Никогда не оправдывается так это изречение Плавта[157], как именно в эпохи революций. Действительно, в подобные моменты развивается какая-то особенная жажда ненависти, какой-то особый голод гонения против всех и вся, начиная с людей и кончая неодушевленными предметами[158]. Все народы всегда стремились олицетворять свои политические или религиозные верования в символах. Пока существует вера, люди уважают эти символы, даже поклоняются им; но как только вера начинает ослабевать или исчезает окончательно, она как бы сама обращается против своих символов и при том с тем большей яростью, чем дольше им поклонялась. Идолопоклонство выворачивается, так сказать,

---

* Человек человеку волк (*лат.*). — *Прим. ред.*

наизнанку, это его специфическое свойство. Самые рьяные иконопочитатели под влиянием какого-нибудь импульса становились обыкновенно самыми безжалостными иконоборцами.

Горячечное состояние овладевает массами совершенно так же, как лихорадка начинает трясти отдельных людей: перемежающимися вспышками и пароксизмами. Это вступительный — продромальный период будущей серьезной болезни. Благоприятная почва, так сказать, питательная среда для предстоящей разводки болезнетворного микроба готовится исподволь, иногда очень заблаговременно. Весь вопрос лишь в том, взвешивает ли все последствия тот, кто обсеменяет подобную почву, кто предпринимает в этой готовой питательной среде культуру зловредной бактерии?

Чем считать декрет Конвента, коим было предписано разрушение по всей Франции последних остатков королевских памятников, гробниц и усыпальниц, как не ударом в набат, призывавшим грубую и безвольную толпу к взрыву кипевшей в нем и искавшей какого-нибудь выхода ненависти? Не являлся ли он явным кличем на грабеж, разбой и погром, пробуждавшим самые низменные побуждения черни?

Первым подстрекателем народного вандализма был С.-Дениский городской муниципалитет. В протоколе его заседания от 1 мая 1792 г. значится: «Одним из гласных заявлено, что в церкви бывшего аббатства (Св. Дениса) доныне имеются явные остатки феодального строя, представляющие якобы части королевских гробниц, а посему предложено подвергнуть таковые осмотру через следующих людей, на тот предмет, дабы убедиться, не принадлежат ли оные к памятникам искусства, для чего и войти в сношение с местным Окружным управлением».

1 августа того же года Конвент уже законодательным порядком разрешил это представление С.-Дениской думы в утвердительном смысле.

«Комитет, — заявляет в Конвенте Барер, — признал, что для достойного ознаменования дня 10 августа, в который пала королевская власть, надлежит в его годовщину стереть с лица земли пышные гробницы в Сен-Дени».

«Во времена монархического режима даже и посмертные жилища предназначались для прославления земных владык. Величие и гордость королей не смирялись и после их смерти. Скипетроносцы, принесшие столько зла родине и человечеству, продолжают кичиться своим улетучившимся величием даже в могилах.

Властная десница республики должна немилосердно стереть с лица земли их высокопарные эпитафии и снести мавзолеи, являющиеся хранителями останков печальной памяти монархов».

Было предписано разбить гробницы и, переплавив свинец и бронзу, представить металл в национальные оружейные мастерские на отливку орудий, потребных для защиты отечества.

Первой была разрушена гробница короля Дагобера, ближайшая к алтарю. За ней чудный мавзолей Генриха II, принадлежавший резцам Жермена Пилона и Филиберта Делорма, был раздроблен в мелкие куски, для вывоза коих потребовался десяток подвод. Мраморные статуи, колонны, цоколя и барельефы погибли под киркой и лопатой: народ наперерыв рвался нанести удар изображению тиранов. Пощажен был только памятник Тюрена, не принадлежавшего к царскому роду, что, однако, не спасло от разрушения гробницы Дюгесклена...

Когда толпа наколотила досыта рук, ног, голов и носов, она бросилась на сами гробницы, но, вместо ожидавшихся в них богатств, лишь в одной гробнице короля Пепина нашлось несколько золотой канители, которая при рассмотрении оказалась, однако, мишурной. Народное раздражение против мирно почивавших в своих могилах былых деспотов этим не удовлетворилось; было мало уничтожить их изображения, надо было осквернить и самые их останки. Справедливость требует упомянуть, что Конвент постановил лишь извлечь из гробниц королевские тела, предав их затем погребению. «Я требую, — заявил в Конвенте гражданин Лекинио, — чтобы эти иссохшие остатки деспотизма были преданы земле». Толпа исполнителей набросилась прежде всего на могилу Тюрена.

Она вскрыла гроб и нашла в нем засохшую мумию с сохранившимися чертами покойного маршала. Когда ее укладывали в дубовый ящик, один из ревностных поклонников полководца отделил у трупа один палец — на память. Это был не более и не менее как сам народный трибун и кумир Камил Демулен!

Около восьми месяцев останки Тюрена показывались стекавшейся в огромном числе публике за деньги. Сторож, не довольствуясь доходами, вырвал один за другим все зубы из челюсти покойника и пустил их в распродажу между коллекционерами; еще немного спустя тело Тюрена было перевезено уже в какой-то простой зоологический музей и помещено «между скелетами слона и носорога».

15 термидора IV г. (2 августа 1796 г.) в Совете пятисот[159] на это было обращено, наконец, внимание. Директория распорядилась перенести останки народного героя в музей памятников, и из редкости зоологической они стали, таким образом, редкостью исторической. Только Наполеон отменил, наконец, все эти неприличные распоряжения и повелел торжественно перенести Тюрена вместе с его сохранившимся С.-Дениским мавзолеем в церковь Инвалидного дома, где они и находятся поныне вместе с сердцем Вобана и прахом самого Великого императора.

Осквернители королевских святынь, ограничившиеся при первом погроме усыпальницами королей первой и частью второй династии, скоро исправили свой промах; нашлись люди, которые позаботились навести их и на дальнейшие подвиги. Говорят, что нападение на могильный склеп Бурбонов последовало по подстрекательству самого Робеспьера. Доступ в склеп через существующую лестницу был узок и затруднителен; пришлось пробить новую брешь в стене. Первым был открыт гроб Генриха IV. Его прислонили стоймя к одной из колонн, поддерживавших своды, и каждый мог иметь сюда доступ. Публика буквально давила друг друга, чтобы увидеть поближе и прикоснуться к останкам великого народного любимца, но и здесь толпа выказала себя, по обыкновению, грубой и жестокой.

Какая-то женщина ударила мертвое тело по лицу, ребенок утащил два королевских зуба и оторвал у трупа усы, а какой-то солдат отрезал длинный клок волос от его бороды на «счастье» себе и на «страх» врагам.

25 октября 1793 г. откапывание мертвых тел закончилось. Обломки могил, перенесенные к фасаду церкви, пошли на фундамент статуи Свободы. В этом был, по мнению современников, «символизм чистый и могучий»[160].

Победители 10 августа хотели целиком пожать плоды своей победы. Разрушая могилы в Сен-Дени, они валили мимоходом и повсюду королевские статуи[161]. 12 августа 1792 г. под их усилиями пала статуя Генриха IV. Остались только четыре бронзовых пленника, прикованных к углам монумента, кусок ноги коня да одна рука и сапог всадника. Надо признаться, что этих пленных, служащих подножием монарху-победителю, было вполне достаточно, чтобы задеть щепетильность защитников «прав человека». Впрочем, избегли разрушения не только фигуры, окружавшие памятник Генриха IV, но и статуи, окружавшие памятник Людовика XIV на площади Побед, и которые теперь украшают фасад Инвалидного дома[162]. На шею конной статуи Людовика XIV накинули веревку, и она свалилась при громких рукоплесканиях черни. Когда очередь дошла до коня, то несколько человек осмелились предложить оставить его на месте, без узды, «как эмблему свободы». Но подобное предложение отзывалось почему-то аристократизмом, и авторам его пришлось возможно скорее улизнуть, чтобы самим в свою очередь не испытать веревки и фонарного столба. Большая часть бронзы была отослана в Крезо на отливку пушек, послуживших вскоре затем для отражения иноземного нашествия. Статуя великого короля нашла себе, таким образом, по крайней мере, благородное применение.

Некоторые высказывали, что при подобном отношении к столь популярным и великим королям, как Генрих IV и Людовик XIV, тот, который в течение всей своей жизни не вызывал ничего, кроме возмущения, своей распущенностью и расточительностью, избежал такой же участи. Это положитель-

но неверно. Людовик XV тоже не был пощажен, но при обстоятельствах доныне еще мало известных истории.

Под влиянием своего лейб-медика Людовик XV учредил в Париже Медико-хирургическую академию, которой затем и не переставал покровительствовать во все время своего царствования, поддерживая ее щедрыми пожертвованиями. Неудивительно, что благодарные хирурги воздвигли ему целых две статуи: одну мраморную, в зале «искусств», на месте, где ранее долго стояла статуя Аполлона Бельведерского, а другую бронзовую, которую патриоты сразу же отослали в переливку на артиллерийские орудия. Вопрос об участи первого изображения, т. е. мраморной статуи, разбирался в заседании Академии, на котором было внесено три предложения: или доложить о деле министру внутренних дел, или потребовать распоряжений муниципалитета, или же, наконец, немедленно донести Конвенту.

После довольно бурного совещания остановились, наконец, на том, что Бюро академии обратится за указаниями к министру внутренних дел, и согласно сему директором оной было написано следующее письмо:

«Гражданин министр, Хирургическая академия поручила мне известить вас, что в ее помещении имеется мраморная пешая статуя Людовика XV и несколько картин и орнаментов, относящихся к феодальной эпохе. Академия не осмелилась принять по этому поводу окончательного решения, не снесясь предварительно с министром внутренних дел, от которого и будет зависеть принять подсказываемое ему его благоразумием решение». (Подписал) Сабатье, директор. По неизвестным причинам ответа на это от министра не последовало.

Между тем приближался день годового публичного акта, а никакого решения все еще принято не было. Тогда Академия вышла из затруднения довольно остроумно; в ее официальном протоколе от 21 марта 1790 г. содержится следующее постановление: Академия, не получив от министра внутренних дел ответа на представление, которое по ее поручению было сделано ее директором, и находя, что оставление мраморной статуи Людовика XV на виду у публики в предстоящий четверг

11 апреля, день публичного торжественного заседания Академии, — непристойно (sic), постановила обшить сию статую досками в ожидании дальнейших распоряжений министра. В таком положении дело и оставалось до июля 1793 г., когда ворвавшаяся в Академию толпа санкюлотов разрушила дощатый чехол, прикрывавший монумент, и разбила статую вдребезги. Этот упрощенный способ разрешения академических сомнений, о котором протрубили все газеты, не мог не произвести в Академии некоторого переполоха. Период колебаний ученой коллегии живо окончился, и в доказательство своего гражданского усердия на благо отечества, а главное, чтобы не быть, Боже сохрани, заподозренной в оппозиции, Академия поспешила назначить от себя трех комиссаров с неограниченным полномочием уничтожить все предметы, которые могли считаться монархическими эмблемами[163].

Бесполезно входить в дальнейшее описание разрушений и безобразий, в коих виновны вандалы революции. Но, во избежание общих и неопределенных жалоб, мы считаем нужным установить против них главные обвинительные пункты. Мы не опустим при этом и смягчающих вину обстоятельств, так как наш труд вовсе не посвящен укорам против революции и представляет скорее защитительное ей слово, чем обвинительный акт. Точность здесь тем более необходима, потому что не было, кажется, вопроса, который вызывал бы более ожесточенных споров, и к тому же при самом пристрастном освещении с обеих точек зрения. Нашим путеводителем будет при этом если и не очевидец тех событий, о коих он сообщает, то по крайней мере их современник, который не может быть заподозрен в каком-либо пристрастии или приверженности к монархическому режиму, а именно конституционный епископ Грегуар. Мы имеем перед собой его четыре доклада на тему о вандализме, из которых последний оставался доныне почти неизвестным.

Первый доклад епископа Грегуара помечен 14 фруктидором II г. «Республики, единой и неделимой» (т. е. 31 августа 1794 г.). Это весьма откровенное признание: «Национальная движимость, — по словам доклада, — пострадала от страш-

ных расхищений. Самые значительные из них совершены в области искусства. Не сочтите преувеличением, если я скажу, что одно перечисление всех похищенных, уничтоженных и испорченных вещей составило бы несколько томов. Не проходит дня, чтобы до нас не доходило печальное известие о каком-либо новом разрушении». Доклад[164] изобилует массой фактов, из которых мы выбираем лишь самые знаменательные и любопытные.

Начнем с книг. Невозможно сосчитать, сколько продано за бесценок самых замечательных как по редкости, так и по роскоши издания книг. Довольно сказать, что требник Капетинской часовни в Версале едва ли не ушел бы на ружейные патроны, если бы Национальная библиотека вовремя не завладела этой редкостью, материал, работа, виньетки и заставки которой представляют замечательный памятник искусства[165]. В объяснение такой «книгофобии» приводят иногда дурное состояние переплетов, по коим нельзя было судить о редкости издания. Но, как справедливо замечает епископ Грегуар, нередко даже какие-нибудь незначительные миниатюры, виньетки, ребячески исполненные чертежи и самые безобразные по виду рисунки служат для освещения исторических фактов, устанавливая их даты, восстанавливая фигуры несуществующих музыкальных инструментов, разных военных машин и орудий, одежд и пр., о которых по дошедшим описаниям можно судить лишь очень неполно и неясно. Для фанатиков все это соображения второстепенной важности, а когда подозрительная книга трактует о богословии или благочестии, тогда ее участь решена беспощадно и безапелляционно.

Замок Ссо, перешедший от герцогини Мэн к Бурбонам-Пантиеврам, обладал немалым количеством произведений подобного рода. Какой-то букинист, пронюхав, что 5 жерминаля IV г. движимость из замка Ссо будет перевозиться в здание арсенала[166], отправляется туда, входит в сделку с перевозчиком книг, и все они вместо арсенала попадают к нему. Он не замедлил переправить их в Англию, где выручил за них громадные суммы. Следует, впрочем, сказать, что в обмен он сдал извозчикам не одну стопу макулатуры, несомненно, столь

же пригодной на патроны, для изделия коих предназначались бурбонские редкости[167]. Пергаменты монастырских архивов[168], манускрипты, иллюминованные искусной рукой рисовальщиков-миниатюристов средних веков, папские буллы, требники и другие драгоценнейшие книжные редкости ушли попросту на картузы для пушечных снарядов[169]. В артиллерийский парк в Фере попало особенно много редких рукописей на пергаменте и на старинной веленевой бумаге. Из них немногое удалось спасти[170]. Но случалось еще и иное; мы возвращаемся к словам собственного доклада Грегуара: «Пока вандейские злодеи разрушали памятники в Партенее, Анжере, Семхоре и Шиноне, Ганрио задумал возобновить подвиги калифа Омара в Александрии[171]. Он предлагал не более и не менее как сжечь Национальную библиотеку, и такое предложение повторилось также и в Марсели»[172]. За неимением публичной библиотеки здесь ограничились уничтожением дворянских документов, хранившихся в общественных архивах[173]. И кто же предложил эту меру, следствием коей должно было быть уничтожение стольких важных исторических материалов? Это был ученый философ, автор «Картин прогресса человеческого ума», маркиз Карита де Кондорсе!

Было бы, впрочем, большим заблуждением предполагать, что все революционные вандалы были из черного, необразованного народа. Не знаменитый ли ученый, член упраздненной революцией Французской академии, потребовал уничтожения королевских гербов на переплетах Национальной библиотеки? И когда ему заметили, что подобная операция обойдется не менее 4 миллионов, то Лагарп, так как это был именно он, с легким сердцем отвечал: «Можно ли говорить о каких-то 4 миллионах, когда речь идет об истинно республиканском деле?»

Не пример ли это тоже воздействия страха, который овладевает в эти моменты самыми здравыми и самыми уравновешенными при других обстоятельствах умами; не тот же ли Лагарп комментировал трагедии Расина с фригийским колпаком на голове?

Тем, кто предполагает, что изложенное выше предложение Лагарпа осталось лишь платоническим, мы рекомендуем вник-

нуть в следующий документ, извлеченный из архивов и заслуживающий особого внимания, так как доныне он или просто был неизвестен, или, может быть, умышленно не замечался историками революции[174].

> «Принимая во внимание, что декрет об уничтожении феодальных следов во всей республике должен быть приведен в исполнение самым строгим образом, а между тем уничтожение сих ненавистных всякому доброму республиканцу знаков на книгах невозможно без повреждения таковых и что, с другой стороны, книги, являясь источниками света и человеческих знаний, памятниками науки, истории и искусств, не заслуживали бы подобной участи, Комиссия по охранению памятников считает своим долгом пригласить всех художников и в частности переплетчиков к изысканию самого верного способа для уничтожения: 1-е, гербов, оттиснутых либо на корешке, либо на самих переплетах без повреждения таковых[175]; и 2-е, находящихся в самих книгах штампов их прежних, на веки сверженных обладателей. Комиссия уверена, что таковой труд может быть предпринят с усердием только истинными республиканцами, заинтересованными одновременно как в уничтожении всех следов королевской власти, так и в сохранении образцовых произведений человеческого ума и творений великих людей...
>
> (Подписано): Сержан, депутат, председатель».

Фабриканты бумаги и типографщики были обязаны на всех их изделиях заменить монархические знаки эмблемами свободы.

С этих пор и появились «патриотические и революционные переплеты», на корешках коих красовались девизы в таком роде: «Жить свободным — или умереть», «Свобода», «Равенство» или «Единение, Сила и Свобода».

Эмблема свободы прилагалась не только к переплетам, но и к денежным ассигнациям и к гербовой бумаге.

Немало «аристократов» из опасения домашних обысков заменили гербы на переплетах своих книг патриотическими

изображениями или просто заклеивали их революционными эмблемами. Мы имеем такой образец, представляющий сочинение, озаглавленное: «Общественный театр 1768 года»; на его переплете наклеен овальный кусок красного сафьяна, украшенный в центре ликторской связкой, лежащей на двух скрещенных пиках. Снимая осторожно эту наклейку, искусный переплетчик Грюэль обнаружил под ним хорошо сохранившуюся позолоту, изображающую полный герб Анны Маргариты де Бово-Карон, герцогини Мирпоаской[176].

В музее Карнавалэ находится интересная коллекция переплетов и золотильных штампов революционной эпохи[177].

Вероятно, в ответ на приведенное выше воззвание Комиссии по монументам в делах последней находится и следующее небезынтересное прошение: «Граждане! Так как ныне поднят вопрос об отыскании средства для уничтожения следов феодализма, имеющихся в большом количестве в Национальной библиотеке, то гражданин Дюран, состоящий переплетчиком этой библиотеки уже 28 лет и знающий превосходно свое искусство, предлагает вам свои услуги. Он в свое время оттискивал на книжных переплетах гербы и сумеет ныне снять таковые обратно, не повреждая драгоценных произведений славного книгохранилища. Он имеет мастерскую в самой библиотеке и таковая операция может быть им произведена на месте, без всяких издержек по перевозке. Он готов выполнить подобное поручение, если таковое будет ему дано, и ревностно послужить республике в настоящем деле, которое передается в их роду от отца к сыну в течение уже 80 лет состоящих переплетчиками библиотеки. Граждане — хранители Национальной библиотеки могут засвидетельствовать, что гражданин Дюран обладает в этом деле всеми необходимыми способностями и познаниями и предлагаемый им ныне способ вполне безопасен для самых ценных книг. При сем проситель представляет образец своей работы, ходатайствуя о его подробном рассмотрении».

К сожалению, дальнейших сведений об участи, постигшей ревностное усердие гражданина Дюрана, не имеется.

Гербы на каретных дверцах, окруженные нередко великолепной живописью известных художников, пришлось по

большей части попросту выскоблить. Некоторые скрывали их, заклеивая серебряной бумагой или затягивая их материей.

Какой-то герцог, не веривший, вероятно, в жизненность республики, изобразил поверх своего герба туманное пятно со следующим девизом «Сие облако — преходяще». На дверках другой кареты вместо эмалированного герба работы Мартена появился вдруг череп на двух человеческих костях. Последовало распоряжение срубать через полицию с фронтонов всех дворцов и отелей гербы, если их владельцы замедляли почему-либо это делать сами. Офицерам и нижним чинам было воспрещено являться на службу и вообще повсюду в обмундировании или в снаряжении с эмблемами королевской власти[178].

Ненависть к несчастному Людовику XVI достигла такой степени, что распространилась даже на гербы его коронационных карет. В протоколах Комитета народного образования содержится следующее: «Комитет препровождает к Давиду извлечение из протокола Конвента, которым приказано «разнести на куски» (?) карету, известную под наименованием «коронационной».

«В заседании 3 прериаля Комитет, заслушав донесение Давида и Букье, избранных комиссарами для исследования живописи на гербах коронационных карет тирана Людовика XVI и других экипажей, служивших прежнему двору, постановил, что во исполнение декрета от (в протоколе — пробел) украшенные гербами дверки названных карет должны быть сожжены».

1793 г. был золотой порой для любителей книг и автографов, при непременном, однако, условии скрываться, притворяться санкюлотами и закидывать свои сети под покровом глубочайшей тайны. Так как страсть к автографам была «в сильном подозрении», то ее не приходилось выставлять напоказ, и попади подобная профессия в чей-нибудь паспорт, она привела бы его обладателя ко многим неприятностям.

Домашние обыски были в то время очень часты, и для несчастного библиофила, сколь бы он ни был сам по себе безобиден, было все же опасно держать у себя в библиотеке

книги в переплетах с королевскими гербами или автографы разных Людовиков. Во время обыска у Дюпланиля, переводчика «Домашней медицины» Бухана, один из комиссаров заметил на полке папки и связки бумаг. Он стряхнул с них пыль и выронил несколько писем Людовика XIV, Тюреня и некоторых знаменитых писателей. Он сурово обратился к трепещущему Дюпланилю: «Ты утверждаешь, что ты не аристократ, а между тем ведешь переписку с тираном и с подозрительными людьми?» Дюпланиль выбивается из сил, чтобы доказать, что авторы этих писем все давно перемерли, но взбешенный комиссар не обращает на это никакого внимания. «Все равно, — кричит он, — если ты осмелился получать от них письма и еще сохранять их, тебе не миновать эшафота!..»[179]

Этот эпизод среди сотен других подтверждает уже сказанное выше о необузданном фанатическом невежестве тех, кого вместо того, чтобы сдерживать, — напротив, подстрекали на подвиги вандализма. Но тогда «фанатиками» называли наоборот тех, кто возвышал голос против этих злоупотреблений.

«У всех и всюду, — пишет Грегуар в своих мемуарах[180], — отбирались книги, картины и скульптурные произведения, словом, все, что носило хоть какой-нибудь отпечаток религии, феодализма или королевского достоинства. Потери такого рода положительно неисчислимы. Когда я в первый раз предложил остановить эти опустошения, я удостоился лишь прозвища «фанатика», желающего под предлогом «любви к искусству» сохранить трофеи и суеверия. Однако эти излишества вскоре приняли такие размеры, что, наконец, и в Комитете признали возможным дать мне высказаться, и мне было разрешено представить Конвенту мой доклад против вандализма. Я изобрел это слово, чтобы остановить злодеяние, которое оно означает; я «словом убил факт».

Самый доклад Грегуара, к сожалению, служит доказательством, насколько увлекался его автор, рассчитывая «убить факт». Ему приходится самому сознаваться, что, невзирая на «множество законов и предписаний, изданных тремя нацио-

нальными собраниями с целью охранения литературных сокровищ», книги и картины продолжали расхищаться, продаваться или же, что было не лучше, валялись брошенными на добычу червей, пыли, дождя и сырости!

Перейдем теперь к разрушениям другого рода, еще более ужасным, чем предыдущие, так как большинство из них было непоправимо. На башенных часах Парижского парламента разбили статую Благоразумия и Справедливости резца Германа Пилона, а гербы, бывшие на них, почему-то оставили[181]. В церкви Св. Павла разрушили монумент, воздвигнутый знаменитому архитектору Мансару; в церкви Св. Николая Шардонетского разбили великолепную плащаницу работы Путье по рисункам Лебрена; в церкви Св. Сульпиция изуродовали скульптуры Бушардона; в Сорбонне изрезали прелестную копию Шампаня, изображавшую кардинала Ришелье. В Марли, в Дижоне, в Нанси... но к чему продолжать этот бесконечный список?[182] Остановимся лучше на одном только факте, рисующем всю бессмысленность вандалов во всем ее блеске[183]. «В Анэ, посреди пруда, стоял великолепный бронзовый фонтан, изображавший оленя. Его вздумали уничтожить по той причине, что охота есть институт времен феодализма. Удалось, однако, сохранить это изваяние, доказав, что бронзовые олени не подходят под закон об уничтожении следов королевской власти»[184]. Известен анекдот о стенных часах тестя Камиля Демулена, которые были конфискованы лишь потому, что стрелки часов оканчивались трилистником, а трилистник похож на лилию!

Все, что напоминало королевское достоинство, должно было быть стерто отовсюду, даже со старинных часов, на которых часовщики старого режима, носившие титул придворных часовых дел мастеров, ставили свои клейма с обозначением этого достоинства[185].

В Муссо опечатали даже теплицы и оранжереи и если бы не удалось добиться вскоре снятия печатей, то все растения погибли бы.

В департаменте Эндры решили продать с аукциона сто двадцать четыре апельсинных дерева, из которых многие

имели до восемнадцати футов вышины, по цене от 6 до 18 ливров за штуку, вместе с кадками, под единственным предлогом, что республиканцам нужны не апельсины, а яблоки! К счастью, эту продажу удалось тоже своевременно отменить. По словам Грегуара, перечисляющего эти геркулесовы столпы глупости, «нужно было обладать большой дозой снисходительности, чтобы объяснить их одним невежеством; но если невежество и не всегда преступление, то его панегиристы должны были бы по крайней мере сознавать, что оно всегда великое зло, тем более, что им почти всегда прикрывается недоброжелательство».

Чем другим, как не злобным невежеством, можно объяснить уничтожение картин Корреджио, «изображавших религиозные темы», картин Лесюёра, «на которых были изображены монахи картезианцы» и даже статуй античных богов, причисленных тоже к «памятникам времен феодализма»?!

Пароль был отдан ясно и точно: ничто, напоминающее феодализм[186], не должно существовать; от него не должно остаться в настоящем ни малейшего следа. Все, что вызывало воспоминания о прошлом, даже на табакерках, бонбоньерках, медалях, пуговицах и т. д., — все было обречено на уничтожение.

В Шлестадте ревностные патриоты порицают древний обычай употребления муниципальных кубков и серьезно упрекают городскую администрацию за то, что она их сохранила: «Они продают священные сосуды, но тщательно сохраняют и гордо пользуются на своих пирах и городских приемах пятнадцатью чисто светскими серебряными кубками». Если так начали говорить уже с 1789 г., то можно смело быть уверенным, что об этих кубках после 1792 г. не было и помина. Там же, в Эльзасе, у местных помещиков в Рибовилье была дюжина серебряных приборов с черенками, украшенными статуэтками двенадцати апостолов. На эти несчастные приборы обрушиваются революционные страсти: фигурки отсекаются от ложек, ножей и вилок по их «политической неблагонадежности»[187].

В городе Морван двое командированных революционных агентов замечают у колодца решетку, украшенную лилиями;

они немедленно заявляют муниципалитету о своем удивлении и негодовании, видя «знаки, могущие вызвать воспоминание о старом режиме», и требуют, чтобы решетка была немедленно сломана и предана сожжению под «деревом свободы»[188].

В Ниевре проезд члена Конвента Фуше, будущего наполеоновского министра полиции, был ознаменован комичным инцидентом. В качестве комиссара Конвента Фуше отдал распоряжение, чтобы каждая община для заседания своего муниципалитета избрала изолированное, обсаженное деревьями место, среди которого должна была возвышаться статуя «Сна» (?).

24 октября тот же Фуше предписал разрушить все церковные колокольни, все замковые башни и даже голубятни, так как они оскорбляли принцип равенства, возвышаясь над другими зданиями. Известно, что позже его смиренное стремление к равенству нисколько не было смущено полученным им от Наполеона титулом герцога Отрантского!

Бронза с колоколов стала рудником для изготовления медной разменной монеты[189]. Что же касается колоколен, то они продавались с аукциона, на снос, а если возникали сомнения относительно того, представляло ли то или другое здание колокольню, то вопрос решался просто: разрушали всякую башню, на которой висели колокола и на крыше которой имелась стрелка.

Чтобы добыть железа и стали для пик, были уничтожены в несколько дней все шедевры слесарных изделий XVI и XVII вв. и все монументальные ограды[190] вокруг храмов. Гробницы и свинцовые кровли аббатств были перелиты в пули. Большая часть драгоценностей, чудеса ювелирного искусства, изделия резчиков эпохи Возрождения — все пошло в горнило; священные сосуды переплавлялись[191], а ценные кружева просто швырялись в огонь[192].

С августа 1789 г. по всей Франции вспыхнули костры: среди пляски и диких воплей опьяненной черни сжигались тысячи предметов неоцененной стоимости: мраморные столы, камины, зеркала, витрины, цветные стекла, статуи, резные церковные кресла и пр.[193]

«Осветители» замков не щадили даже вековые деревья, которые срубались и сжигались тут же[194].

Иконоборцы набрасывались не только на все изображения «бывших» ангелов, «бывших» Христов, «бывших» святых, но также и на балдахины, хоругви, подсвечники, светильники, чаши, сосуды, блюда и все украшения обихода, так называемого «бывшего» католического культа. Местные рабочие привлекались насильно к «делу», их заставляли бросать свою работу, чтобы идти на разгромы церковных и господских владений[195].

Картины, украшавшие церкви, должны были быть также «удалены с глаз республиканцев, которых возмущал вид апостолов лжи, «сих смехотворных» фигур, напоминающих о веках рабства и невежества». Однако «картины, признанные художниками за истинные произведения искусства — «шедевры», должны были доставляться в местные департаментские национальные библиотеки или отправляться в Париж, во Французский музей»; что касается остальных, то они подлежали или сожжению, или замазыванию густым слоем краски так, чтобы все следы жреческого лицемерия были уничтожены на них окончательно»[196].

Вероятно, применительно к последнему указанию довольно неожиданно икона Николая-чудотворца, покровителя девиц, «жаждущих брака», в гор. Св. Николая Шенского, близ Байи, превратилась в изображение бога свободы. Эта веселенькая метаморфоза совершилась очень просто: оказалось достаточным заменить на нем митру — фригийским колпаком, а посох — ликторской секирой.

В Жюай-Миндайе избранный мэром общины бывший монах надумал для спасения иконы Богоматери приписать ей водяными красками красный колпак и таким образом превратить ее в весьма презентабельную богиню разума, чем и спас образ от рук иконоборцев. По миновании террора революционный головной убор исчез с помощью мокрой губки, и на свет снова появились белокурые кудри Пресвятой Девы.

В Баллеройском замке на одном портрете, изображающем Людовика XIV в детстве, королевский скипетр уступил место

республиканскому копью, а маршальский жезл великого Конде был заменен попросту мужицкой дубиной.

Столица не отставала от провинции: в Париже, как и в самом глухом местечке, «мания преследования» так же обратилась на неодушевленные предметы.

Гобеленовская ковровая мануфактура давно уже возбуждала громы Марата, который писал в своем «Друге народа», что «все такие фабрики годны только для обогащения мошенников и интриганов».

Год спустя специальная комиссия, в составе которой находился артист Прюдон, занялась проверкой магазинов мануфактуры, очищая их от антиреспубликанских и монархических моделей. Одновременно Конвент запретил изображение на коврах человеческих лиц, находя «возмутительным, чтобы человеческое изображение попиралось ногами при правительстве, стоящем на страже человеческого достоинства»[197].

Мы, может быть, слишком задержались на излишествах революционного вандализма. Быть может, излишне подчеркнули варварски бессмысленное ожесточение иконоборцев, которые, разрушая немых и безобидных свидетелей минувшего, мечтали одним взмахом топора, кирки или лопаты вычеркнуть из истории целые века? Но ум и чувство слишком возмущаются таким невежественным надругательством злобной и завистливой черни надо всем, что веками труда, усердия и таланта настойчиво созидал человеческий гений.

История, уделяя так много места людям, увлеченным революционной бурей, как нам кажется, доныне слишком недостаточно обращает внимания на громаду обломков искусства и науки, которыми этот вихрь усеял бывшую под ней почву. А между тем мы как-то все привыкли к мысли, что исчезают с лица земли только люди, когда их миссия здесь закончена, а памятники искусств, кажется, должны оставаться и для нас, и для будущих поколений вечными свидетелями идеальных стремлений человечества к прекрасному и к совершенному…

Трагический конец героев общественных движений не представляется нам поэтому чем-либо непредвиденным или

неожиданным, но слава прошлого в его немых памятниках нам всегда кажется имеющей неоспоримое право на уважение и на пощаду от рук человеческих.

В своем стремлении сбросить всякое иго, порвать всякую связь с прошлым к чему было революции накидываться на мертвые камни? Эти руины, которые она нагромоздила за собой, останутся для нее вечным укором, от которого ей будет, может быть, труднее освободиться, чем от всего прочего[198].

Нельзя не согласиться, что истребление произведений литературы и искусства оставило по себе даже более глубокое впечатление, чем все потоки крови, пролитые в гражданской войне. Это чувство было живее и болезненнее не только потому, что камень, глина и полотно были, так сказать, безоружны и неповинны в партийных раздорах, и не потому даже, что было прямо безбожно уничтожать в одну минуту то, что стоило стольких веков труда и усилий.

Основа его лежит глубже и заключается в сознании, что все, что носит на себе отпечаток духовной жизни, не может и не должно погибать без того, чтобы человечество не чувствовало себя глубоко задетым и оскорбленным в какой-либо области своей интеллигентно-духовной жизни: религиозно-правовой, ученой или художественной.

Эти издевательства над человеческой культурой непростительны и не могут быть ничем оправданы, но находят, однако, себе некоторое объяснение в обстоятельствах, при которых они совершались. Умеренными и беспристрастными людьми всех партий давно признано, что исключительным виновником этих событий нельзя назвать никого. Не только какое-либо отдельное лицо, но даже и какую-нибудь политическую фракцию. Виновны в них все вместе и никто в отдельности.

Душная, тяжелая атмосфера вызывает бурю, шторм, целый катаклизм, который проносится по поверхности земли и безжалостно уносит и уничтожает все на своем пути. Революция создала подобное же явление: страшное, возбуждающее, фанатизирующее человека разрушение ради разрушения; азартную игру, скачку, которой нельзя было остановить, раз

только она[199] началась. Иные возлагали ответственность за эти опустошения то на Питта[200], то на Робеспьера, то на патриотов, то на иноземцев; на самом же деле эта ответственность вернее всего падает на всех и каждого по равной части.

Павший 9 термидора диктатор не более самого Конвента виновен в этом заговоре во славу мракобесия. Герой пышных празднеств, организатором и божком которых он являлся, Робеспьер, очевидно, не мог быть явным врагом искусств и роскоши и открытым сторонником осквернения и разграбления церквей. Точно так же и Народное собрание, совершившее столько великих дел[201], осуществившее столько полезных изобретений, создавшее столько прочных учреждений, в данном случае могло быть само только жертвой бурных народных страстей, которых оно не было в силах сдержать и обуздать[202].

«Граждане, — восклицал в Конвенте Ляканаль 6 июня 1798 г., — художественные памятники, украшающие большинство наших национальных сооружений, ежедневно подвергаются осквернению со стороны аристократии; неоценимые художественные произведения разбиваются и обезображиваются; искусство несет непоправимые потери. Пора Конвенту остановить эти злобные излишества. Строгие меры уже приняты для сохранения драгоценных произведений скульптуры, украшающих Тюльери, ныне Комитет народного просвещения предлагает вам расширить этот декрет и распространить его на все общественные имущества, и тем защитить искусство от новых потерь, которые ему угрожают». Вследствие такого предложения Комитетом был издан декрет, коим было постановлено за уничтожение или повреждение художественных памятников, составляющих народную собственность, наказание десятью годами каторжных работ. Четыре месяца спустя (в заседании 26 октября 1793 г.) Ромм высказал в Конвенте следующее:

«Граждане, вы издали несколько указов, касающихся уничтожения повсюду всего, что напоминает о королевском феодальном строе. Эти распоряжения повсюду исполнялись и исполняются, но злоумышленные люди и враги порядка

и свободы начали при этом явно злоупотреблять. Под предлогом уничтожения королевских лилий они, например, похищают драгоценные монеты, великолепные картины и т. д.»[203].

«Все произведения науки и искусства, по их мнению, носят без исключения какие-нибудь следы былого деспотизма. Ужас, который таким способом распространяется среди владельцев и торговцев подобными редкостями, играет прямо в руку врагам республики. Английские аристократы — эти гнусные притеснители своего народа, пользуются случаем, чтобы уничтожить или забрать у нас все наши народные памятники, свидетельствующие о превосходстве нашего искусства и нашего гения над британским, они стремятся этим путем погрузить нас опять в мрак варварства и невежества и победить, уничтожить нас еще раз на этой почве». Конвент поспешно издал указ, строго воспрещавший под предлогом преследования феодализма и монархизма похищать, разрушать, обезображивать или видоизменять печатные произведения или рукописи, гравюры, рисунки, картины, барельефы, статуи, монеты, вазы, географические карты, планы, модели, инструменты и всякие другие предметы, относящиеся к искусству, истории или просвещению и находящиеся в библиотеках, коллекциях, кабинетах, публичных или частных музеях, в мастерских художников и ремесленников и у книгопродавцев или купцов[204]. Временная художественная комиссия, в которой заседали такие люди, как Томас, Линде, Вилар, Купе и наш собрат Вик д'Азир, восставала с не меньшей энергией против граждан, «чуждых искусству, не понимающих ни ценности, ни происхождения его памятников, которые дерзают их уничтожать и разрушать под тем якобы предлогом, что таковые служат остатками суеверия, деспотизма и феодализма». Сознавая, что его аргументы не могут быть довольно убедительны для тех, к кому они обращены, докладчик пустился даже на лесть: «Когда вооруженный народ, мстя за свои обиды и защищая свои естественные права, восстал, порвал свои цепи и раздавил своих притеснителей, он в своем справедливом гневе мог все уничтожить и разнести. Но теперь, когда он уже доверил заботу о своем благосостоянии и своей дальнейшей мести

законодателям и судьям, облеченным его полным доверием, разве ему не достаточно ныне лишь контролировать своих просвещенных ставленников и разве не следует ему по крайней мере их выслушать раньше, чем принимать какое-либо свое окончательное решение? Ведь все эти дома, эти дворцы, на которые он все еще смотрит с возмущением, не принадлежат уже более его врагам, а принадлежат ему самому». «Французский народ, — взывает далее доклад, — ты защитник всего прекрасного и полезного, объяви себя врагом всех противников наук; стань могучим защитником искусства и охранителем его произведений, чтобы иметь когда-нибудь право сказать, как Димитрий Полиоркет: «Я жестоко боролся с тиранами, но искусство, наука и словесность никогда не взывали напрасно ко мне о защите»[205].

Почему же не вняли такому призыву?[206]

Почему благонамеренные граждане не следили сами за исполнением этих разумных мер? Почему декреты, строго карающие виновников злоупотреблений и беспорядков, оставались мертвой буквой? Ответ на это один: потому что бурное, действующее меньшинство всегда одерживает верх над большинством умеренным и боязливым, и если некоторые, рискуя даже жизнью, сохраняют в революционные эпохи любовь к прекрасному, они все же должны уступать более сильным, чем они, коноводам народных масс.

Все великие народные волнения находили и находят в самих себе источник существования и тщетно было бы ставить им какие-либо искусственные преграды. Мы снова повторяем, что такое зло можно только предупреждать, а не бороться с ним, когда уже бывает слишком поздно.

Возможно ли бороться с бурным, вырвавшимся из берегов потоком, с взрывающейся паровой машиной, со вспыхнувшим с разных концов пожаром! Вандализм похож на эти стихийные явления, перед которыми ум человеческий бессилен. Вандализм определяют профанацией культа прошлого во имя торжества частного или общественного благосостояния[207]. Едва ли такое определение подходит к той безумной страсти к разрушению, вспыхивающей во времена революций. Оно может относить-

ся разве к вандализму, так сказать, мирному, который существовал и существует во все времена[208], обладая, пожалуй, не меньшей разрушительной силой. Если припомнить все подвиги этого мирного вандализма, если начать перечислять все бессмысленно произведенные им разрушения с первых лет истории, то мы можем убедиться, что и мирные и революционные вандалы стоят друг друга и не остаются одни перед другими в долгу.

Надо отдать справедливость редкой умеренности и прямоте того автора, который писал[209]: «Несомненно, что Средние века относились равнодушнее к памятникам прошлого, чем эпоха Возрождения, а последняя, в свою очередь, беззаботнее расточала их, чем века новые. Во все эти времена[210] одинаково, и даже доныне без малейших угрызений совести и без всякого сожаления старинные чудеса архитектуры заменяются новыми постройками самого сомнительного стиля, старинные священные ларцы, вековые золотые и серебряные изделия и драгоценности сменяются модными и современными; чудные памятники старинного ювелирного искусства переплавлялись и продаются на слом и на вес ради удовлетворения самых некультурных, пошлых капризов и самых ненужных потребностей.

В разгар волнений, когда толпа охвачена «бредом безумия», такие варварские поступки еще, пожалуй, понятны, но им, конечно, нет никакого извинения и снисхождения, когда они совершаются хладнокровно людьми, самодовольно считающими себя просвещенными, но на деле каждый день доказывающими все свое невежество и всю свою пошлую посредственность[211].

Глава II. Переименование улиц и селений

Когда феодальный строй был разрушен в его эмблемах и изображениях, тогда понадобилось изгнать его и из географических названий.

Для объяснения этой непостижимой страсти к всеобщему переименованию, положительно свирепствовавшей в эпоху революции, предлагалось немало разных оснований. Но нужно ли далеко искать причины, руководившие людьми, охваченными манией разрушения? В таком настойчивом стремлении уничтожить все прошлое одним росчерком пера была, конечно, известная доля ребячества. Его авторам, вероятно, казалось, что с устранением всего, напоминавшего прошлое, до наименования мест и лиц включительно, они скорее всего заставят исчезнуть последние признаки «предрассудков и деспотизма».

Из народившихся в эти лихорадочные минуты имен лишь немногие пережили надолго момент своего случайного появления на свет. Тем труднее поэтому восстановить ныне эти следы непродолжительного, но всеобщего затмения, от которого народ не замедлил очень скоро прийти в себя.

В июне 1790 г. декретом Учредительного собрания взамен 60 округов, на которые был по распоряжению Неккера разделен Париж при созвании Генеральных штатов, в столице было учреждено 48 секций, т. е. отделений. В это же время произведена была и первая попытка нововведения в наименованиях. На первых порах она отличалась большой умеренностью. В самый день погребения Мирабо маркиз де Вильетт «позволил себе» предложить заменить название «театинцев» именем Вольтера и оправдывался тем, что «Вольтер у нас будет вечно, а театинцев не будет больше никогда». Он писал якобинцам: «Я полагаю, что такое незначительное нововведение могло бы состояться простым декретом Национального собрания, которое ныне озабочено устройством народ-

ных празднеств в честь Мирабо, Вольтера и Ж.-Ж. Руссо». В этом же письме демократический маркиз приглашал «добрых патриотов Известковой улицы» поместить на углах своих домов имя Жан-Жака Руссо, так как «для чувствительных сердец и пылких душ интереснее вспоминать, проходя по этой улице, что здесь когда-то жил в третьем этаже Руссо, чем знать, что в былые времена здесь обжигалась известь».

Это переименование было одобрено, а через несколько дней Генеральный совет коммуны постановил, что улица Шоссе д'Антен, где скончался Мирабо, должна впредь носить имя великого оратора.

В слишком поспешном возвеличении есть тоже своя опасность: вчерашние кумиры часто оказываются назавтра низверженными и от Капитолия всегда близко до Тарпейской скалы. Когда вскрытие «железного шкафа» выяснило, что у патриота Мирабо существовали более чем подозрительные сношения с двором, то толпа повесила его бюст на Гревской площади, а граждане секции «Мирабо» потребовали ее переименования в секцию «Монблана»[212].

Дальнейшие переименования не замедлили, отличаясь гораздо чаще своей поспешностью, чем основательностью. Имена святых, королей и королев отжили свой век вместе с теми, кого они напоминали. Новое положение требовало и соответственных наименований. Секция Людовика XIV превращается в секцию Майль; Сент-Антуанское предместье становится предместьем Славы[213].

Согласно петиции гражданина Грувелля, «ненавистное имя д'Артуа», данное одной из улиц столицы, заменено именем патриота Черутти. «Святые натворили столько же зла, сколько и монархи, — продолжает далее тот же Грувелль, — заменим же имена этих обманщиков и лицемеров именами философов и друзей человечества». Сообразно с этим Генеральный городской совет постановил, что «улица Св. Анны, где родился философ Гельвеций, которому принадлежит первая идея революции, будет отныне называться «улицей Гельвеция».

Совет с восторгом принял также предложение своего прокурора Манюэля о переименовании улицы Сорбонны, напоминающей своим именем «коварное и тщеславное, враждебное философии и человечеству учреждение», в улицу Катина[214].

Парижские секции начинают чуть не каждый день обращаться к Генеральному совету с просьбами о переименовании их улиц[215].

Секция «Майль» желает именоваться секцией «Вильгельма Теля». Секция «Бон-Нувель» предлагает полное изменение всех существующих наименований. Улица «Сен-Клод» должна бы стать улицей «Астрюка», получившего известность благодаря нескольким превосходным трудам по врачебному искусству. Улице «Дочерей Божьих» более подобало бы название улицы «Добродетели». Соображения в пользу этого нового наименования не лишены основательности: «В течение нескольких веков улица Дочерей Божьих, — раньше называвшаяся улицей Дочерей дьявольских, — была притоном разврата. Но с недавнего времени похвальными усилиями полиции нанесен окончательный удар вредоносной тле, занимавшейся здесь своим постыдным ночным промыслом»[216].

«Двор чудес», служивший в течение веков притоном профессиональных воров и нищих, выходивших отсюда на промысел в изуродованном виде для снискания средств пропитания за счет легковерия прохожих, а вечером возвращавшихся в свое логовище с песнями и пляской, надлежало вместо его прежнего позорного названия переименовать в площадь «Кузниц благой вести». «Эти кузницы, — писали санкюлоты, — произведут большие чудеса, ибо выкуют железо для истребления коронованных тиранов». Так и чувствуется, что автором этого доклада был какой-нибудь доморощенный поэт.

Гражданин Шамуло, автор многих переименований, мог, по крайней мере, поставить себе в заслугу свои благие намерения. Может быть, он несколько и заблуждался относительно важности своего проекта, но нельзя не признать, что им руководили благороднейшие «гражданские» цели. Приглашенный изложить свои соображения в заседание самого Кон-

вента, он говорил следующее: «Существует неоспоримое положение, известное всем законодателям: где нет добрых нравов, там нет и республики».

Прививая народу добродетель, мы сообщим его душе стремление к чистой нравственности, а впоследствии сего и благую привычку руководиться таковой. Для достижения этой цели я предлагаю прочесть народу как бы безмолвный курс морали, наделив улицы и площади всех городов и селений республики именами всех добродетелей».

Этот, не лишенный оригинальности, проект он развивает далее следующим образом: «Все без исключения населенные пункты Франции должны быть разделены на кварталы. Площади будут центрами таких кварталов и будут называться именами главнейших добродетелей. Улицы, принадлежащие к кварталу данной площади, получат названия добродетелей, имеющих прямое отношение к главной. Когда же названий добродетелей не хватит, то можно будет воспользоваться именами великих людей, помещая их в те или иные кварталы, сообразно главным их качествам. В результате, по мнению оратора: «Добродетель во всех ее видах не будет сходить с уст народа, и сердце его переполнится нравственностью!» Излишне присовокуплять, что при тогдашнем настроении умов гражданин Шамуло был награжден горячими рукоплесканиями, и Конвент постановил напечатать его речь за казенный счет.

Конвент на этом не остановился. Получив рапорты разных секций, он предписывает Комитету народного просвещения разработать проект всеобщего переименования площадей и улиц во всей Франции. Конституционный епископ Грегуар был назначен общим докладчиком этого дела. «Когда правительство перестраивается заново, — говорилось в этом докладе, — ни одно из злоупотреблений не должно избегнуть косы реформатора; необходимо ореспубликанить все... Патриотизм повелевает нам произвести перемену в наименованиях... Почему же законодателю не воспользоваться этим случаем, чтобы установить стройную и систематическую республиканскую номенклатуру, каковой не было еще примера в истории ни одного народа...». По-видимому, особого труда

подыскать в этом отношении нечто лучшее против настоящего не представлялось. «В бессмертных деяниях нашей революции, — продолжает Грегуар[217], — в ее успехах мы найдем достаточно сюжетов, чтобы украсить ими все площади, и эти новые наименования, наряду с названиями прилегающих улиц, составят краткий курс истории французской революции».

«Почему бы к площади Пик не примкнуть улицам Патриотизма, Храбрости, 10 августа и др.? Не естественно ли было бы с площади Революции вступать на улицу Конституции, которая приводила бы к улице Счастья?»

«Я бы жаждал, — говорит автор проекта, — чтобы все, что природа, добродетель и свобода имеют наиболее великого и возвышенного, послужило для наименования улиц, которые приводили бы к площади Верховновластия народа или к площади Санкюлотов!»

Комиссия, выразителем мнений которой являлся Грегуар, была сперва озабочена урегулированием повсеместного стремления к переименованиям. Но вскоре она утонула в массе ходатайств этого рода: шесть тысяч населенных мест требовали перемены их названий, причем большая часть предлагаемых новых наименований являлись продуктом самой необузданной фантазии.

Многие из этих перемен оказались, конечно, лишь мимолетными. Большинству республиканских наименований суждено было исчезнуть уже во время термидорской реакции, известное число их отменил, со своей стороны, Бонапарт после 18 брюмера, а те немногие, которые избегли консульского гонения, исчезли окончательно в 1814 г. Королевским указом от 8 июля этого года были вновь обязательно восстановлены все топографические названия, существовавшие до 1790 г.[218]

Для характеристики этого любопытного проявления «республиканского невроза» довольно привести несколько примеров.

После того как святые были изъяты из календаря, казалось, было вполне последовательным и логичным упразднение их и в качестве уличных патронов. Естественно было заменить

их наименованиями, более подходившими к современному режиму. Город Сен-Дени именуется Франсиада; Сен-Жангу, в Бургоньи, становится Жувансом; из Сен-Клу (Св. Клавдий) делается просто Клу (гвоздь).

В департаменте Ламанш город Сен-Ло превращается в Скалу Свободы; Сен-Жермен ле Виконт — в Жермен на Сене; город Святой-Матери-Церкви делается Матерью Свободной; Сен-Пьенс, по простому созвучию, превращается в Сапиенцу. Во многих департаментах кстати и некстати начинают злоупотреблять всеми тремя членами республиканского девиза. В Коррезе появилось по крайней мере пять или шесть селений, называвшихся Братствами.

По всей Франции из конца в конец вырастают Свободные долы, Вольные долины, «берега» и «горы».

Иные селения принимают и совершенно новые, иногда очень несуразные имена. Сен-Жан де Бурнэ превращается в Парусину; Сент-Элоа, близ Невера, в Лоа (закон); Сен-Леонар (предместье Анжера) переделывается ни с того ни с сего в Цукаты (фрукты в сахаре); Сен-До (Saint-Dau) по созвучию преобразился в Опоясанный водой (Ceint d'Eau).

В Париже, отбросив слово «сен», значащее «святой», стали называть улицы просто: улица Антуан, Онорэ, Рох, Марсо, Жермен и т. д. Город Сен-Мало в течение одного года два раза менял название. Сначала он назвал себя Победой монтаньяров — это имя было предложено ему комиссаром Комитета общественного спасения Жюльеном, который собрал всех жителей и заставил их поклясться в том, что они отвечают республике за порт и за город. Для большего торжества и подъема духа он отправился к главным городским воротам и там приказал при себе изобразить на них новое городское имя. Но немного позже город Гранвилль, отразивший неприятеля, принял тоже имя Победа. Тогда, во избежание недоразумений, Сен-Мало стал называться Порт-Мало.

Сосед Сен-Мало, Сен-Серван, не желая отставать, тотчас заменил свое имя Портом-Солидор[219].

Упразднение дворянства (19 июня 1790 г.) должно было не только повлечь за собой отмену всех титулов: «герцога»[220],

«графа», «виконта» и т. д., но и названий, напоминающих время феодализма, как-то например: «замок» и т. п.; сообразно этому изменялись и все подобные наименования городов и селений.

22 сентября 1792 г. были отменены, считавшиеся еще до того конституционными, титулы «короля», «королевы» и «дофина», и в соответствии с этим снова преобразовались названия городов, улиц и площадей, в которые входили эти титулы.

25 октября Гарди, депутат департамента Морбигал, возбудил перед Конвентом вопрос о переименовании города Порт-Луи в Порт-Равенства; Конвент уважил его просьбу и поручил Законодательному комитету изменить названия и всех других городов, портов и публичных мест, поддерживающих воспоминание о падшем режиме[221].

Слово «Гора», вошедшее во время революции в наименование некоторых селений, служило далеко не всегда характеристикой топографической неровности[222], а бывало чаще знаком уважения со стороны жителей к господствовавшей в Конвенте крайней левой партии[223].

Город Монморанси, где Руссо написал свой знаменитый трактат о воспитании («Эмиль»), декретом от 8 брюмера второго года переименован в Эмиля. В 1813 г. ему возвращено его первоначальное наименование, которое, после непродолжительной замены его вновь, во время реставрации, именем Энгиэнь, окончательно было утверждено за ним в 1832 г.

Многие из селений принимали наименования в память героев древности, знаменитых писателей и славных современников.

Так, село Мэдон просило разрешения назваться Рабелэ; замок Вильгельма в Эндре стал именоваться замком Вильгельма Тесля.

Имена Вольтера, Руссо, Марата, Лепелтье, Сен-Жюста, Мунье, Бара и др. стали названиями многих населенных пунктов.

Не менее 25–30 селений назвались Маратом, или Маратами; у иных имя Марата соединялось с другими и получались

составные наименования, как например, Мон-Марат, Кастель-Марат, Марат-Сюр-Оаз и т. п.

Жан-Жак Руссо пользовался особенным почетом в Сенском департаменте, в Нижних Пиренеях и в Оазе, где не забывались также и имена Бара и Лепелтье.

10 брюмера II г. граждане селения Рис предстали в огромном числе перед Конвентом со знаменами, крестами, кадилами, чашами и иными принадлежностями католического культа. Они заявили от имени всех жителей этого селения, подписи которых были приложены в конце петиции, что они, после серьезного размышления, пришли к убеждению в бесполезности церковного прихода в их округе и что им это учреждение кажется даже опасным для успехов просвещения. По этим основаниям они требовали, чтобы местечко Рис, расположенное в округе Корбёйль, в департаменте Сены-и-Оазы, именовалось впредь Брутом, и чтобы отныне в селении Брут не было вовсе духовенства.

5 фримера того же года представитель Конвента Кутюрьё писал из Этампа: «Граждане селения Шамарант ходатайствуют об изменении названия их местечка; принимая во внимание, что оно получило настоящее имя от прежнего своего владельца, раньше же называлось Бон, я, сообразно сему, окрестил его именем «Бон-ля-Коммюн»... Так как прежде широко распространенные названия: «король», «королева», «Людовик», «Антуанетта» и др. утратили ныне свое обаяние, и так как ходатайства о таких переименованиях поступают беспрерывно, то я постановил для общего руководства, что слово «Людовик» должно впредь заменяться словом «искренний», слово «король» — «свободой», «королева» — Юлией, а Антуанетта — Софией».

Жители одной деревни в департаменте Сены и Марны Гинь-Распутная просили, и довольно основательно, переименовать их местечко в Гинь-Либр. Непристойное прозвание было дано этой деревне вследствие особенной услужливости и покорности, с которой во времена прежних войн ее обитатели встречали победителей и подчинялись им.

Этой репутацией и прозвищем деревня Гинь пользовалась исстари; еще поэт Ренар писал о ней в таком роде:

Мы в Гинь пошли гулять,
Прозванье коей Блядь.

Ныне эта деревня известна под именем Гинь-Рабютен, хотя род Рабютенов никогда не владел здесь никакими поместьями.

По словам ученого-исследователя Люлье, слово «Рабютен» было принято исключительно по созвучию с прежней непристойной кличкой (Rabutin — la putin).

В 1793 и 1794 гг. Конвент дал тоже некоторым городам в наказание за недостаточно современный образ мыслей позорящие наименования. В числе их Тулон и Лион лишились своих старинных, освященных веками названий.

Барра предложил вовсе лишить имени город Марсель за его гнусные преступления, и с тех пор стал писать свои грозные постановления, адресуя их «городу без имени». В силу естественного сокращения Марсель вскоре превратился в город Безымянный[224].

В Вандее перемены названий довольно часто испрашивались городами, боровшимися против роялистов, союзников англичан.

Так, Фонтене-ле-Конт просил переименования в Фонтене-Народный; Сен-Жиль-сюр-Ви, доблестно сопротивлявшийся шайкам мятежников, назвался Портом-Верным, а остров Ре превратился в Монтань-Иль-Республиканский. Было изменено название и самого департамента. Жители, оставшиеся верными республике и принесшие ей большие жертвы, чувствуя, что имя Вандеи было «омерзительно всем республиканцам», просили через Мерлин де Тьонвиля «чести» именоваться гражданами департамента Ванже (Отомщенного). Такое переименование, конечно, не способствовало успокоению местных умов.

Заканчивая на этом обзор главнейших переименований, мы можем присовокупить, что им в настоящее время имеется специальный и почти[225] полный список; говорим «почти», потому что за совершенную его полноту нельзя ручаться,

вследствие отдаленности по времени описываемых событий и особенно вследствие многократных смен форм правления во Франции в течение последнего столетнего периода.

Перед революцией было также немало отдельных попыток переименования населенных пунктов, но они оставались тогда обыкновенно без результата.

Поэт Грессэ, автор имевшей большой успех шутливой поэмы «Вэр-Вэр» («Vert-Vert»), был героем довольно забавного эпизода, имеющего соотношение с данным вопросом. Воспользуемся им, чтобы закончить эту главу, сухость которой могла утомить читателя.

В 1757 г. Дамьен за покушение на особу Людовика XV был колесован живым.

Тогда Грессэ, бывший уже давно в немилости при дворе, возымел мысль возвратить себе королевское расположение.

Он написал к королю послание, вызванное, по его словам, всеобщим настроением, господствующим в городе Амьене, где он проживал. «Граждане этой местности, помимо ужаса и горя, охватившего всю Францию, испытывают еще особые страдания вследствие сходства названия их города с именем отвратительного злодея. С этих пор слово “Амьен” производит “тяжелое впечатление”», — лицемерно взывал он, забывая вовсе о букве Д, с которой начиналось имя преступника. В заключение он взывал к «милости» Людовика XV и молил переименовать их город в Луисвиль. По свойственной ему привычке он выразил эту просьбу в стихотворной форме.

Поэт не только остался ни при чем, но был даже осмеян. Жители Амьена, несмотря на свой роялизм, вовсе не стремились напяливать на себя «королевскую ливрею» и изменять старое городское имя. Муниципалитет горячо протестовал и, как рассказывает биограф Грессэ, заявил, что если его проекту будет дан ход, то придется вычеркнуть и из календаря имя святого Дамиена (Демиана).

Проситель не настаивал, и город Амьен остался при своем прежнем имени.

Глава III. Демократизация карт и шахмат

Падение монархического режима должно было, при тогдашнем настроении, повлечь за собою изменения даже в фигурах игральных карт, так как короли, дамы или королевы и валеты, казалось, слишком напоминали тот былой строй, который было необходимо искоренить до последней черты.

Сообразно этому было решено заменить: королей — мудрецами, дам — добродетелями и валетов — героями.

Четырьмя мудрецами стали: Люций Брут (пики), Жан-Жак Руссо (трефы), Катон (бубны) и Солон (черви).

Добродетелями оказались: Могущество (пики), Единение (трефы), Благоразумие (бубны) и Правосудие (черви).

Героями: Муций Сцевола (пики), Деций Мус (трефы), Гораций (бубны) и Ганнибал (черви).

Изображение этих исторических и аллегорических личностей было якобы произведением знаменитого живописца Давида; отчетливость композиции и искусная выдержанность стиля первых игральных карт революции дают основание доверять справедливости такого предположения.

Юлий Брут держит щит, на котором начертаны слова «Римская республика». У его ног, в круглом ящике, свернуты знаменитые книги Сивилл.

На щите Катона изображено «Разрушение Карфагена»; Солон держит в руках «Афинские законы»; Руссо, являясь символом новейшего философского движения, смотрит на свой «Общественный договор».

Атрибуты женщин, олицетворяющих добродетели, заимствованы главным образом из мифологии.

Муций Сцевола изображен в тот момент, когда он добровольно сжигает на углях свою руку, которой он поразил врага отечества Порсену.

Гораций возвращается победителем с поля битвы после поражения Курьяциев, давшего Риму перевес над Альбой, а карфагенянин Ганнибал попирает ногой римского орла.

Деций Мус умирает, обрекая себя в жертву подземным богам, чтобы, согласно преданию, обеспечить за отечеством победу.

Первоначальная чистота этих типов вскоре, впрочем, утратилась, проходя через руки разных граверов и литографов, за которыми не имелось никакого надзора.

В III г. республики гражданин Симон Вернандоа получает привилегию на изобретенные им новые игральные карты.

Эти новые карты изображали: король червонный — гения войны; трефовый — гения мира; пиковый — гения искусства; бубновый — гения торговли, причем каждый был снабжен соответственными ему эмблемами.

Дамы представляли: червонная — свободу совести; трефовая — свободу брака; пиковая — свободу печати; бубновая — свободу промыслов и профессий.

Валеты: червонный — равенство обязанностей; трефовый — равенство прав; пиковый — равенство званий; бубновый — равенство рас. Благодаря этим преобразованиям способ игры совершенно изменился. Приходилось говорить в пикете вместо: четырнадцать тузов или дам — четырнадцать законов или свобод; вместо: квинты или терца от короля или валета — квинт или терц от гения или равенства.

Что касается эмблем, украшавших отдельные фигуры, то они имели тоже особенный характер: равенство обязанностей обозначалось национальным гвардейцем; равенство прав — судьей, держащим в равновесии весы и попирающим ногою гидру ябедничества; равенство рас — негром, сидящим на тюке с кофе и попирающим ногой разбитые оковы[226], и т. д.

Была изобретена также новая игра «Французской революции»[227], сходная с древнегреческим «Гусем», которая представляла 63 клетки с особым на каждой изображением.

Здесь можно было видеть: шествие свободы или взятие Бастилии, слияние трех сословий, свободную охоту, формирование Национальной гвардии. Вместо классического в «Гусь-

ке» моста здесь стоял князь Ламбеск на подъемном тюльерийском мосту; затем шла отмена феодальных прав, десятины, бланковых указов (lettres de cachet), барщины, соляного налога, упразднение монашеских орденов, смерть Делоне, Фулона и Бертье. Лабиринт превратился в парижскую заставу Шатле.

Эта таблица, изданная 14 июля 1790 г., изображает таким образом вкратце весь первый акт революционной драмы и является как бы повторительным курсом ее истории. На четырех углах ее помещены даже куплеты известной революционной песни «Ça ira», пока еще умеренные, почти скромные, не имеющие ничего общего с теми, которые пелись три года спустя[228].

«Благородная игра», т. е. бильярд, была лишена своего прозвания, точно «бывший» дворянин — своего титула.

Что касается шахмат, то поднялся весьма серьезно вопрос о полном их воспрещении, как игры не гражданственной.

«Может ли быть дозволено французам играть впредь в шахматы»? Такой вопрос пресерьезно в течение нескольких заседаний обсуждался на специальном митинге — сходке «добрых республиканцев» и, «как и следовало ожидать, пишет современник, был разрешен в совершенно отрицательном смысле».

Но затем выступил, однако, другой вопрос: «Нельзя ли демократизировать эту единственную действительно изощряющую мозг игру? Нельзя ли, исключив из нее названия и формы, в вечной ненависти коим мы все клялись, сохранить лишь остроумные и образцовые комбинации, ей одной присущие и делающие ее столь привлекательной и незаменимой?»

Эти слова принадлежат далеко не первому встречному, их произнес известный химик Гьютон-Морво, тот самый, который довольно курьезно совмещал в Дижоне должность товарища прокурора судебной палаты с обязанностями профессора химии и фармакологии.

«Всему свету известно, — продолжает этот ученый, — что шахматная игра есть в сущности подобие войны. В этом еще

нет, конечно, ничего, противного республиканским идеям, ибо очевидно, что всякий свободный народ должен всегда быть в готовности защищать свою свободу с оружием в руках. Если даже народ и не желает пользоваться вооруженной силой иначе, как лишь для законной самообороны, он все же не будет столь неосторожен, чтобы отказаться от содержания войск и от того, чтобы от времени до времени не собирать их для упражнений. Сколько бы этот сбор ни длился и какие бы размеры он ни принял, его цель не будет достигнута, если он не образует из себя подобия лагеря. Этот лагерь придется немедленно разделить на две части, каждую из войск всех родов оружия, а эти части должны будут стать под различные знамена, поочередно представляя из себя то нападающую, то обороняющуюся стороны».

По системе Гьютона это будет, так сказать, игра в «малую войну», так как слово «шахматы» должно быть обязательно предано забвению, ибо корень его слишком неблагозвучен по своему царственному происхождению (шах персидский). Главным персонажем игры должно стать знамя, ходы которого будут одинаковы с ходами былых королей. Фигура, «столь нелепо называемая королевой или ферзью», превратится в адъютанта, причем генерал будет не на шахматной доске, а в голове у игрока.

Туры (башни) станут пушками и таким образом исчезнет несообразность их прежнего названия с их подвижностью; рыцари (кони) спустятся до ранга всадников, а офицеры станут драгунами. Пешка (солдат-пехотинец), взяв с бою противный лагерь, т. е. пройдя всю доску, вместо того чтобы менять пол и превращаться в даму, будет только повышаться в чине.

Совершив таким образом вторичное, хотя на этот раз и мирное цареубийство, Гьютон радуется, что достиг устранения из игры эмблем и выражений, идущих вразрез с республиканскими принципами.

В заключение он высказывает пожелание, чтобы настал день, «когда рабские народы прозрят, наконец, что они, точно пешки в шахматах, подобны струнам, на которых ра-

зыгрывают деспоты, щадя или сокрушая их по воле своего каприза».

Сам того, наверное, не подозревая, химик Гьютон в своих пожеланиях оказался в некотором смысле пророком.

Глава IV. Республиканский календарь

Конвент, установивший единство мер и весов, пожелал затем урегулировать законодательным порядком и разделение времени. С этой целью, а еще более ради того, чтобы нанести окончательно удар ветхому зданию отвергнутой уже религии, он вводит во Франции взамен прежнего григорианского календаря, — новый, открывая им особое республиканское летосчисление. 5 октября 1793 г. старый календарь был заменен другим, предложенным от имени Комитета народного просвещения членом Конвента Роммом. Декрет, изданный по этому поводу, постановил считать окончание старой эры и открытие новой со дня основания республики, т. е. с 22 сентября 1792 г.

Провозглашение республики в Париже действительно состоялось именно 22 сентября утром, в час истинного осеннего равноденствия, при вступлении солнца в зодиак Весов. По витиеватому выражению какого-то современника, «час наступления гражданского и духовного равенства французов был и в самом небе отмечен равенством дней и ночей...». Второй год республики, начавшийся по григорианскому календарю с 1 января 1793 г., с введением нового календаря опять начал считаться вновь с 22 сентября того же 1793 г. Это число стало первым днем II г. республики, которому, однако, на самом деле было уже 8 месяцев и 22 дня. Таким образом, в действительности II г. длился целых двадцать месяцев и в официальных актах появилась вследствие сего страшная путаница, т. к. оказались акты, совершенные в разное время, а помеченные одним и тем же числом.

Требовало ли общественное мнение подобной реформы? Мы не осмелимся этого утверждать, хотя не можем не признать, что, по современному выражению, оно уже несколько лет как «носилось в воздухе».

Еще в 1785 г. некий Рибу, бурганбресский прокурор, сделал первую попытку в этом направлении, хотя тогда она осталась почти незамеченной. Сей бюрократический реформатор в изданном им альманахе под цветистым заглавием «Литературный гостинец, или Календарь для друзей человечества»[229] задумал заменить календарных святых — великими людьми, с установлением в ознаменование их благих дел и соответственных праздников. Праздник земледелия совпадал у него с днем Колюмеля[230]. Ж.-Ж. Руссо становился патроном «чувствительных душ». Скарон — угодником «терпеливых больных» и т. д.

Немного позднее эта идея была вновь поднята, и уже с большим успехом, довольно оригинальной личностью, Сильвеном Марешалем, который дебютировал перед тем в литературе по преимуществу лишь эротическими стишками, под псевдонимом «пастушка Сильвена». Сильно непристойная пародия на Библию сразу обратила всеобщее внимание на начинающего писателя и благодаря этому скандальному успеху он довольно быстро выдвинулся из рядов заурядной толпы современных писак. Это была, конечно, известность далеко не прочная и сопряженная с риском такой же быстрой ее утраты. В 1788 г. Сильвен Марешаль в погоне за известностью составляет календарь-альманах, который довольно решительно озаглавливает «Альманахом честных людей» и не без некоторой претензии помечает его первым годом царства Разума. В этом своеобразном календаре год начинался с марта месяца, который и получил название Princeps (главный); апрель был назван Alter (второй); май Ter (третий); июнь Quartil (четвертый); июль Quintil (пятый); август Sextil (шестой); сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь сохранили свои прежние названия как и без того порядковые. Что же касается января и февраля, то они получили довольно неуклюжие наименования: Undecember (одиннадцатый) и Duadecember (двенадцатый). Новинкой в этом календаре была также замена всех святых григорианского календаря «честными людьми». На место святого Василия, св. Женевьевы, св. Гаврила и св. Эмилии и др. появились вдруг Марциаль, Дионик, Саладен, Сантер,

Евдокия, Валерия и даже Агнесса де Сорель… 3 апреля было, впрочем, все же великодушно оставлено за Иисусом Христом. 21 октября, в бывший день св. Урсулы, праздновались именины отца самого автора. Каждый месяц был разделен на 3 декады, а пять или шесть последних дней года были названы «Эпагоменами»[231] и были посвящены празднествам в честь Любви, Бракосочетания, Признательности, Дружбы и Великих людей.

Хотя Сильвен Марешаль, как и его предшественник Рибу, вносил в свой календарь только таких великих людей, которые обладали на это звание достаточными правами, но его все же можно упрекнуть, что он ставил их подчас в весьма сомнительное соседство. На это он, со своей стороны, мог бы, впрочем, возразить, что при выборе им руководило лишь самое широкое беспристрастие, качество, свойственное по истине либеральному уму.

Суд парижского парламента, однако, не согласился с этим, и после строгой обвинительной речи королевского прокурора приговором, вошедшим в законодательную силу 9 января 1788 г., постановили воспретить книгопродавцам, разносчикам и иным торговцам продажу этого альманаха, а автора, Марешаля, заключить под стражу в С.-Лазарскую тюрьму. Сверх сего суд постановил все упомянутое издание уничтожить сожжением через палача во дворе парламентского здания как нечестивое, святотатственное, кощунственное и направленное к потрясению религиозных основ.

Впоследствии Марешалю удалось по-своему отплатить за это постановление.

Наряду с последующими дополненными и значительно менее скромными изданиями того же альманаха, он напечатал в 1794 г. один из своих самых едких диалогированных памфлетов под названием «Последний суд царей», а на склоне лет выпустил в свет свой знаменитый «Словарь безбожников» (Dictionnaire des Athées), где между прочим содержится следующее, характеризующее все сочинение, место: «Если бы иные атеисты вернулись снова к жизни, то чего бы каждый из нас не дал, чтобы попасть в их общество и разделить их счаст-

ливое, не омрачаемое угрызениями совести, существование? Кто из нас стал бы сожалеть о дне, проведенном с утра в школах Пифагора и Аристотеля, в полдень побывав в радушном обществе Анакреона, Лукреция или Шолье, погуляв вечером в садах Эпикура или Гельвеция и очутившись к ночи между Аспазией и Нинoной де-Ланкло»[232].

Между строк здесь можно довольно ясно прочесть, что при подобной оказии «пастушок Сильвен» не удовольствовался бы одними «томными взглядами и вздохами» по примеру классического пастушка Дафниса, и лес, в который он забрался бы с такими подругами, ненадолго бы остался священной рощей муз...

Брошенное Марешалем семя не замедлило дать ростки. Один из его последователей стал, в свою очередь, требовать реформы календаря, ввиду того что последний содержит смешение памятников «ложной религии» с символами «правоверия». Праздник святых Иакова и Филиппа, пишет он с негодованием, стоит во главе месяца, посвященного Кастору и Поллуксу; и на той же странице встречается имя Венеры, данное планете, наряду с именем юной девственницы, до гроба сохранившей свою чистоту.

Для удовлетворения общественной скромности автор современного Нострадамуса посвятил в своем календаре месяцы Вольтеру, Монтескье, Тюрену, Жан-Жаку Руссо, Жанне д'Арк, Корнелю, Людовику XVI, Генриху IV, Евстахию св. Петра, Байярду, Фенелону и Сюлли. Подобное же переименование вводилось и для знаков зодиака. Имена святых попросту заменялись фамилиями выдающихся народных представителей с краткими им характеристиками. Любопытная заметка была помещена под именем доктора Гильотэна. «Почтеннейший сей врач не следует путем иных своих собратьев. Гениальную машину изобрел, чтоб быстро и без боли преступникам теченье жизни пресекать». Юмор, доведенный до таких пределов, становится почти остроумным. В том же календаре Вельшингер откопал и еще следующий погребальный пригласительный билет. «Просят пожаловать на заупокойное служение и торжественное погребение высокочтимо-

го, могущественного и великолепного французского духовенства, скончавшегося в Национальном собрании в поминальный день 1789 г. Прах покойного имеет быть перенесен в Государственное Казначейство г-ми Мирабо, Шапелье, Туретом и Алекс. Ламетом. Погребальная процессия последует мимо Биржи и Учетного банка, где последними будут совершены литии. Аббат Монтескью произнесет надгробное слово. Вечную память пропоет под сурдинку женский оперный хор, облеченный во вдовий траур!»

Реформа календаря была лишь одним из проявлений общей борьбы против ретроградно-реакционного духа, но, однако, если это орудие и наносило некоторый удар вековым предрассудкам, то все же раны, им причиненные, не оказались ни смертельными, ни неисцелимыми. В то время утверждали, что главной целью преобразования католического календаря было упразднение воскресенья, как еженедельного напоминания о всех церковных и монархических идеях[233]. Не такова, однако, была, по нашему мнению, цель реформаторов. Они стремились, главным образом, к созданию новой единицы времени и к выработке календаря чисто светского, который подходил бы одинаково ко всем гражданам, без различия вероисповеданий. Жильберту Ромму, представителю департамента Пюи-де-Дом, было поручено внести в Конвент доклад по этой реформе. Предложив считать началом республиканской эры 22 сентября 1792 г., Ромм проектировал расчленить каждый месяц по греческому времяисчислению на три декады (т. е. десятидневия). Дни каждой декады должны были именоваться днями: Уравнения, Шапки, Кокарды, Пики, Плуга, Циркуля, Связки, Пушки, Дуба и Отдохновения. Так как в силу принципа равенства, не допускающего ни для кого и ни в чем никаких преимуществ, месяцы должны были тоже быть равными между собой по числу дней, то в каждом високосном году оставалось по 6, а в обыкновенном по 5 лишних дней. Ромм согласно проекту С. Марешаля предлагал тоже наименовать их эпагоменными, посвятив их: «Усыновлению», «Возмездию», «Братству», «Промышленности» и «Старости». Шестой день (високосных годов) должен был считаться «Олим-

пийским», а каждый четырехлетний цикл составлять одну «Франсиаду». Наконец, 10-е число вандемиера каждого года посвящалось празднику Верховного Существа и Природы.

Ромм, кроме того, требовал и переименования месяцев, предлагая назвать один «Бастилией», другой «Игрой в мяч»[234] и т. д., из прочих он сохранял лишь Июнь в память победы Брута над сторонниками Тарквиния Гордого. Прения по поводу этой реформы происходили в Конвенте 5 октября 1793 г. Первые три статьи: относительно введения во Франции новой эры летосчисления, отмены старой и относительно установления начала нового года прошли единогласно. Но не то было с новым подразделением года на месяцы и с их переименованием. После довольно шумного, но смутного обмена мыслей Конвент склонился к порядковому именованию месяцев, декад и дней без особых для каждого прозваний. Тогда Фабр д'Эглантин выступил с поправкой, которая была принята Конвентом, однако, несколько позже. «Я предлагаю, — заявил он, — придать каждому дню название растений, соответствующих времени года, а также полезных домашних животных, ибо это будет служить в целях народного образования». Вследствие возражений Дюгема поправка Фабра была первоначально отвергнута. Вскоре порядковый способ определения времени вызвал невероятные замешательства. Как было в самом деле разобраться в счете подобного рода: *пятый день второй декады третьего месяца второго года?*.. После трехнедельного опыта математики обратились за помощью к поэту, прося вывести их кое-как из лабиринта, в котором они окончательно запутались. Тогда Фабр д'Эглантину было поручено Конвентом составление доклада в смысле подыскания названий менее отвлеченных, чем предложенные Роммом и Лаландом, и более доступных пониманию народа.

Бывший провинциальный актер, автор «Интриги в письмах» и «Мольеровской Филинты», представил Конвенту 24 октября 1793 г. плоды своих бессонных ночей, выставив себя при этом сразу сторонником всех новых и противником всех старых идей. «Немыслимо, — пишет Фабр д'Эглантин, — считать прожитыми годы, когда нас угнетал королевский режим. Мы

должны ныне их вовсе забросить и позабыть. Предрассудки, суеверие и ложь церкви и трона оскверняют каждую страницу григорианского календаря, по которому мы жили доныне. Он набивал головы народа одними лживыми картинами прошлого, источниками религиозных заблуждений и суеверий; поэтому совершенно необходимо заменить этот бред невежества — разумной действительностью, а гнет духовной нетерпимости — светом природы и истины». Трудно было высказаться определеннее; весь доклад Фабра был обвинительным актом против верований большинства французов. Плодовитое воображение поэта-политикана продолжало разыгрываться далее... «Весьма важно при помощи календаря, настольной книги каждого, вернуть французский народ к земледелию, и потому-то руководящей идеей, которую мы положили в основание нашего труда, является посвящение нового календаря интересам хлебопашества, наводя на таковое весь французский народ и отличая все времена и части года знаками, заимствованными из земледелия и сельского хозяйства. Мы предположили в этих видах придать каждому месяцу характерное наименование, которое определяло бы свойственную этому времени года температуру и растительность и которое, вместе с тем, давало бы понятие о характерных отличиях каждого из времен года». Это казалось автору достижимым посредством придачи к наименованию месяцев, принадлежащих к одному и тому же времени года, одинаковых окончаний. Таким образом время года, так сказать, схватывалось прямо слухом. Для месяцев осенних был избран звук серьезный, среднего тона — «эр»: вендемиер, брюмер, фример; звук тяжелый и протяжный для месяцев зимних — «оз»: нивоз, плювиоз, вантоз; веселый и краткий для весны — «аль»: жерминаль, флореаль, прериаль и, наконец, звук сочный и широкий для лета «ор» — мессидор, термидор и фруктидор.

Сами названия были соображены довольно основательно и логично. Вендемиер — сентябрь, месяц сбора винограда (vendange); брюмер — октябрь, месяц ненастных дней и туманов (brume); фример выражает «холод: то сухой, то влажный», дающий себя чувствовать с ноября по декабрь (frime). Наиме-

нование трех зимних месяцев происходит: нивоз — от снега, покрывающего землю в декабре и январе (neige); плювиоз — от дождей, выпадающих с января до февраля особенно обильно (pluie); вантоз — от весенних внезапных ветров, осушающих почву с февраля по март (vent). Три весенних месяца назвались: жерминаль — от пробуждения в природе всех живительных соков и семян (germe); флореаль — от расцвета всех цветов (flore); и третий, прериаль — от радующих душу зеленых ковров полей и лугов (prairie). Летние месяцы имели такое значение: мессидор — от желтеющих нив, ожидающих жатвы (moisson); термидор — от удручающей, банной жары (thermes) июля и августа; и фруктидор — от созревающих с августа по сентябрь фруктов (fruits).

Покончив с месяцами, преобразователь[235] календаря принялся за их подразделения. Ввиду того, что эти подразделения были периодические и заключались в трехкратном повторении в течение месяца (или в 36-кратном в течение года) десятидневных периодов, то последние были названы десятками «декадами». Предстояло еще подыскать названия для каждого дня декады. Им даны были названия порядковые: примиди, дуеди, триди, квартиди, квинтиди, секстиди и т. д., что можно было бы перевести на русский в следующем роде: перводник, втородник, тридник, четвердник, пятидник, шестидник, семидник и т. д. Имея в виду, что календарь является у каждого, преимущественно перед всякой прочей, повседневной настольной книгой, докладчик считал его, как уже упомянуто выше, особенно полезным для распространения в народе элементарных сельскохозяйственных сведений. «Мы полагали, — прибавлял он, — что нация, изгнав из календаря всю толпу святых, должна заменить их предметами, составляющими действительное народное благо, полезными продуктами земли, орудиями ее обработки и нашими верными слугами — домашними животными, т. е., без сомнения, предметами более ценными в глазах разума, чем обоготворенные мощи и скелеты римских катакомб».

Ввиду этого Фабр для каждого из месяцев расположил в соответственном порядке названия этих сокровищ сельско-

го хозяйства: каждому квинтиди, т. е. пятидневию, посвящалось какое-нибудь домашнее животное, а каждая декада — десятидневие, обозначалась особым земледельческим инструментом. «Трогательная мысль! — восклицал умиленный поэт. — Которая не может не повлиять на сердце наших кормильцев и не доказать им воочию, что с республикой настало, наконец, время, когда хлебопашец стал почтеннее всех, вместе взятых, земных царей».

Оставались еще добавочные дни. Д'Эглантин назвал их санкюлотидами. Небезынтересно его объяснение относительно происхождения термина «санкюлот». «Со времен седой старины, — говорит он, — наши предки, галлы, гордились такой кличкой. История нас учит, что часть Галлии, впоследствии прозванная Лионской, именовалась «Gallia braccata» — «Галлией одетой»; не очевидно ли отсюда, что вся остальная Галлия до самого Рейна была Галлией — не одетой, нагой, а следовательно, и «бесштанной»? И не ясно ли, что еще наши предки были несомненно «санкюлотами»?

Санкюлотиды посвящались празднествам в честь «Гения», «Труда», «Благих дел», «Возмездия» и «Мнения». В единственный и торжественный праздник «Мнения» законом дозволялось каждому гражданину высказывать свое суждение о нравственности и поведении должностных лиц. Закон, таким образом, давал известную волю живому и веселому воображению французов. В этот день да будут дозволены всякие проявления ума и остроумия. Соль шутки пусть послужит в этот день возмездием тому из народных избранников, кто не оправдал возложенного на него доверия, заслужил ненависть или презрение, и, таким путем, даже посредством своей естественной веселости, народ будет охранять свои верховные права. Подкупны суды и чиновники, но общественное мнение неподкупно.

Через каждые четыре года, в високосные годы, шестая санкюлотида должна была праздноваться всенародными играми. В этот день со всех концов республики должны были стекаться в Париж граждане, во славу свободы и равенства и братскими объятиями скреплять связывающие их узы, кля-

нясь перед алтарем отечества жить и умирать вольными и честными санкюлотами.

Так заканчивалось превыспреннее словоизвержение многоречивого Фабр д'Эглантина. Идея против каждой квинтиды поставить полезное животное, а против каждой декады — сельскохозяйственный инструмент взамен прежних святых, с тем чтобы сообразно этому и именинники изменили свои имена... была встречена во всей стране взрывом гомерического хохота и разбилась о вековую рутину. Можно ли было действительно при рождении давать детям имена вроде: тимофеевка, конский зуб, корова, ревень, утка, огурец, трюфель, подорожник, салат, свинья, конь, хомут, телега, осел и т. п.?

Невзирая на патриотическое усердие народного представителя Мильо и генерала Пейрона, заменивших тотчас же свои христианские имена, первый — Тмином, а второй — Миртом, пришедшихся по календарю как раз в день их прежних ангелов, эта часть реформы была немедленно же засмеяна и почти не привилась.

Немного спустя в театре Водевиль шла комедия под заглавием «Одна скрипка на всю компанию», в которой пелись куплеты, язвительно вышучивавшие поползновение превратить святых угодников в овощи, посуду и скотину:

Беру я в руки календарь,
Ищу святого Никодима,
И натыкаюсь вдруг на тварь:
— Я превратился там в Налима!

Как и следовало ожидать, сельский календарь или, как его в насмешку называли, «огород», просуществовал недолго, по крайней мере, что касается его сельскохозяйственных святцев!

Тем не менее в печати появилось несколько календарей и альманахов с «сельскохозяйственной» табелью Фабра. Один из них был даже отпечатан в Государственной типографии. Ромм тоже составил к ней пояснительную записку в своем «Ежегоднике земледельца» на третий республиканский год и представил свой труд Конвенту, ходатайствуя об одобрении его для республиканских школ.

Ото всей реформы Фабра д'Эглантина практически сохранились лишь наименования двенадцати месяцев года и названия дней декады.

Республиканский календарь, иначе называемый «декадер», продержался в течение всего республиканского правления и употреблялся даже и в начале Империи; им пользовались с 16 октября 1793 г. по 11 нивоза XIII г. (1 января 1806 г.), т. е. двенадцать лет, два месяца и 27 дней[236].

Относительно того, предназначались ли сельскохозяйственные наименования, заменившие в календаре под квинтидами имена святых, для наречения ими людей вместо их прежних христианских имен, существуют разные мнения. Один весьма благонамеренный писатель, например, считает такое предположение лишь «величайшим бесстыдством», выдуманным с целью предать новый календарь осмеянию. «Мыслимо ли, — говорит он, — чтобы люди вместо Петра и Ивана стали вдруг зваться Репой или Сельдереем? Если подобные случаи и имели место, то они могли быть только единичны».

Однако современник смутного времени, академик Арно[237], положительно утверждает, что он сам знавал семьи, где детей именовали при рождении Морковью и Цветной Капустой[238]. Имеется архивный документ, подтверждающий это показание Арно[239]. Во многих коммунальных метрических книгах за II и III гг. республики встречаются имена новорожденных: Неприкосновенность, Гуманность, Артишок, Орешек, Орфей и др.

Возвратимся к официальным документам, ко всевозможным постановлениям Конвента, собранным в Полном собрании законов и распоряжений и являющимся в этом отношении самым достоверным источником. Это перечисление, невзирая на его некоторую монотонность, будет, как нам кажется, доказательством далеко не излишним.

Относительно пункта 9-го декрета от 14-го предыдущего месяца Конвент 3 брюмера II г. (24 октября 1793 г.) постановил, что в отношении собственных имен, их перечисления и распределения по новому календарю следует придерживаться приложенной к настоящему декрету таблицы. Послед-

няя содержала подробный перечень животных, растений и земледельческих инструментов, коими подлежали замене все святые григорианского календаря.

Несколько недель спустя, как раз в тот самый день, когда Конвентом были предоставлены Марату почести погребения в Пантеоне (16 ноября), состоялись следующие постановления:

«На прошение утвердить имя Либерте (Свобода), принятое некой гражданкой Гу, Национальный конвент направил ее по месту ее жительства в местный муниципалитет, дабы засвидетельствовать там установленным порядком имя, которое она желает принять».

Наконец, по возбужденному кем-то из членов вопросу о воспрещении гражданам принимать в качестве имен собственных слова «Свобода» и «Равенство» Конвент, в мотивированном переходе к делам, высказал, что «каждый гражданин вправе именоваться, как ему угодно, сообразжаясь только с формальностями, предписанными на этот случай законом».

Как видно, Конвент предоставлял всякому носить такое имя, какое ему нравится, но чтобы положить границы злоупотреблениям и причудам некоторых граждан, Народное собрание все же около года спустя — 6 фруктидора II г. (23 августа 1794 г.) издает новое постановление, первые две статьи которого гласили:

«I. Никто не может носить другого имени, кроме того, которое означено в его метрическом свидетельстве; те, кои оставили эти имена, обязуются снова их принять.

II. Равным образом воспрещается прибавлять к своей фамилии какие-либо новые прозвища, если только таковые не служат для отличия различных членов одной фамилии; в последнем случае они не должны напоминать феодальных или дворянских титулов».

Наконец, значительно позже (1 апреля 1803 г.) был обнародован закон «об именах и их изменении», в котором две первые статьи таковы:

«I. Со времени опубликования настоящего закона в качестве имен собственных для наречения новорожденных и занесения их в списки гражданского состояния могут упо-

требляться только имена, значащиеся в различных календарях, или же имена знаменитых людей древней истории. Чиновникам воспрещается допускать в актах какие-либо иные наименования.

II. Всякое лицо, которое в настоящее время носит какую-либо фамилию или же имя, не согласное с предшествующей статьей, может ходатайствовать о их изменении в порядке, указанном той же статьей».

Эта статья имела в виду многих граждан, которые из угодливости к новому режиму или по каким-либо иным побуждениям сочли нужным во время республики изменить свои имена.

Лица, рожденные до 16 ноября 1793 г., должны были после 23 августа 1794 г. принять снова имена, обозначенные в их метриках. Что же касается детей, родившихся в промежутке между указанными выше датами и получивших более или менее чудаческие имена из республиканского календаря, то они вынуждены были сохранить их за собой, если только их родители не поспешили своевременно воспользоваться для них льготой закона 1 апреля 1803 г.

Конечно, девушки, названные при рождении хотя и не христианскими, но простыми и благозвучными именами Маргарит или Виолет, не особенно хлопотали заменять их какими-нибудь Эрмансами или Петрониллами, которыми их могли наградить вновь муниципальные чиновники. Едва ли, впрочем, и мы в их положении поступили бы иначе.

Введение республиканского календаря не могло неизбежно не повлечь за собой мании перемены таких имен и фамилий, которые чем-нибудь напоминали приверженность к католицизму или монархии. Началась настоящая горячка в стремлении как можно скорее отречься от покровительства «ангелов» григорианского календаря и заменить свои имена названиями растений, земледельческих орудий или именами древних героев, освященных революционным календарем.

Один современный поэт, имевший достаточно мужества, чтобы сохранить свою собственную феодальную фамилию —

Шарлемань[240], не побоялся поднять на смех эту новую моду в хлестких сатирических стихах:

Ура, друзья! Долой все предрассудки!
Другими именами начнем креститься вновь.
Иваны, Яковы, Денисы… Что за штука?
Поповством прямо в глаз бьют, а не в бровь!
Святыми быть теперь уж перестали
Угодники, в раю которым место проживать,
В режим их прошлый слишком величали,
Чтоб мы могли серьезно их доныне уважать.

Кто же осмелился бы взять под свою защиту этих святых, у которых не было никаких гражданских заслуг и добродетелей:

Ребята добрые, не боле, —
Они лишь тем и отличались,
Что в силу моды, поневоле,
Все христианами считались.

Несравненно привлекательнее было зваться по нынешнему громкими римскими прозваньями:

Ты Квинтом будешь, а я — Секстом,
Не то так Брутом назовусь,
И, пользуясь таким моментом,
В героя сразу превращусь.
Шенье — в Вольтера обратится,
Фоше — да будет Масильон,
В Мольера — Фабр пусть воплотится,
А в Робеспьера — Цицерон!

Но, невзирая на это, страсть к перемене фамилий прямо свирепствовала. Для объяснения этого подыскивали всевозможные предлоги. Язык черни был якобы переполнен в это время выражениями жесткими и грубыми: ни одной фразы не произносилось без божбы, богохульства и сквернословия или без угроз и призыва к грабежу и убийству. Из страха прослыть «подозрительным» и воспитанные люди тоже старались упо-

добляться черному народу и говорили в публике ее жаргоном. Язык исказился, а за ним той же участи должны были неминуемо подвергнуться и все названия.

Но такое объяснение едва ли основательно. Дело было, по-видимому, гораздо проще. Вполне естественно, что при народном своевластии все спешили попросту отделаться от своих компрометирующих имен прошлого режима и укрыться под другими, нередко причудливыми, но зато принадлежавшими когда-то добрым республиканцам, добродетельным гражданам, жившим за много веков перед тем, и проверить «благонадежность» которых теперь было бы даже невозможно. Вот почему возродились на свет бесчисленные Аристиды, Анахарзисы, Сцеволы и Публиколы.

Если даже города и улицы, носившие имена святых, сочли нужным избавиться от этих опасных кличек, то как было не озаботиться об этом частным лицам.

Некая особа, называвшаяся Региной (Regine — королева), спешит переименоваться в Fraternité-Bonne-Nouvelle (Братство-Доброй-Вести). Шербургский патриот Жан-Николай Леруа[241] (le roi — король) при провозглашении республики заменяет слово Леруа именем Мулэн (Moulin — мельница). Это все же не помешало ему быть привлеченным к суду Революционного трибунала по доносу какого-то негодяя, домогавшегося занять его место, и быть приговоренным и казненным, невзирая даже на представленные им прекрасные аттестаты «гражданских добродетелей и патриотизма».

Другой Леруа, бывший в 1791–1792 гг. мэром города Куломье и затем назначенный членом Революционного трибунала в Париже, принял имя Дизау (Dix août — 10 августа), что тоже не спасло его от эшафота в один день с Фукье-Тенвилем.

В это время некоторые муниципалитеты издали следующее постановление: «Всякий, носящий имя, заимствованное от тирании или феодализма, например: Леруа (le roi — король), Ламперёр (l'Empereur — император), Леконт (le Comte — граф), Барон, Шевалье (Chevalier — рыцарь) и т. п. или даже имена более умеренные, как Бон (добрый), Леду (le doux — нежный), Жантиль (gentil — милый), должен немедленно

оставить таковое, если он не желает прослыть за «подозрительного».

В апреле 1794 г. 5-й Оазский батальон добровольцев находился в Маруале, готовясь снова перейти на стоянку в Ландреси. Президентом устроенного в Маруале клуба был поп-расстрига, он же и капитан этого батальона, командиром коего был некто Горуа (Horoy). Так как Горуа не посещал клуба, то на него был сделан донос, причем указывалось, что когда-то он был сержантом в королевской гвардии. Кроме того, расстрига, еще помнивший семинарскую латынь, указывал пресерьезно, что имя Горуа происходит от слов «Homo regis» и значит — «королевский человек», и что, следовательно, нет ничего удивительного, если лицо с такой фамилией имеет превратный образ мыслей. Капитан объяснял далее, что во времена освобождения крестьян от крепостной зависимости королям было необходимо для борьбы с дворянством создать род милиции, которая называлась просто «королевскими людьми». Фамилия Горуа была, вероятно, подобного происхождения, и не иначе как во внимание услуг, оказанных его родом королевству, нынешний батальонный командир мог попасть в привилегированные ряды гвардии. Чтобы спастись от последствий этого нелепого, но опасного доноса, Горуа, после некоторого колебания, уступил намекам начальства и принял предложенное ему имя Монтань (Горский), которым на будущее время и должен был подписывать все бумаги. Этот Горуа так навеки и остался Монтанем; под этим именем он принимал участие в итальянском походе, а затем нашел славную смерть при штурме Сен-Жан-д'Акра в Египетской экспедиции 1799 г.[242]

Святые, как сказано выше, были безжалостно изгнаны. Следующий, вполне, впрочем, достоверный анекдот служит недурной характеристикой современных нравов. К суду Революционного трибунала был привлечен некто де Сен-Сир. Председатель предлагает ему обычный вопрос о его имени и фамилии, и между ними происходит следующий разговор:

— Моя фамилия де Сен-Сир, — отвечает подсудимый.

— Нет более дворянства[243], — возражает председатель.

— В таком случае, значит, я Сен-Сир.

— Прошло время суеверия и святошества — нет более святых.

— Так я просто — Сир.

— Королевство со всеми его титулами пало навсегда, — следует опять ответ.

Тогда в голову подсудимого приходит блестящая мысль:

— В таком случае, — восклицает он, — у меня вовсе нет фамилии и я не подлежу закону. Я не что иное, как отвлеченность — абстракция; вы не подыщете закона, карающего отвлеченную идею. Вы должны меня оправдать!

Комичнее всего, что Трибунал, по-видимому озадаченный подобной аргументацией, действительно признал подсудимого невинным и вынес следующий приговор: «Гражданину Абстракции предлагается на будущее время избрать себе республиканское имя, если он не желает навлекать на себя дальнейших подозрений!»

Безобидный «король бобов», которого чествуют в праздник Крещения, тоже не нашел пощады у «чистокровных». Уже с января 1792 г., хотя Франция, по крайней мере номинально, была еще монархией, какой-то журналист заблаговестил отходную «царству» бобов.

«Революция, — пишет Прюдом, — ослабила этот застольный обычай[244]. Настоящий король так всем насолил, что патриоты не в состоянии уже веселиться и с «бобовым» — за рюмкой вина. Действительность так отвратительна, что над ней не хочется даже смеяться, а жаждешь только поскорее от нее избавиться. Да послужит падение бобового короля предвозвестником падения всех остальных»[245].

Пророчество не замедлило исполниться, а 30 декабря 1792 г. Генеральный совет Парижской коммуны, по предложению гражданина, бывшего графа, Сципиона Дюрура, по-

становил, чтобы Крещенский сочельник[246] был переименован в праздник санкюлотов!

«В добрый час, — говорит на другой день та же газета. — Но этого еще недостаточно. Если хотят уничтожить старый обычай, надо заменить его новым, не менее привлекательным. Если мы такие хорошие республиканцы, как уверяем, то оставим охрипших попов петь одиноко свои псалмы в честь трех царей востока. Уничтожим «бобовое царство», как это уже сделали с другим, и заменим его «пирогом равенства», а торжество Крещения — праздником «доброго соседства». Боб укажет соседа, у которого должно будет состояться братское пиршество на следующий год и на которое каждый может являться со своим блюдом».

17 нивоза II г. (6 января рабского стиля) Генеральный совет получил донос от членов Революционного комитета секции «Общего дома», которые считали своим долгом преследовать пирожников, изобличенных в печении и продаже «бобовых пирогов».

По этому случаю Шомет предложил направить дело в отношении политическом в Управление полиции безопасности, а по вопросу о злоупотреблении крупчатой мукой, которую «отнимают от народного продовольствия на лакомство чревоугодников», — в Продовольственную управу. Предложение это, поддержанное Гебером, было принято к исполнению.

Манюэль, выступивший с требованием об упразднении «праздника царей» как антигражданского и антиреволюционного, стал так ненавистен народу, который любил это семейное развлечение, что женщины в Сен-Жермене чуть было не повесили на фонаре какого-то мирного прохожего, имевшего несчастье походить на главного прокурора коммуны.

После термидорской реакции о преступном пироге более не вспоминали. Если порыться в донесениях «Бюро по надзору», то оказывается, что в IV г. (6 января 1796 г.), во время Директории, пирожники уже открыто продавали этот товар в Пале-Эгалите, где разгуливали щеголи-мюскадены и который мало-помалу стал принимать вид прежнего Пале-Рояля.

В театре Лувуа какой-то актер позволил себе намекнуть, «от себя», насчет празднования «бывшего пирога». Двое граждан из третьего яруса вздумали крикнуть: «Долой пирог!», но были тотчас же изгнаны вон из театра при оглушительных аплодисментах публики, кричавшей: «Долой якобинцев!»[247]

Но якобинцев уже не было, и с ними кончилась и великая борьба, в которой «гонение боба» было лишь одним из комических эпизодов.

Возвратимся еще раз к переменам имен и фамилий частными лицами. Декретом Конвента от 24 брюмера II г. (24 марта 1793 г.) было установлено, что каждый гражданин имеет право именоваться по своему усмотрению, сообразуясь лишь с формальностями, установленными на сей предмет в законе. Формальности эти состояли в явке местному муниципалитету с объявлением принимаемого нового имени. Это постановление было сделано по поводу заявления какой-то женщины, пожелавшей, как уже было упомянуто, принять имя Либерте (Свобода). Это имя, так же как и Эгалите (Равенство) и Фратерните (Братство), было в то время вообще очень распространено. Иногда ими не довольствовались, а снабжали еще приставками вроде: Ami de (Друг), что придавало имени полную патриотическую окраску и равнялось почти свидетельству в «гражданской добродетели». Имя Эгалите имело не меньший успех. Бывший священник из Луганса, гражданин Павел Метр (хозяин, владыка), огорченный тем, что рядом с именем апостола фанатизма у него и фамилия, оскорбляющая чувство равенства, объявил Генеральному совету своей коммуны, что он изменяет свою фамилию на Плеб-Эгаль (сокращенное Plebéien-Egalité), а вместо прежнего имени собственного принимает новое имя — Лукиана. Свое заявление он подписал так: «Лукиан Плеб-Эгаль — Метр в последний раз».

В это же время герцог Филипп Орлеанский, желая подделаться к республиканцам, снял со своего дворца украшавшие его лилии, составлявшие его родовой герб, и заявил перед Парижской коммуной ходатайство о дозволении принять имя Филиппа Эгалите, каковое и было пожаловано ему столичным

управлением взамен упраздненного титула и звания[248]. По этому поводу тотчас появился язвительный стишок:

Он то со своего герба снимает,
Чего ему на шкуре не хватает[249].

В подражание Филиппу Эгалите и все якобинцы приняли новые республиканские имена и фамилии. Вот отрывок речи, доставивший большинство голосов бывшему школьному учителю Шомету из Неверы при избрании его в прокуроры Парижской коммуны:

«Граждане! Прежде меня звали Пьер-Гаспар, потому что мой крестный отец верил в святых, но я, верующий только в революцию — ад всех тиранов и рабов, я принимаю имя святого, который был повешен за свои революционные принципы. Я назовусь Анаксагором»[250].

Какой-то санкюлот придумал назвать своего сына «Марат-Кутон-Пик»[251], и газеты превозносили разум и патриотизм отца, соединившего эти три имени, обозначающие «самый горячий гражданский долг и самую чистую добродетель».

Те же газеты сообщали, что министр Лебрен отличился, назвав одну из своих дочерей «Civilisation-Jemappes-Victoire-Republique (Цивилизация-Жемаппа[252]-Победа-Республика).

В книгах одной маленькой коммуны Сены-Лоарского департамента, а вероятно и в других местностях, значатся не менее диковинные имена: Клавдий-Игнатий-Вольный, Клавдий-Республиканец и т. п. Но это все еще не самые причудливые. Бывший член Законодательного собрания, некий Бижу, ставший членом департаментского Правления в департаменте Сены и Лоары в 1792 г., принял, со времени обнародования нового календаря, имя Айль-Паво (Чеснок-Мак).

Вондьер, председатель того же Правления, добавил к своему имени Блед-Фер[253], а его главный секретарь стал называться Хреном (Raifort) Мангэном.

В Лугансе гражданин Лашез переименовался в Рюбарба (Ревень). Масса детей получили имена Петиона[254], Марата или Робеспьера и еще чаще в честь его же — Максимилиана; других звали Националь-Пик, Фруктидор. Это имя можно было

еще недавно видеть на одной могильной плите Монмартрского кладбища. Секция «Нового Моста» сделала донос на викарного священника собора Парижской Богоматери, который отказался занести в метрические книги ребенка под именем Александра Понт-Нёф (Нового Моста). Гораздо более покладистым оказался тот прелат, который записал ребенка под мифологическим именем Феба — светила дня.

Имена Барла, Генриха, Людовика, Марии, Женевьевы и т. п. были строго воспрещены большинством республиканских муниципалитетов. Им предпочитали, казавшиеся вероятно более благозвучными, имена Бальзамина, Мака, Полыни, Тыквы, Золотарника и пр., заимствованные из языка овощей и цветов.

Даже названия фруктов подвергались той же участи. Любители обнаженных мифологических красот нарекли монтрейльские персики, известные под названием «кавалерских»[255], «Венериными сосцами».

Никакие доказательства чистоты республиканских убеждений не защищали никого от произвола и усмотрения народных временщиков. Самые почтенные семьи должны были подчиняться их требованиям. Господин Гарсен де Тасси, впоследствии бывший членом Французской академии наук, родившийся 20 января 1794 г., должен был получить имена: Жозеф-Илиодор-Сажес-Вертю (Joseph-Héliodore-Cagesse-Vertu, т. е. Иосиф-Илиодор-Мудрость-Добродетель), которые и были записаны в метрическую книгу гражданского состояния. Но одно из самых необыкновенных имен было наречено новорожденной дочери некоего Ляшо, родившейся в департаменте Верхних-Альп. Ее назвали Фитогинеантропой, что по-гречески значит «женщина, зачинающая мужей или воинов». Можно поручиться, что его носительница была не особенно довольна, когда поняла, каким посмешищем сделали ее без всякого с ее стороны участия ее почтенные родители.

Где-то есть рассказ, что во время религиозных преследований в Англии к канцлеру Томасу Мору привели однажды какого-то мятежника по имени Сильвер (Silver по-английски значит серебро).

— Сильвер, — сказал ему канцлер, желая дать понять о роде предстоящей ему смерти, — судя по твоему имени, ты не должен бояться огня?

— Напротив, ваша милость, — не задумываясь возражает Сильвер, — я еще жив, а «живое серебро» (ртуть) огня не выдерживает.

Говорят, будто это остроумное возражение спасло ему жизнь.

В 1793 г. священник Пюисской епархии, аббат Эксбрайя, спасся не менее ловко. Арестованный в качестве «подозрительного», он заметил, что, когда человек носит такую республиканскую фамилию, как его, то его нельзя беспокоить; что на древнегалльском наречии «Эксбрайя» значит «обнаженный», без нижнего платья, т. е. бесштанник, а следовательно, санкюлот, и что он происходит, вероятно, от какого-нибудь сподвижника Верцингеторикса, который, наверное, получил такое почетное прозвище за доблесть в борьбе с римскими легионами. Председатель департаментского Управления удовольствовался таким объяснением и отпустил арестанта на свободу. Присутствие духа спасло ему жизнь.

Страсть к смене имен, к счастью, продолжалась недолго и в непродолжительном времени не замедлили вернуться к прежним обычаям. Однако еще при консульстве правительство должно было циркулярами предписывать мэрам уничтожать в выдаваемых ими метрических выписках такие имена, как например: Республика, Цивилизация, Свобода (Republique, Civilisation, Liberté) или Кипарис, Лютик, Золотая-Пуговка, Огурчик-Корнишон и т. п. В царствование Луи-Филиппа пытались восстановить ради Эмиля Жирардена закон XI г. Противники оспаривали его право на имя, под которым он приобрел известность. Чтобы добиться его исключения из Палаты депутатов, они требовали наложения на него наказания на основании жерминальского закона, который, по заключению законоведов, никогда не был отменен. По-видимому, однако, гг. казуистам этого не удалось.

Закон XI г., каравший нарушителя (за присвоение чужого имени) шестью годами тюремного заключения, был изменен

законом 27 мая 1858 г., налагавшим взамен тюрьмы денежный штраф от 500 до 10 000 франков.

В настоящее время всякое требование об изменении фамилии должно быть припечатано в «Официальной газете» в Париже; затем в «Судебной газете» по месту рождения просителя и в «Ведомостях» по месту его жительства. Прошению дается ход не ранее как через три месяца после этих публикаций, и когда оно удовлетворяется, то о сем помещается в Законодательном бюллетене (собрании узаконений), но в законную силу это распоряжение входит только по истечении годового срока. Все заинтересованные в деле лица могут в течение этого времени протестовать, и, в случае возникновения подобных претензий, они поступают на рассмотрение Государственного совета.

Фамилия рассматривается как собственность семьи, которая ее носит. Никто не вправе ее отчуждать или передавать в пользование постороннему лицу без согласия всех членов рода, носящих фамильное имя.

Каждому дано прославлять свое имя по мере сил и способностей, не отражая этого блеска ни на кого, кроме разве случайных однофамильцев.

Отдел четвертый
Экстравагантности моды



Часто говорят о тирании моды. Но она особенно дает себя чувствовать в смутные времена, когда тот или иной костюм становится доказательством «гражданской добродетели», и всякий, кто не носит этого костюма, является уже «подозрительным». Понятно, как легко, вступая на подобный скользкий путь, впасть в чрезвычайные крайности.

Как и все виды умственной ненормальности, безумие моды также заразительно и подражательно[256]. Можно даже сказать, что в этой сфере, чем более какое-нибудь изощрение расходится со здравым смыслом, тем скорее оно прививается и распространяется.

Довольно для примера привести хотя бы успех, который, благодаря герцогине Шартрской, приобрели при Людовике XVI и Марии-Антуанетте головные уборы, известные под именем «сентиментальных пуфов»[257]. Они состояли из целой коллекции вещей, напоминавших интересное событие или любимых людей: жена моряка нагромождала на голову модель фрегата с развернутыми парусами; жена военного нацепляла целую крепость и прикалывала еще к волосам шпагу и крест Св. Людовика; иные украшали себе голову пятью-семью куклами, по числу своих детей. Герцогиня Лозен появилась однажды у маркизы дю Деффан с пуфом, представлявшим целый рельефный пейзаж: волнующееся море, плавающих у его берегов уток и охотника, прицеливающегося в них; увенчивала этот пуф мельница, у которой мельничиха кокетничала с аббатом, а внизу из-за уха виднелся мельник, ведущий осла.

Трудно себе вообразить, что представлял даже простой чепец того времени: «В глубине, на кресле, сидела женщина с грудным младенцем, изображающим герцога Валуа (Луи-Филиппа). Направо сидел попугай, любимая птица принцессы, и клевал вишни, налево виднелся маленький негр, также ее любимец. Свободные места были убраны пучками волос ее мужа, герцога Шартрского, ее отца, герцога Пантьеврского,

и ее свекра, герцога Орлеанского. Таков был убор, которым в один прекрасный день принцесса «украсила» себе голову.

Чепцы — «пуфы», чепцы — «английский парк», «ветряная мельница», «прекрасная курица» и «фрегат Юнона» были в особенно большом употреблении.

В 1775 г. однажды летом Мария-Антуанетта появилась в платье из темной шелковой тафты. «Это цвет блохи!» — воскликнул король. И слово и моду, конечно, подхватили, и весь двор оделся в «цвет блохи». Париж и провинция, натурально, спешили ему подражать[258].

Позднее в моду вошел серо-пепельный цвет, потому что волосы королевы были этого оттенка, и Марии-Антуанетте пришлось даже посылать пряди своих волос на гобеленовую и на лионские фабрики для образца, по которому вырабатывалась точная окраска материй.

Когда после родов у королевы стали выпадать волосы и она начала носить низкую прическу, и эта мода тотчас же привилась, и все дамы стали причесываться так же, что называлось причесываться «по-детски» (a l'enfant).

Связь моды с политикой начинается с 1787 г. В начале этого года стали носить жилеты «нотаблей», как намек на собрание, в котором председательствовал сам король. На них Людовик XVI и изображался восседающим на троне, причем в левой руке он держал свиток с надписью «Золотой век», а правой как будто шарил у себя в кармане. Это были уже, как видно, первые провозвестники карикатуры!

Когда кардинал де Роган был арестован и заключен в Бастилию, то парижские модистки в насмешку над королевой придумали дамскую шляпу, прозванную «Калиостро» или «Ожерелье Королевы»[259]. Так как она делалась из соломы цветов герба кардинала, то ее называли также шляпой «кардинала на соломе» и, чтобы разжалобить публику, распространяли слух, что его преосвященству приходится спать в тюрьме на соломе. Шляпа, кроме того, украшалась ожерельем, напоминавшим знаменитое ожерелье Бёмэра и Бессанжа.

Общественные классы с каждым днем начинают утрачивать прежние различия, и это тоже отражается на моде. Рыночные

торговки или, как их звали прежде, «пуасардки», становятся уже «дамами рынка» и являются приветствовать королевскую чету в Версале не в прежних своих костюмах, а разодетыми в модные шелковые платья, в кружевах и бриллиантах. Это было почти накануне взятия Бастилии[260], за два-три года до провозглашения «прав человека»[261]. После падения этого оплота самодержавных злоупотреблений революция окончательно наложила свой отпечаток на современные моды. Женщины начинают носить чепцы «Бастилии», забавное описание которых сохранилось для потомства в «Журнале роскоши и моды»; чепцы «гражданки» и «трех объединенных сословий»[262].

Спустя еще некоторое время в женском гардеробе появились «неглиже патриотки» и роскошный туалет «Конституции».

В «Журнале моды и вкуса» изображаются: важная дама в полосатом платье национальных цветов, монахиня, возвращенная в мир, в батистовом платье «весталки» и в головном уборе «страстей господних»; патриотка в мундире из синего сукна, ставшего новым королевским цветом, и в черной поярковой шляпе с трехцветным шнуром и кокардой. Редактор журнала отмечает не без грусти, что женщины «уже давно не носят более ни панье, ни карманов, ни подкладок». Прическа молодых людей становится очень простой; многие начинают стричься в кружок и вовсе не употребляют пудры...

«Для наших париков нужна пудра, — писал Жан-Жак-Руссо, — а у бедных поэтому не хватает хлеба». И светские женщины отказались от пудры, на которую шла мука. Даже актрисы последовали вскоре их примеру, так как Парижу угрожал голод и ужасное всеобщее банкротство.

Мода на короткие и гладкие волосы называлась революционной, так как, подобно платьям, и прически тоже были или патриотические или антиреволюционные. На аристократические балы и собрания кавалеры должны были еще являться причесанными «антиреволюционно», т. е. в мелко завитых, крепированных волосах, заканчивающихся двумя полукруглыми буклями, причем волосы спускались на лоб и разделялись прямым пробором, начинающимся от маковки[263].

Начиная с 1790 г. роялистская молодежь, не последовавшая за принцами в Кобленц[264], проявляла оппозиционное направление даже в костюме. Убежденные аристократы одевались только в черное, как бы нося траур по монархии. По словам одного современного журнала[265], после костюма «полуобращенного», состоявшего из пестрого сюртука с воротником другого, яркого цвета, они стали носить открытые фраки при «монархических»[266] жилетах, на которых часто бросались в глаза вышитые щитки с тремя королевскими лилиями под короной на белом поле[267].

Однако более значительные изменения в моде начались только в 1790 г., когда «рабы предрассудков, упорно продолжавшие носить на своих плечах и спинах позорные знаки холопства», дают, наконец, при помощи «палочных ударов» убедить себя, что и они тоже граждане и сыны отечества[268].

В этом году все внимание женщин отдано исключительно национальному мундиру, и в порыве патриотизма они переделывают даже свои шляпы на фасон касок[269].

Тогда же все модницы, принесшие на алтарь отечества всевозможные медальоны, цепочки, коробочки для мушек, ожерелья, серьги и вообще всякого рода драгоценности, начинают носить «рокамболи» с конституционными бриллиантами», т. е. кольца с камнями Бастилии; появляются также гладкие «гражданские, или национальные» кольца, вроде обручальных, с синей и белой эмалью с золотом и с девизом «Нация, Закон и Король»; затем следуют конституционные серьги из белого стекла под горный хрусталь с одним выгравированным на них словом, резюмирующим все чувства: «Отечество».

Это была эпоха, когда госпожа Жанлис носила вместо всяких украшений только один медальон из полированного бастильского камня. В середине медальона бриллиантами изображено было слово «Свобода». Сверху блистало бриллиантовое изображение планеты, сиявшей в день 14 июля, снизу — Луна, в той фазе, в которой она находилась в этот достопамятный день. Медальон был окружен лавровым венком из изумрудов, с прикрепленной к нему национальной кокардой из трехцветных драгоценных камней[270].

Но госпожа Жанлис с ее монархическими симпатиями не может служить образцом республиканской умеренности; истинная республиканка Тероань де-Мерикур совсем перестала носить всякие драгоценности, она сначала, по необходимости, отнесла их в ломбард, а потом отдала их просто на сохранение банкиру, желая этим дать понять свои республиканские чувства и взгляды.

Золото, однако, не замедлило вновь появиться: «гражданственные» гладкие кольца вроде обручальных, но покрытые изнутри эмалью трех символических цветов, сменились кольцами «национальными», которые дарились друг другу на новый год[271].

Появляются снова стальные украшения, бывшие в большой моде при Людовике XVI. В виде протеста аристократы начинают носить черепаховые колечки с надписью «Боже, храни короля» (Domine, salvum fac regem); иногда эта надпись делалась в виде золотой насечки[272].

Со своей стороны, щеголи-республиканцы носили серьги «с красным колпачком», которые держались в моде несколько лет подряд. В начале Директории мужчины носили эти маленькие красные колпачки в петличке вроде ордена или в виде запонок при рубашке. Женщины тоже украшали себя булавками и брошками с красными колпачками[273].

Веера также применялись к господствующему вкусу; пастушечьи и мифологические сцены должны были уступить место портретам знаменитостей или изображению великих событий[274].

На выставках, в окнах магазинов появились веера с изображениями открытия Генеральных штатов, Учредительного и Национального собраний, дня 17 июня и т. п. На веере «Мирабо» посередине был изображен его бюст, под которым значились его известные слова: «Я буду биться с изменниками всех партий». С обеих сторон два медальона представляли наиболее выдающиеся эпизоды из политической жизни этого народного трибуна[275].

Спустя некоторое время пошла мода на веера, покрытые денежными ассигнациями. Потом появились веера «Нации» из

легкой материи, на которой наклеивались простые раскрашенные гравюрки, большей частью работы Лебо, с крестообразно сложенными лопатой и граблями и с девизом «Смерть или Свобода», а иногда с патриотическими сценами и соответствующими стихами[276]. Впоследствии появилось немало и всяких других.

В 1792 г., когда Ролан, только что назначенный министром, явился во дворец в башмаках со шнуровкой вместо пряжек, как того требовал этикет, это вызвало всеобщее изумление. Церемониймейстер едва не заболел, у него сразу пропал голос. Он мог только указать рукой на эту ужасную обувь находившемуся тут же Дюмурье[277]. «Увы! Все погибло», — отвечал ему с участием последний. Если бы тот же церемониймейстер был дежурным и 20 июня того же года, как изумился бы он при появлении во дворце народных победителей в длинных штанах, фуфайках и красных колпаках и увидев этот же колпак на голове у самого короля?[278]

Любопытно происхождение этого чисто революционного головного убора[279].

По закону об амнистии 28 марта 1792 г. были освобождены швейцарцы Шатовьёского полка, присужденные к каторжным работам за бунт в Нанси. Их с торжеством привезли в Париж. У большей части на головах еще были вязаные галерные колпаки из красной шерсти, напоминавшие шапки древнеримских вольноотпущенников.

В воспоминание этого события восторженное население парижских предместий стало носить такие же красные колпаки. До этого же времени красный колпак был скорее эмблемой бесчестия, так как составлял принадлежность арестантского одеяния.

Рабочие носили обыкновенно длинные панталоны из грубой шерстяной материи; теперь их начали делать трехцветными, и их стала носить и буржуазия. Костюм «доброго» гражданина состоял, кроме того, из карманьолы[280] или, смотря по времени года, из «хупеланды». Последняя представляла собой широкий сюртук из серого или коричневого драпа, с отворотами и откладным воротником красного плюша. Жилет был иногда трехцветный, но чаще одинаковый с сюртуком.

Необходимой принадлежностью костюма был шелковый или кисейный шарф, небрежно повязанный на шее. Некоторые носили фригийские колпаки, другие трехугольные шляпы или же высокие круглые цилиндры. В качестве обуви употреблялись или деревянные башмаки — сабо, или же высокие сапоги с цветными отворотами.

Члены Генерального совета Парижской коммуны надели все без малейших колебаний красный колпак; в бримере месяце II г. едва не было установлено присвоить его даже исключительно выборным властям при исполнении ими служебных обязанностей, так как многие аристократы надевали его и пользовались этой эмблемой свободы, чтобы «оскорблять» патриотов, но Коммуна ограничилась лишь воспрещением черных якобинских[281] париков, которые надевались некоторыми, чтобы то представляться старыми республиканцами, то снова превращаться в современных франтов-«мюскаденов»;[282] Конвент, конечно, должен был последовать по намеченному таким образом пути. Бывший капуцин Шабо, в то время еще не попавший в родство к «якобы богатейшему» банкиру Фрею, явился однажды в заседание Конвента в костюме санкюлота, тщательно лишь пряча красный колпак. Представитель департамента Марны, по имени д'Арнувиль, имел достаточно гражданского мужества, чтобы даже войти однажды на трибуну с таким колпаком на голове, но вследствие протестов со стороны всего собрания должен был его снять. Тогда он надел его на стоявший у него под рукой бюст Марата.

Депутат Сержан выставил костюм санкюлота в Салоне 1793 г., снабдив его такой надписью: «Будничное платье крестьян и городских рабочих. Между гражданами не должно было бы быть никакого различия, кроме качества материи. Его следовало бы носить лишь с 21-го года, и оно таким образом явилось бы тогой зрелости».

Женщины тоже пробовали носить костюмы в подобном роде. По рукам ходили гравюры «свободных» француженок в виде амазонок, Беллон — богинь войны и просто хорошеньких «санкюлоток — 10 августа»[283]. Их прически «Жертв» (a la Sacrifiée) придавали им вид приговоренных к смерти и уже

приготовившихся к казни. Шляпки — «слуховым оконцем» (à la lucarne), должны были напоминать гильотину. Интересно отметить, насколько женщины любили забавляться этим мрачным орудием, оказавшимся впоследствии роковым для многих из них. Льежская красавица Тероань[284] руководила народными движениями, облаченная в ярко-красное платье, в шляпе с большим султаном из черных перьев и с саблей на перевязи. «Вот она, — говорит Лертюлье[285], — эта лихая амазонка в шляпе Генриха IV, сдвинутой на ухо, с длинной саблей на боку, при двух пистолетах за поясом и с хлыстом с золотым набалдашником, в котором были флаконы с солями на случай обморока и с духами против народного аромата». Эта последняя черта довольно характерна для «народницы»!

Тероань не была, впрочем, единственной в своем роде, у нее вскоре оказались подражательницы: 27 брюмера II г. (25 ноября 1793 г.) толпа женщин в фригийских колпаках, в длинных панталонах вместо юбок и с пистолетами за поясами явилась в Коммунальный совет... Их приняли здесь довольно холодно, а прокурор Шомет сделал им даже в мягких выражениях внушение.

Его удачная импровизация имела тогда большой успех в публике. «Неосторожные женщины, желающие превратиться в мужчин, — сказал он им между прочим, — не довольно ли вам того, что вы уже имеете? Чего вам еще больше нужно? Вы владеете нашими сердцами и чувствами; и законодатель, и судья — все у ваших ног; ваше иго осталось единственным, которого мы не в силах свергнуть, ибо оно есть иго любви, а следовательно, дело природы. Во имя этой природы заклинаю вас оставаться тем, что вы есть и, не завидуя опасностям нашей бурной жизни, довольствоваться сознанием, что вы заставляете нас забывать о них на лоне семьи, лаская наши взоры восхитительным зрелищем наших детей, осчастливленных вашими нежными заботами».

Эта, в сущности довольно резонная, речь произвела неожиданное впечатление: санкюлоты прекрасного пола удалились с поникшими головами и, по-видимому, несколько сконфуженные своим новомодным костюмом.

Конечно, реакция в сторону эстетики была неминуема. Врожденный вкус, отличающий французов, и в особенности француженок, не мог не воскреснуть. Инициативу реформы костюма взяли на себя художники.

Республиканское художественное общество включило вопрос о костюме в свою программу, и тотчас же начали появляться самые разнообразные проекты.

Один из членов общества заявил, что современный костюм не достоин свободного человека и подлежит замене другим, более приличным и удобным.

Другой признавал, что действительно, в мужском костюме должны быть произведены большие изменения, но что в женском, напротив, изменять почти нечего, кроме «косынок, смешно вздувающихся и скрывающих приятнейшие для глаза женские прелести, а также странных причесок». Было решено объявить модный конкурс. В другом заседании какая-то гражданка, заявившая себя «другом природы», энергично восстала против употребления корсетов и требовала их отмены, а некая «мать семейства» предложила вернуться к античному наряду.

Последний за несколько лет перед тем уже появился на сцене: с 1788 г. Тальма начал носить римскую тогу. В следующем году госпожи Рекур в роли Медеи, Конта в роли Сусанны, Вестрис в Полиевкте, Майляр, Дюгазон и многие другие тоже стали облачаться в хламиды и пеплумы. В античных же костюмах участвовали артисты и на торжестве перенесения останков Вольтера. Вначале случайная, эта мода через несколько лет становится постоянной; но все же надо было наступить эпохе Директории с распущенностью нравов, которая расцвела при ней, чтобы, наконец, совершилась полная эволюция женских туалетов[286].

Как бы то ни было, а реформа костюма была уже положительно на очереди. Она озабочивала даже такие собрания, которые обыкновенно занимались более важными вопросами. Комитет общественного спасения в заседании от 25 флореаля II г. издал постановление с целью улучшения национального костюма, причем живописцу Давиду было поручено составление соответствующих проектов. Его задачей было приспо-

собить новый костюм к республиканским нравам и характеру революции. Давид исполнил несколько рисунков, которые были гравированы Деноном, а именно: домашнее платье для французского гражданина, штатское платье для него же, мундиры для законодателей, для народных представителей, состоящих при армии и пр. Хотя его гражданскому платью и нельзя было отказать в гигиеничности и даже в живописности, но оно, однако, не понравилось 9-му термидору и с падением Робеспьера сошло со сцены вместе с санкюлотским.

За несколько недель до падения диктатора в обществе наступил период какого-то оцепенения вроде апатии; это было, точно затишье перед бурей.

Действительно, время между 22 прериаля и 9 термидора характеризуется странным отсутствием роскоши в туалетах. «Несколько лоскутов лент составляли все украшение...». Роскошь появлялась вновь, по мере того как люди, нажившиеся во время революции, набирались смелости, чтобы пустить в ход свои деньги. Республиканские моды, перенесенные перед этим по ту сторону пролива — в Англию, возвращались на континент, приспособленные портнихами-эмигрантками к английской роскоши[287]. «Мюскадэны»[288] опять заняли первое место в обществе. Жабо и короткие панталоны с розетками окончательно вытеснили длинные брюки и карманьолу[289].

Господство террора отжило свой век. Миновал день, когда в Коммуне кричали, что стыдно иметь две пары платья, в то время как солдаты ходят голые[290], и когда все, имевшие по две перемены, дрожали за свою шкуру; когда проконсул Арраса, Лебон, одеваясь в платье очень тонкого сукна, шелковую куртку и штаны из той же материи, которые ему покупала его мать, испытывал угрызения совести при мысли, что тысячи таких же человеческих существ, как он, умирали в это время от голода в жалких лохмотьях; и когда, наконец, оставшиеся в Париже придворные франты, спасая свою жизнь, придавали себе ужасный вид, расхаживая напоказ на стоптанных каблуках, небритые, в огромных усищах, волоча за собой звонкую саблю, с патриотической носогрейкой в зубах и красным колпаком на голове[291].

Теперь стали охотно забывать пущенную в ход патриотами довольно мрачную моду употреблять для писем печати с изображением гильотины[292].

Женщины-франтихи теперь краснели при одной мысли, что в эпоху «подозрений и страха» они могли украшать свои изящные пальцы кольцами «Марата»[293] из красной меди со штампованной серебряной пластинкой, представлявшей трех мучеников свободы: Марата, Шалье и Лепельтье де Сен-Фаржо. Эти кольца, впрочем, портили только белые ручки аристократов, потому что население предместий ими пренебрегало и не считало вовсе нужным их носить. «Мы не употребляем миндальных притираний, — писал “Дядя Дюшен”, — на наших руках, покрытых ссадинами и мозолями открыто отпечатан труд».

В самый разгар террора неутомимая деятельность «головорубной машины» внушила некоторым женщинам непонятную страсть носить в ушах маленькие гильотинки наподобие тех, которые их мужья вырезали на своих печатях. Скажем, однако, в их защиту, что Мерсье, первый сообщивший об этом в своем «Новом Париже», удостоверяет, что парижанки отказались последовать этой глупой моде. Такие серьги одевались только на балы, дававшиеся Карье в Нанте, и то потому, что диктатор предписывал ношение их своим гостям. Они имели форму гильотины, с подвеской, представлявшей отрубленную голову в короне[294].

Большей частью эти серьги были так длинны, что доходили до плеч; они представляли иногда и не гильотину, а разные инструменты: уровни, эккеры или маленькие шлюзы и воротца с малорадостным девизом: «Свобода, Равенство или Смерть».

Но все это было только точно дурным сном, и кошмар быстро прошел. Следует ли из этого, что моды, появившиеся вслед за революционным костюмом, не подавали более повода к насмешкам? Тогдашние гравюры и карикатуры говорят противное. Впрочем, послушаем лучше критика той эпохи; никогда еще бич сатиры, может быть, не разил так метко и искусно.

«Вот появляется, прежде всего, одно из тех существ, которых прежде называли фатами, а ныне означают кличкой

мюскадэнов... Знаете ли вы, почему этот, с позволения сказать, гражданин так раскачивается и выступает такими мелкими шажками? Он не мог бы ускорить шага, не рискуя разорвать надвое ту принадлежность своего костюма, назначение которой — оставаться единой... А эта пудра, которой убелены его волосы, этот маленький хвостик на фраке причудливого фасона, этот галстук со вздутым бантом, этот жилет, едва доходящий до конца груди, эти башмаки, едва прикрывающие пальцы ног и в которых тем не менее он все же испытывает мучительную пытку?.. А эта куртка, едва доходящая до поясницы? Находите ли вы столь краткие одежды грациозными и живописными?..». Затем наступает черед женщин, которых безжалостный сатирик бичует столь же немилосердно.

«С некоторых пор у них явилась пресмешная мода прятать свои волосы под париками, окрашенными в разные цвета. Длинное платье, все в складках, покрывает всю их фигуру и повязывается одним только поясом повыше груди. Наверно, это кормилицы? Посмотрите, как торчат у них груди!.. Ничуть. Это, изволите ли видеть, — просто юные особы, ищущие мужей; все они только и стараются, как бы попышнее вздуть складки своих платьев... Вот как у нас нынче злоупотребляют самыми разумными модами...»[295].

«Разумные моды»! Не дерет ли уха сочетание этих двух слов?

Но, строго говоря, все же еще большой вопрос, вправе ли мы утверждать, что моды этого периода революции были уж так особенно эксцентричны? Приходится отвечать на это отрицательно, когда посмотришь, до чего они дошли немного позже, во времена Директории. До полного апогея извращенности мода достигла именно лишь при бесстыдной распущенности этого благословенного... для мужчин времени, и, чтобы судить о ней, довольно вспомнить куплеты тогдашней модной уличной песни[296]:

Когда Свобода — наш девиз, —
Костюмы все приличны,
Все, — если скинем: сверху — вниз
И то будет отлично...

Отдел пятый
Фанатизм языка



Глава I. Уравнительное «ты»

Революция отразилась не только на учреждениях и на людях, но и на самом языке. Изменения, которым подверглась разговорная речь с 1789 по 1795 г., могли бы послужить любопытным материалом для подробного исследования. При этом встретилось бы наверное немало образных слов и выражений, имевших лишь временное значение и ненадолго пережививших события, их создавшие. В то время как многие слова были заимствованы из иностранных языков, другие просто изменили свое первоначальное значение, а затем благодаря долгому их употреблению в этом новом смысле так и остались измененными навсегда: слова budget (бюджет), motion, (толчок, предложение), club (клуб) и многие другие перешли из Англии и вошли во французский язык окончательно; другие — французского происхождения, как, например, constitution (конституция), convention (конвент), aristocrate (аристократ) стали пониматься в смысле, отличном от того, который они имели прежде. Кроме того, образовалось множество и совсем новых терминов, как-то: revolutionner (революционерить), lanterner (вешать на фонарях — фонарить), septembriser, semptembriseur (сентябризировать, сентябрист), guillotine, guillotineur, regicide et sans-culotte (гильотина, гильотинировать, цареубийца и санкюлот); они появлялись постоянно в листках того времени, выражая характер и направление этой прессы. Санкюлотный говор-жаргон стал обязательным для всех. Обязательным стало вскоре и обращение на «ты». Пятнадцатилетний юноша без церемонии «тыкал» восьмидесятилетнему старцу, ученик — профессору, прислуга — барину. Письма к министрам начинались словами «гражданин-министр», а далее уже было обязательно писать прямо на «ты». Это нивелирующее обращение привилось, собственно говоря, лишь в 1793 г., но первый пример подобного отношения низших к высшим наблюдался еще года за три перед этим. Накануне

демократического торжества, праздника Федерации, фанатик революции Николай Бонвиль, редактор сатирического журнала «Железная пасть» (La Bouche de Fer), написал открытое письмо Людовику XVI, приглашая его примкнуть к народному делу. В этом странном послании, помеченном 6 июля того же года, обращаясь весьма фамильярно к монарху, авторитет и престиж которого, под влиянием новых идей, падали с каждым днем, автор писал: «Ты лишь один во всем государстве не слыхал падения Бастилии, всколыхнувшего весь мир и пошатнувшего все троны земные. Еще не поздно исправить ошибки твоего развратного воспитания и избавиться с помощью своего вооруженного народа от тирании придворных, у которых ты сам лишь первый раб... Народ сумел отделить государя, в достоинство которого он верит, от шайки его вероломных слуг... Сумей же и ты, в свою очередь, понять различие между поведением, достойным неприкосновенного короля, и разными мелкими, но раздражающими интригами, служащими лишь частным интересам»[297].

До того обращение на «ты» к королю было привилегией одних поэтов, но, например, в словах Буало, обращенных к Людовику XIV, не слышно, конечно, ни тени презрения или фамильярности, когда он говорит:

Король великий, прекрати победы!
Иль я писанья прекращу...

Пример Бонвиля остался, впрочем, одинок; обращение на «ты» в то время еще не проникло в массы и стало всеобщим лишь тремя годами позже[298].

Вследствие ходатайства депутации от народных обществ Парижа Конвент полуофициально санкционировал всеобщее уравнительное обращение на «ты». Основы нашего языка (так говорил один из членов депутации) должны нам быть столь же дороги, как и законы нашей республики. Мы различаем три лица в единственном числе и три во множественном, но, вопреки этому правилу, дух фанатизма, гордости и феодализма приучил нас при обращении к одному лицу употреблять множественное число. «Результатом этой неправильности

является немало зол: она ставит преграду развитию санкюлотов, поддерживает спесь в людях развращенных и под видом уважения является в сущности лестью, подрывающей основы братства. Когда эти соображения были сообщены всем народным обществам, то последние единодушно постановили ходатайствовать перед вами об издании закона против этого превратного обычая. Первым благом, которое явится результатом этой реформы, будет утверждение действительного равенства, так как люди не будут впредь считать себя выше, говоря санкюлоту «ты», когда последний будет отвечать тоже на «ты», а вследствие этого уменьшатся гордость, различие между людьми изгладится, исчезнет враждебность, усилится видимая близость, увеличится стремление к братству, а следовательно, и к равенству»[299]. Делегат в конце своей речи просил издания декрета, которым бы всем республиканцам под страхом объявления их «подозрительными» и «льстецами» предписывалось обращаться на «ты» ко всем без различия мужчинам и женщинам, когда они будут в единственном числе. По предложению Филиппа решено было напечатать эту речь в официальном бюллетене с почетным отзывом Конвента. Другой делегат предлагал, чтобы словом «вы» обозначать аристократов взамен употреблявшегося слова «господин» (monsieur). Но это предложение было отклонено[300]. С этого времени обращение на «ты» приобрело право гражданства в революционной речи. Конвент допустил его употребление.

Последствия такого постановления не замедлили скоро проявиться: представители Конвента, получавшие от него особые поручения, в своих обращениях к местным властям[301] отказываются первые от устаревших формул обращения и заменяют их новыми, более соответствующими принципам равенства. Обыкновенные граждане становятся на равную ногу с членами парижской Коммуны[302], обращаясь к ним запросто — на «ты».

Этот гражданский обычай был усвоен тем охотнее, что напоминал обычаи древних римлян, у коих другого обращения не было. В эпоху революции античной жизни подражали даже в мелочах. Революционеры того времени заимствовали таким

образом у древних не только их героев, имена, костюмы, но даже и самую грамматику. Как могли бы Катоны, Бруты и Цицероны 1793 г. говорить «вы» своим согражданам, когда их прообразы с римской трибуны гремели своими «tu quoque»[303]. В подобных случаях всегда интересно мнение современника. В своем «Деревенском листке» (Feuille villageoise) публицист Жэнгэне (Ginguené) писал 2 января 1795 г. (Тридник, 13 нивоза II г.): «Вывод одинаков как с точки зрения разума, так и с точки зрения равенства: только глупейшая привычка может заставлять говорить во множественном числе, когда обращаешься к одному человеку. Конвенту было предложено издать по этому поводу особый декрет, но Конвент, считая французов достаточно взрослыми, нашел, что они и сами могут преподать себе этот урок. В Конвенте, в клубе якобинцев, во всех народных обществах, в секционных собраниях, в департаментах, в Коммуне, в министерских канцеляриях, во всех управлениях уже обращаются на «ты», и скоро «ты» будет господствовать повсюду. Греки и римляне не воображали, что, обращаясь к одному человеку во множественном числе, они этим могут выказать ему уважение. Наши предки, создававшие наш язык, были феодалами, аристократами. Теперь аристократии уже нет. Приличная фамильярность дает тон истинному равенству. Можно обращаться со всеми на «ты», никого не оскорбляя, и братские слова «ты» и «тебя» должны всегда произноситься не грубо и обидно, а с дружеским братским чувством. Когда истинные «санкюлоты и так называемые «люди общества» (gens comme il faut), если они еще уцелеют надолго, будут говорить друг другу «ты», то первый повысится, а второй снизойдет, и таким образом оба приблизятся к одному и тому же демократическому уровню».

Не прошло и года, как этот сторонник уравнительного «ты» уже сознается в своем разочаровании:

«В прошлом году я увлекался, проповедуя всеобщее «ты», его братским характером. Но слова «ты» и «тебя» воцарились, не принеся желанного братства; напротив, обращение на «ты» стало как бы неразлучным с грубостью. Два негодяя: один просто вооруженный разбойник, какие встречаются разве

в лесах, а другой — лакей какой-то робеспьеровской ханжи, ворвались в мое мирное жилище, чтобы арестовать меня; они говорили «ты» мне, моей жене и нашей робкой честной служанке, и никакого братства я в этом не увидел. Мне грубо говорили «ты» потом в Революционном комитете, а затем и в Сен-Лазарской тюрьме привратник Семэ с его ужасным преемником Вернеем, и надзиратели, и полицейский Берго, и комиссар Тюремной народной комиссии; мне предстояло бы еще услышать это «ты» и от негодяя Дюма, а пожалуй, и от достойного исполнителя его повелений — палача, как это было с десятками моих бедных невинных товарищей 6, 7 и 8 термидора. К моему счастью переворот 9 термидора помешал окончанию этого опыта. Поразмыслив теперь о местоимении «ты», я стал склоняться на сторону «вы», с которым, впрочем, никогда окончательно не расходился.

Как тогда, так и теперь я отвечаю на «ты», когда мне говорят «ты», и на «вы», когда ко мне обращаются на «вы».

Многие воображают, что слово «ты» служит проявлением самого чистого и пылкого патриотизма, но это люди, которые, не сделав ни шага вперед, думают, что уже достигли цели».

Жэнгэне, конечно, был не единственный разочарованный республиканец, заметивший, хотя и поздновато, что республика понадобилась не для одного лишь разрушения старого порядка, а и для создания чего-либо нового взамен.

Театр, всегда верно отражающий действительность, откликнулся, конечно, на это нововведение, но не для того, однако, чтобы высмеять его, а напротив, с целью его популяризировать. 3 нивоза II г. в Национальном театре шла пьеса «Совершенное равенство, или «Ты и тебя». В первой же сцене автор устами одного из действующих лиц говорит: «Для обеспечения равенства между братьями-республиканцами мы требуем, чтобы впредь все были между собой на «ты». Во втором явлении барин долго учит своего слугу, как употреблять слова «гражданин» и «ты»[304].

Вступив на такой путь, реформаторы не могли уже остановиться. Из условного и допустимого вскоре «ты» не замедляет стать обязательным[305].

Для сомневающихся в этом приведем нижеследующий документ. Это выдержка из протоколов заседания Революционного комитета департамента Тарн от 24 брюмера II г. республики (1793 г.). «Революционный комитет, видя главное свое назначение в уничтожении злоупотреблений старого режима и признавая,

1) что замена слова «ты» словом «вы» при обращении к одному лицу, в смысле установления внешних признаков: с одной стороны, превосходства, а с другой — приниженности, является вопиющей несправедливостью;

2) что вечные принципы равенства не допускают, чтобы гражданин обращался к другому на «вы», а в ответ от него получал бы «ты»;

3) что слово «вы», обращенное к одному лицу, нарушая незыблемые законы разума, противно не только здравому смыслу, но и строгой правдивости, так как одно лицо не может быть одновременно несколькими лицами;

4) что в языках свободных народов никогда не допускалось нелепого обращения на «вы», когда речь шла об одном лице и, наконец,

5) что язык возрожденного народа должен быть не рабским, как был прежде, а являться внешним признаком и гарантией народного возрождения; — постановляет:

Статья I. Слово «вы» в местоимениях и в глаголах, когда речь идет об одном лице, изгнать из языка свободных французов и во всех случаях заменить словом «ты».

II. Во всех актах, как публичных, так и частных, ставить, когда речь идет об одном лице, вместо «вы» слово «ты».

III. Настоящее постановление отпечатать, опубликовать и разослать всем народным обществам и правительственным учреждениям Тарнского департамента»[306].

Весьма вероятно, что это не единственный образец официальной расправы наших предков с нашим языком.

Обращение на «ты» долго сохранялось в революционной армии[307]. Генерал Бигарре говорит в своих мемуарах, что «если бы офицер или солдат осмелился обратиться к адъютанту не на «ты», то последний проткнул бы его палашом». Наполео-

ну нелегко было вывести из употребления этот обычай. Некоторые из его маршалов, между прочим и Ланн, не переставали обращаться даже к нему самому на «ты». Старые вояки, говоря со «стриженым малым» (petit tondu), нередко забывали о придворном этикете.

Иные времена — иные нравы: во время реставрации, по словам генерала Ламарка[308], он был свидетелем, как старый гренадер потому только ушел со службы в отставку, что какой-то подпрапорщик обращался с ним на «ты».

«Если бы он еще ломал со мною походы и слышал бы со мной свист ядер, я бы ему простил, но ведь он молокосос!».

На это юнец мог бы возразить, что, говоря старику «ты», он только подчинялся чистейшим традициям Великой французской революции.

Глава II. Возникновение слова «гражданин»

Один довольно остроумный поэт написал в счастливый момент вдохновения стихи, последняя строфа которых вошла в поговорку:

…Я рабства не терплю,
Но старую привычку по-прежнему люблю;
Искоренять ее не вижу я причин:
Зовись ты «господин», но сам будь гражданин[309].

Было, однако, время, когда такой компромисс пришелся бы не по вкусу народным властителям, и не в меру сговорчивому поэту пришлось бы дорого искупить подобную вольность, которую сочли бы тогда преступлением против нации.

21 августа 1792 г. Парижская коммуна издала постановление, которым отменяла названия «господин» и «госпожа» (monsieur et madame) и заменяла их более демократическими терминами: «гражданин» и «гражданка» (citoyen et citoyenne). На следующий день после провозглашения республики президент Петион, принимая депутацию из 150 стрелков от вольной дружины, присягнувшей на оружии не возвращаться, не победив врагов свободы и равенства, сказал им следующее: «Граждане, Национальное собрание, доверяя вашему мужеству, принимает вашу присягу и т. д.».

С этого момента слово «гражданин» стало общеупотребительным в прениях между депутатами и в сношениях министров с президентом Собрания.

Иные, не обнаруживая своего несогласия с этим новым порядком, вносили в него, однако, некоторое, едва, впрочем, заметное, различие.

«Наряду с аристократией феодального строя, — по словам “Французского патриота”, органа жирондиста Бриссо, — стоит и аристократия буржуазная, которая доныне вовсе не уничтожена. Чванство наших граждан еще различает оттенки между словами “милостивый государь”, “сударь” и “именуемый” (Monsieur, sieur, nommé). В них есть градации, к которым чутко прислушивается щепетильная буржуазия. Национальный конвент, который должен окончательно вымести эти несчастные остатки старого режима, не допуская титула “господин”, заменяет его словом “гражданин”. Но и при таком величании еще могут быть различия: это звание будут придавать лицам, занимающим известное положение и имеющим известное состояние, и все-таки откажут в нем трудящемуся поденщику или почтенному бедняку.

Затем самое слово “гражданин” — слово священное, им не следует злоупотреблять, а разве можно, не краснея, приставить его к некоторым именам? Разумеется, охотно скажешь вместе с вами: гражданин Петион, гражданин Кондорсе, — но какой патриот решится сказать: гражданин Марат, гражданин Мори? Такие же республиканцы, как римляне, и даже свободнее их, будем же не менее их и добродетельны и последуем их примеру. Упраздним вовсе и окончательно всякие титулы и станем говорить кратко и просто: Петион, Кондорсе, Пайн, подобно тому как в Риме говорили: Катон, Цицерон, Брут, а если эта простота вам покажется резкой или преждевременной, то отложим ее до другого времени, но вместе с тем отложим тогда и республику»[310].

Невзирая на такое мнение Бриссо, слово «гражданин» продолжало применяться ко всем без различия; даже женщин называли не иначе как «гражданками»[311].

Слову «гражданин» повезло[312], потому что оно дожило до Директории, которая даже зорко следила за его сохранением.

Некоторые чиновники, по-видимому, начали уже позволять себе употреблять слово «господин» вместо «гражданина». «Понимая все влияние, которое нередко слова имеют на дела», Директория всполошилась и немедленно издала следующий декрет:

«Желающие “господинничать” (monsieuriser) пусть отправляются в те кружки, где допускается такое обращение, но эти личности должны прежде отказаться от службы республике»[313].

Этот декрет издан в IV г. и подписан Карно. Та же Директория (хотя и не те же директора) декретом от 6 брюмера VI г., под угрозой увольнения от должности воспретила всем военным, не исключая даже генералов, отвечать на письма, в которых их именовали бы иначе, чем гражданами. Военный министр Шерер в своем письме к Бернонвиллю с приложением означенного декрета предписывает опубликовать его в приказе по войскам и затем доносить в министерство о нарушениях декрета, если таковые обнаружатся[314].

Оправдали ли эти строгие меры возлагавшиеся на них надежды и почувствовались ли в обществе результаты этого социально-политического преобразования? Во всяком случае в VIII г. старинные «заблуждения» всплывают вновь, и архаические формы вежливости начинают получать права гражданства, невзирая на все меры, принимавшиеся властями.

Следующий отрывок, принадлежащий перу одного из старшин присяжных заседателей и адресованный на имя «гражданина-министра внутренних дел» от 20 плювиоза VIII г., служит иллюстрацией такого положения дела.

«Все французы делятся на граждан добрых и дурных. Чем более вторые презирают свое звание, тем более им гордятся первые. Если бы жил Мольер, этот великий поэт, прекрасно понимавший и изображавший натуру, заблуждения и смешные стороны людей, то и он, наверное, старался бы вывести из употребления наименования «господин» и «госпожа», столь ласкающие слух врагов революции и столь оскорбляющие слух добрых республиканцев.

К сожалению, эти наименования доныне употребляются даже в публичных актах и на сенаторской трибуне. Войдите в любое присутственное место, которое было неоднократно обещано очистить, но которое еще ни разу как следует не испытало этой чистки, и вы увидите повсюду объявление: «Здесь нет другого наименования, кроме слова гражданин».

Но попробуйте ему поверить, и вас решительно никто не поймет, а в лучшем случае вам послужит ответом сострадательная усмешка — вот все, чего вы здесь добьетесь. Во многих войсковых частях бывшие сержанты, бригадиры и барабанщики 1789 г., произведенные благодаря революции в штаб-офицерские чины, все тоже величают друг друга господами!

Этому скандалу можно легко положить предел, как только этого пожелает правительство. Все дело в примере. Необходим закон, который:

1) объявил бы недействительными все акты, в которых будут употреблены наименования: «господин», «госпожа» или «барышня» и подвергал бы сверх того виновных штрафу от трехсот до тысячи франков;

2) обязал бы именовать «господином», «госпожой» и «барышней» арестантов, содержащихся в тюрьмах, смирительных домах и на каторге и приговоренных к смертной казни, к содержанию в кандалах или к заточению. Немедленно вслед за провозглашением приговора председателю суда должно быть вменено в обязанность обратиться к приговоренному со следующими словами: «господин такой-то» или «госпожа такая-то», по закону вы имеете трехдневный срок для подачи кассационной жалобы, если только у вас имеются к тому достаточные основания». Надзирателям и всем, кому так или иначе приходится говорить с заключенными, предписать под страхом двухнедельного тюремного заключения обращаться с арестантами не иначе, как именуя их «господин» или «госпожа»[315].

Вышеприведенный документ чрезвычайно поучителен. Он свидетельствует, прежде всего, что в VIII г. у республики совершенно так же, как и в наши дни, несмотря на последовательные «чистки», присутственные места были такими же врагами всяких реформ, как и ныне.

Что касается затем мер, предлагаемых автором этого замечательного документа, то мы сомневаемся, чтобы они могли оказаться особенно действенными. Все попытки улучшения нравов путем широкого применения системы штрафов в кон-

це концов всегда оказывались бесплодными, что же касается идеи «разблагородить» наименование, бывшее в продолжение целых столетий привилегией людей лучшего общества, применив его к преступникам и злодеям, то она могла зародиться только в голове человека ненормального или злобного глупца и, натурально, никогда бы не достигла своей бессмысленной цели.

Отдел шестой
Революционная литература



Глава I. Ораторы и журналисты

«Слог — это человек», — сказал Бюффон. Это положение подтверждается многочисленными примерами из истории революционной эпохи. Язык народа, язык правителей и политиканов, язык журналистов и ораторов полны характерных оттенков, резко отмечающих отличительные особенности каждого из них. Одни бичуют остроумной и неотразимой сатирой, другие важно священнодействуют наподобие римских авгуров, третьи, наконец, отдаются вдохновенным порывам своего гения. Изречения и сочинения писателей отражают, как в зеркале, людей данной эпохи.

Заседания разных собраний и клубов встают, точно живые, перед глазами массы читателей бесчисленных газет, которые нарасхват ежедневно рвутся из рук во всем Париже, разъясняя толпе, каждая по своему, смысл непонятных декретов и сумасбродных, часто нелепых распоряжений всесильного Национального конвента. Самодержавный народ не хочет говорить иначе, как языком базара и толкучки. К чему соблюдать вежливость, подбирать выражения и следовать правилам синтаксиса? Все это за версту отдает аристократизмом. Полное равенство требует простого бесхитростного способа выражений, который ничем не напоминал бы о старом рабском режиме, когда в разговоре приходилось ломать себе голову, льстя сильным мира сего. А так как простонародные поговорки и прибаутки, «прелести водосточных канав» оскорбляют слух бывших слабонервных барынь-красавиц, то ими тем более и следует испещрять речь, повышая тон все более и более!

Картинность языка от этого не исчезает — даже наоборот. Чем француз пошлее, тем образнее его речь; конечно, эта образность груба и даже непристойна, но зато она смешна и забавна, вроде «дубоватого» смеха Рабле! Свежий галльский

дух, замученный и разжиженный в гостиных, где он когда то процветал, нашел теперь себе пристанище в народе, и если не отличается здесь афинской утонченностью, зато по-прежнему блещет аттической солью. Если можно в чем-нибудь упрекнуть народный язык, то отнюдь не в банальности. Он остроумен и образен как никогда, и какими метафорами и сравнениями блещет речь, льющаяся из уст каждого санкюлота!

Роковая повозка превращается на его языке в «соседку Сансона» или в «коляску с 85 дверцами»; гильотину он зовет «национальной бритвой»; провожая безжалостными шутками процессию людей, следующих на эшафот, народ кричит им, что они едут «сунуть голову в окно», «покачаться на качелях», «испытать, каково человеку в капетовом ошейнике», «чихнуть в мешок», «спросить время в форточку» и т. д.

Гебер, издатель «Дяди Дюшена», в особенности старался распространять этот полуварварский жаргон, наречие, милое толпе.

«Он составлял свои краски и рисовал картины, свято придерживаясь природы, вдохновляясь самыми смелыми из женщин и самыми наглыми и необузданными из мужчин, изучая свои образцы на набережных и рынках, подобно тому как Мольер наблюдал маркизов при дворе, аббатов в будуарах, а ученых в академиях. И всякий совет, всякое правило, изложенные на этом беззастенчивом и порочном языке, принимались его читателями, которые ни о чем ином и не помышляли»[316].

Зато до чего дошла его популярность! Никогда еще ни одна газета не бывала в таком почете. Его «здорово[317] патриотические письма» умышленно разбрасывались по столам у самых завзятых роялистов, служа для них готовым свидетельством «гражданской добродетели». Нужно отдать справедливость, что Гебер поступил гениально, создав эту оригинальную прессу, не замедлившую овладеть народным общественным мнением. Строго говоря, он сыграл весьма немаловажную роль в деле осуждения сперва Людовика XVI, а затем и «болотных жаб» — жирондистов.

Стоило «Дяде Дюшену» рассердиться, что случалось с ним нередко, чтобы тотчас же в пользу рекламируемой им меры

создавалось целое народное движение. Неизменно льстя народовластию, он разъяснял черни правительственные цели, задачи и даже самые отвлеченные политические виды и соображения[318].

Без сомнения, еще настанет день, когда будут оценены по достоинству[319] ум, оригинальность, а может быть, и единственное революционное красноречие «Дяди Дюшена» и его автора, Гебера.

Но несмотря на все свои заслуги, Гебер остается все же самой антипатичной личностью в галерее главных деятелей революции.

Память Марата, который тоже недолго оставался на высоте своего посмертного апофеоза, все же куда менее презренна, чем недостойная память издателя «Дяди Дюшена». Суть в том, что у последнего все было соткано из одного лицемерия, а мы так созданы, что скорее прощаем жестокость и даже подлость, чем хитрый и низкий расчет и притворство.

Гебер был человек изящный, он элегантно одевался и получил прекрасное воспитание. Революция для него являлась не целью, а лишь средством. Если бы он действительно вышел из народа, языком которого владел в совершенстве, то его бы нельзя было и упрекнуть в том, что он подделывался под простонародный жаргон. Но в том-то и дело, что он, напротив, был человеком утонченным по воспитанию и привычкам и не имел ничего общего со своими сторонниками и почитателями, и его можно смело сравнить с теми современными политиканами, которые, пожав руку своему чернорабочему избирателю, бегут скорее вымыться и надушиться. До 1789 г. он был добрым человеком с отзывчивым сердцем, преисполненным самых лучших намерений.

Однажды, когда ему было предложено очень выгодное место в Китае, от написал своей матери: «Как приятно мне было бы через несколько лет поделиться с вами плодами моих трудов и дать вам счастье и довольство, которого вы так заслуживаете и которого не знали никогда. Я честолюбив только ради вас и величайшим своим несчастьем считаю свое бессилие сделать вас счастливой. Но вы, конечно, и сами, без

всяких уверений с моей стороны, вполне убеждены в этом и знаете, какой нежностью и каким почтением пылает к вам сердце вашего сына»[320].

В конце 1791 г., собираясь жениться на монахине Франсуазе Гупиль, он пишет своей сестре: «Я уверен, что ты сойдешься с моей милой невестой. Она очень умна. По-старому я бы сказал, что это вполне «порядочная» девушка. Ее фамилия Гупиль; до настоящего времени вся ее жизнь протекла в монастыре».

Гебер противен главным образом вследствие полного непостоянства своих политических убеждений. Этот бешеный «поставщик» гильотины во время террора в начале своей карьеры был самым завзятым воинствующим роялистом. Прямо не верится, чтобы он мог писать:

Антуанетта, мать счастливая,
Ты услышь наши сердца,
Дай нам сына ты, родимая,
Чтобы весь он был в отца. (?!)

А по поводу болезни Людовика XVI возносить причитания вроде следующего: «Ничто меня не веселит! Вино кажется горьким, табак противен. Какое тут веселье, когда король, мой добрый король, захворал. Плачьте со мною, французы». А всего каких-нибудь несколько месяцев спустя тот же король стал для него «людоедом», пьяницей, свиньей, рогоносцем-Капетом, а королева — волчихой, тигрицей, австрийской потаскухой, которую он осыпал самой гнусной клеветой»[321]. Он навеки опозорил себя этой травлей Марии-Антуанетты, которую преследовал с яростью гиены, и превзошел все пределы бесстыдства и мерзости, описывая на другой день после ее казни, как «слетела со своей паскудной журавлиной шеи голова царственной самки».

Происхождение «Дяди Дюшена» небезынтересно. Этот оригинальный тип был уже давно знаком парижской толпе. Несколько лет перед тем в каком-то ярмарочном балагане давался фарс, героем которого являлся некий горшечник, не умевший сплести подряд трех слов без отборного ругатель-

ства или отчаянной божбы. Эта галиматья, которая называлась «Масленичным блюдом», понравилась, однако, городской черни, и с тех пор образ горшечника «Дяди Дюшена» стал в народе популярен[322]. Масса политических памфлетов, наводнявших Париж перед революцией, писалась якобы от имени этого торговца горшками, олицетворявшего собой здравый смысл и наивную грубость простонародья. С 1789 г. от имени «Дяди Дюшена» появляется множество всевозможных летучих листков и брошюр. В следующем году какой-то почтовый чиновник, Лемер, приступил к изданию «Здорово откровенных патриотических писем Дяди Дюшена». Гебер, который не стеснялся при всяком удобном случае зашибить копейку, начал в сотрудничестве с Трамбле попросту подделывать такие же письма.

Первые листы его контрафакции были выпущены даже не пронумерованными. В заголовке красовалась виньетка, изображающая горшечника с трубкой во рту и с табачным картузом в руке.

Журнал заканчивался двумя мальтийскими крестами, а под картинкой стояло: «Я настоящий Дядя Дюшен» с добавлением так называемого трехэтажного словечка[323]. С тринадцатого номера виньетка уже изменилась. «Дядя Дюшен» преобразовался в усатого молодца с саблей на боку и с занесенным над головой священника топором с девизом «Memento mori». Затем и мальтийские кресты, очевидно нисколько не соответствовавшие террористическому направлению газеты, были заменены двумя очагами гончарного изделия, из которых один был опрокинут.

В таком виде новый орган и продолжал свою деятельность во время революции и остановил свой выпуск лишь за несколько дней до процесса Гебера. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы эта газета погибла вместе со своим основателем и руководителем, потому что впоследствии она каждый раз возрождается, как только наступает смутное время.

В наше время эта газета носит заглавие «Дядя Горемыка» (Pére Peinard) и является чисто анархистским органом. Ее полемические приемы не изменились и доныне и заключают-

ся по-прежнему в возбуждении низших классов населения против высших и против правительства и в обличении в глазах своих читателей всех, кого ее руководители сопричисляют к категории «подозрительных».

При настоящем режиме, когда политическое воспитание масс гораздо совершеннее, чем в былое время, призывы к насилию не только напрасны, но, пожалуй, даже приносят делу, на защиту коего раздаются, более вреда, чем пользы, но во времена террора они имели своим немедленным последствием осуждение, а иногда даже и растерзание всех, кого всемогущий «Дядя Дюшен» считал достойными гильотины.

Если бы еще подобные злоупотребления печатным словом можно было объяснить искренностью убеждений, чистосердечием и прямодушием их авторов, то с них снималась бы по крайней мере половина вины. Но в том-то и дело, что теперь, сто лет спустя, Гебер очень ясно представляется нам простым торговцем, коммерсантом, которому было нужно своей зажигательной прозой зашибить «деньгу». В этом нет ничего удивительного, так как скандальные журнальчики вообще принадлежат именно к числу органов, которые скорее всяких других обогащают своих издателей. Гебер, не стесняясь, продавал свой листок правительству в огромном количестве экземпляров, а последнее рассылало их в армии с целью возбуждения в молодых солдатах патриотизма и гражданского мужества. Это был, во всяком случае, довольно своеобразный способ поддержания дисциплины! Некоторые номера даже печатались прямо на казенный счет.

В нивозе II г. Камиль Демулен открыто укорял Гебера, что тот получил от Бушота[324] 60 000 ливров за 600 000 экземпляров «Дяди Дюшена».

Таким образом Гебер нажил на этой операции чистоганом 40 000 ливров. В то время когда беднейшие граждане несли на алтарь родины последние гроши, Гебер обогащался. Он называл это добыванием «подтопки» для его изданий. Как понятно возмущение Демулена, которому претило быть судимым и даже зависеть от суда этого презренного пасквилянта. Будучи сам образцовым писателем-стилистом, мог ли он считать

своим собратом выскочку, бессовестного низкого доносчика, полуграмотного сквернослова, писания которого были годны только для мусорной ямы! «В качестве ли писателя-остроумца претендуешь ты равняться со мной или в качестве журналиста ты думаешь играть среди якобинцев роль диктатора? Подумай сам: есть ли что отвратительнее и зловоннее большей части твоих листков. Неужели мы не знаем, что когда народы Европы хотят унизить республику, хотят уверить своих рабов, что вся Франция тонет во мраке варварства, что Париж, этот известный своим утонченным вкусом и умом город, населен одними вандалами, — неужели ты и сам не знаешь, что они перепечатывают в своих газетах отрывки из твоих статей? Неужели наш народ так туп, как в этом ты стараешься уверить Питта, что с ним нельзя говорить другим, менее грубым и грязным языком, чем твой, как будто это и есть язык нашего Конвента или нашего Комитета общественного спасения, как будто все твои пакости свойственны всей нации и как будто наша Сена действительно представляет один помойный водосток Парижа?».

Трудно установить резкую грань между «Другом народа» и «Дядей Дюшеном». За малыми исключениями, они держатся оба одинаковой политики, прибегают к тем же приемам, и если их слог и внешний вид не вполне одинаковы, то во всяком случае их сущность одна и та же.

Сколь, однако, не отвратителен и не ужасен Марат, он заслуживает все же несравненно большего сочувствия, чем его сотоварищ по профессии — Гебер!

Как различна психология этих двух людей, ставящая их на противоположных полюсах революции. Один истый — «достопочтенный» «Дядя Дюшен», прототип Табарена, зловеще-забавно скользящий по лужам крови. Другой — идеолог, безгранично тщеславный, ревнивый и завистливый, болезненно приближающийся к сумасшествию, которое и не замедлит им овладеть.

В ряду исторических безумцев Марату принадлежит, конечно, весьма почетное место. Он и сам признает себя зараженным «манией добродетели»[325], которая в сущности была

не чем иным, как «бредом преследования». Везде и всегда ему мерещатся злодеи и крамольники, восстающие на его отечество, то есть, по его понятию, на него самого, и он с неутомимой настойчивостью и упорством требует их голов! Он охотно выставляет себя мучеником революции и вечно подчеркивает свое самопожертвование, хотя в действительности принадлежит к тем немногим вожакам, которые редко решаются смотреть в глаза опасности и прячутся подальше в самую решительную последнюю минуту. Как настоящий тип «преследуемого», он сумел не поддаться мании самоубийства. Он вечно твердит о неблагодарности людей, которых во что бы то ни стало хотел облагодетельствовать. «Неблагодарный и легкомысленный народ, преклоняющийся перед тиранами и отворачивающийся от своих защитников, я жертвую собой для тебя! Я отдаю тебе свои труды, отдых, здоровье и свободу; за тебя я дважды рисковал жизнью, а теперь ты молча смотришь, как твои враги преследуют меня и вынуждают бежать, чтобы избегнуть их жестокости!.. Но нет, я не упрекаю тебя. Был ли бы я бескорыстен, если бы рассчитывал на твою любовь?»...

И неизменно, точно людоед, не могущий жить без ежедневной добычи, «Друг народа» требует жертвоприношения противников революции на алтарь свободы: сегодня 600 голов, завтра 10 000, потом 20 000 и т. д.

Мишле подсчитал, их не более и не менее как 270 000 человек[326]. Как помешанный, твердящий бесконечно одно и то же, Марат сам разжигает свою злобность. У него нет даже ни разнообразия, ни оттенков. Из-под его пера вечно вырываются одни и те же слова: «Подлецы, злодеи, дьяволы». Ламартин видел в нем «непрестанное выражение народного гнева». По нашему мнению, он поставил ошибочный диагноз. Марат был просто душевнобольным, которого, к несчастью, революция приняла «всерьез», вместо того чтобы посадить его под замок, в дом умалишенных.

Что всего удивительнее — это что однообразие его снотворной прозы нисколько не умаляло увлечения народа своим «другом». В обыкновенное время слышать вечно одно и то

же — утомительно; революция же так настраивает умы, что они, напротив, находят даже в этом однообразии жгучее удовольствие, лишь бы оно вечно разжигало их кровожадные инстинкты. По глубокомысленному замечанию Мишле: «Марат играл роль вечного и монотонно-однообразного набата».

В «Друге народа» мы не встречаем простонародного жаргона «Дяди Дюшена», он говорит языком если и не благородным, то во всяком случае грамматически-правильным. Его ярость разражается всегда по всем правилам риторики, злоупотребляя лишь избитыми старомодными и тяжелыми оборотами речи. Он сходится, впрочем, в этом с большинством тогдашних писателей, которые, не желая «революционировать» грамматики, тем не менее считали аристократизмом употребление чисто академического языка. Но так как они ни в чем не могли воздержаться от крайностей, то легко теряли чувство меры и сбивались на «превыспренний» стиль «писарского пошиба». Простота была всегда недругом революции.

По странному противоречию, — не соткана ли, впрочем, из них вся история революции, — язык парламентарный диаметрально противоположен народному.

На трибуне не слышно не только брани и грубости, но даже никаких пошлостей. Ораторы, словно «благородные отцы», выражаются самым изысканным, преувеличенно-риторическим стилем; так как между ними много адвокатов, то они считают вопросом профессионального достоинства превзойти друг друга в такого рода словесных состязаниях, устраиваемых ежедневно и в Собрании и в клубах.

Робеспьер является типичным представителем таких ораторов, слащавая и однообразная напыщенность коих вовсе не вяжется с их насильственной и жестокой политикой.

На прериальском празднике этот первосвященник «Верховного Существа» был как раз в своей роли, так как и без того он всю свою жизнь священнодействовал. Все его речи действительно легко сбиваются на проповеди. В его глазах его последователи — лишь неофиты, которых он обращает в истинную веру. Добродетель[327] — «его конек и, как всякий ее проповедник, он вечно удручен печалью». Поэтому-то он и не

импровизирует своих проповедей. Вдохновение нисходит на него лишь в тиши кабинета, где он исписывает лист за листом громкими фразами, зазубриваемыми затем наизусть. Он вычеркивает, приписывает, исправляет, но как бы ни был силен и горяч порыв его энтузиазма, он никогда не забудет разбить свою речь по всем правилам риторики на вступление, предложение, доказательство, опровержение и заключение. Словом, у него нет ни одного из достоинств настоящих политических ораторов, зажигательное красноречие которых электризует массу и которые вдохновляются моментально, без подготовки; истинный оратор всегда говорит с трибуны экспромтом, а речи Робеспьера, напротив, тщательно готовились им заранее.

Это был чувствительный, даже сентиментальный человек, случайно подхваченный революционным вихрем. Не будь этого, он так и остался бы скромным, невидным адвокатом в своем родном Аррасе, посвящающим свои досуги изящной словесности. Его склонность к мистицизму удовлетворилась бы вполне одним изучением Руссо. Он не был рожден для действия, а по злой иронии судьбы обстоятельства призвали его именно к таковому. Не справедливо ли после этого наше положение, что не люди создают события, а, наоборот, события сами управляют всем человечеством.

В 1777 г. Робеспьер был принят в кружок «Розы» в Аррасе, состоявший из молодых людей, связанных между собой дружбой и любовью к поэзии, к розам, а может быть, слегка и к винцу, и имевший своей целью в философских беседах разбирать учения Руссо и Вольтера. Большинство «Розатиев» предпочитало, однако, служение музам. Максимилиан Робеспьер стихотворствовал одинаково с прочими и даже довольно свободно. Сохранилось стихотворение, в котором он в старомодных и изысканных выражениях благодарит товарищей за поднесение ему знака «Розы»:

Шипы всегда сопутны розе;
Меня смущает ваш привет
И я боюсь, чтоб в грубой прозе, —
Шипом, — не вышел мой ответ.

В другом он воспевает столь дорогого сердцу Руссо крестьянина, мирно и безропотно обрабатывающего свой клочок земли и пожинающего плоды трудов своих вдали от лжи и суетности мира[328].

Счастлив тот, кто в природе живет,
Вдалеке от сует,
Кто сам пашет, кто сеет, кто жнет,
Кому мил белый свет
И кто малым доволен.
Его скромен удел, но зато
Над собою он волен...

Таков был человек, которому революция дала наивысшую власть и наихудшую долю. Какое громадное расстояние лежит между скромным членом Арраского кружка «Розы» и тем гигантом, который громил немного времени спустя грехи самого Провидения, допускавшего столь долго торжество преступной тирании, и который смело берется создать из Франции украшение всей Вселенной!

Красноречие Робеспьера, хотя и искусственно-елейное, все же нередко отмечено большим талантом, а порой приближается прямо к пафосу. Но во всяком случае французский Кромвель если и замечателен, то никак не своими боевыми, тактическими, активными речами: в них он умеет только хитрить и лукавить, и это-то и приводит его к погибели.

В заседании восьмого термидора, появившись в Конвенте после долгого добровольного отсутствия, он, не называя никого, стал уличать своих сотоварищей. В эту минуту всякий почувствовал над собой точно веяние крыльев ангела смерти; у каждого судорожно запершило в горле: далеко ли он пойдет и будут ли его обвинения точно сформулированы? Но Робеспьер упорно держался одних туманных намеков. Когда депутат Бурдон, приняв обвинение на свой счет, невольно вскрикнул, Робеспьер прервал свою речь только одним замечанием: «Я не называл Бурдона, но горе тому, кто сам себя выдает»[329]. С этой минуты против тирана в Конвенте зародилась партия,

к которой сразу примкнули все, кто считал себя затронутым его загадочными намеками.

Как оратор-философ, Робеспьер бесподобен. Может быть, слишком смело сравнивать его с Бурдалу или Массильоном, но вряд ли какой-нибудь проповедник отказался бы от такого, например, красноречия, хотя и раздававшегося не с церковной кафедры, а с парламентской трибуны:

«Нет, Шомет, нет, смерть не вечный сон! Сотрите, граждане, с гробниц это изречение, начертанное святотатственной рукой, набрасывающее траурный покров на природу, лишающее последней надежды угнетенную невинность и оскверняющее самую смерть. Начертайте на них лучше слова “смерть есть начало бессмертия”»[330].

Этот нервный и желчный утопист, веривший в возможность практического применения «Общественного договора» Руссо, а на деле так далеко удалившийся от своего учителя, был, пожалуй, более всякого другого охвачен поветрием революционного «невроза». Его точный и прямой ум — о верности его суждений свидетельствуют все его речи в Законодательном собрании — постепенно отошел в сторону, диаметрально противоположную его исходной точке: не предлагал ли он, например, в самом начале революции отмену смертной казни?

Люди образованные способны чаще других увлекаться; Мишле вполне прав, говоря по поводу Робеспьера: «Меня иногда поражает жестокость образованных людей; они доходят до крайних излишеств, до нервного бешенства, чего почти никогда не встречается среди класса, менее образованного»[331].

Якобинский диктатор и сам не заметил, как он исподволь сошел с истинного пути на ложный, которым логически должен был прийти к террору, навсегда остающемуся всецело делом его рук.

Революции требуют от тех, кто очертя голову бросается в их водоворот, выдающихся умственных способностей; они разжигают в них инстинкты разнородных страстей, и, чтобы создать противовес этому, нужен сильный и точный ум. А между тем как редки эти люди, обладающие гениальным даром

управления событиями, как бы грозны они ни были! Мы умышленно остановились подробнее на личности Робеспьера. Это был действительно вполне законченный тип революционера, имевший затем многочисленных подражателей даже среди своих противников. Его мистицизм и религиозность, и тот высоконравственный идеал, к осуществлению которого он считал себя призванным, были в нем общи со многими политическими деятелями, правда, второстепенными, но воспитанными в тех же идеях и более или менее верными учениками того же Жан-Жака Руссо, который сам, конечно, отверг бы с презрением всю революцию при первой пролитой ею капле крови[332]. Его род красноречия создал целую школу.

Если речи некоторых из этих ораторов и отличались точностью и правильностью оборотов, зато сколько других, следуя за модой, сделали свою речь напыщенной, малопонятной, преисполненной пустословия, хотя и в них сверкало порой пламя искреннего воодушевления и трепетал дух неразрывно связанных отечества и республики. Страницы официального «Монитёра» полны речами в стиле Робеспьера. Но еще чаще ему подражают случайные ораторы, выходящие, например, на трибуну для чтения какой-нибудь петиции.

31 плювиоза II г. граждане секции «Французской гвардии» вошли в Конвент. Одни несли лопаты, заступы и тому подобные орудия, другие — котел с селитрой, громко распевая гимн в ее честь:

Иди! От врагов вероломных
Отчизну очисть навсегда,
Чтоб недругов больше народных
На ней не видать никогда…
....
Из санкюлотских пушек славных
Тиранов жестоких сражай,
Врагов отчизны рази главных,
Им всем, по заслугам, воздай!

Затем выступил оратор: «Санкюлоты закляли почву, по которой ступают, моля ее дать им средства поразить врагов,

и земля Свободы сама обратилась на свою защиту, — и указывая на селитру, он прибавляет: — Вот сила, равная силе наших рук, — и наконец кончает: — Да исчезнут с лица земли низкие тираны! Наша селитра проложит нам широкие пути и проведет наших бесстрашных борцов к их гнилым берлогам»[333].

В другой раз был допущен в Собрание с петицией некий Дюфурни — друг Шабо. Он требует, чтобы слова «правление» и «правитель», как недостойные свободных граждан, были изъяты из французского словаря. Вот его подлинные слова: «Народ будет вполне свободен лишь тогда, когда у него исчезнет всякое воспоминание об его оковах. Когда суд разума и всеобщее равенство очистят рабский язык от слов, служивших для выражения лести и почтения и свидетельствовавших о приниженности человеческих душ под гнетом несчастий и произвола».

Все ораторы, особенно когда им приходится вербовать защитников отечества, не могут воздержаться от напоминаний об Афинах и Марафоне, Лакедемонии и Фермопилах, Швейцарии и Морате[334]. Античный мир в изобилии снабжает их всевозможными образами и воскрешает в их памяти греческую, а еще чаще римскую историю. Нельзя, впрочем, не признать, что сопротивление Дюмурье в ущельях Арионы может вполне выдержать сравнение с подвигом Леонида и его товарищей.

Несмотря на свое горячее стремление к новизне, современники 1789 г. все же ищут опорных точек в античном прошлом и точно не отваживаются двигаться в будущее без подражания славным примерам былого. Они скорее согласны быть подражателями, чем творцами. Эта тенденция заметна и в большей части речей и поступков революционных политических деятелей и как будто свидетельствует, что многим из них не хватало собственной силы и размаха, чтобы создать что-либо новое. Если им удавалось иногда провести красноречивую параллель между ними и Гракхами, между доблестями Катона и их заслугами, их совесть была уже как будто спокойна. Некоторые, впрочем, были в силах бороться с этим стремлением в сторону античного мира. Грегуар, говоря о проекте

народного образования, делает очень верное замечание: «Недостаточно, чтобы эта система была прикрыта громкими именами, чтобы она имела таких защитников, как Платон, Минос, Ликург, Лепельтье; надо прежде всего выяснить себе громадную разницу, существующую между общиной — Спартой, в которой было, может быть, 25 тысяч человек жителей, и обширной державой, в которой их насчитывается 25 миллионов».

Сколько раз этими словами, сказанными вовремя, можно было бы призвать к действительности ораторов, гипнотизируемых древней историей, и вернуть их к насущным интересам государства!

Некоторые, однако, как например Дантон, не подчинялись общей моде и искали своих образцов ближе, не забираясь в глубь веков.

Дантон по духу был настоящим французом. Он обладал живым и пламенным красноречием; его речи были, может быть, не всегда грамматически правильны, но зато были всецело проникнуты истинным вдохновением и самыми чистыми побуждениями. Он избежал обычного упрека, который навлекали на себя одинаково многие из его современников: ораторы, журналисты, республиканцы, монархисты, монтаньяры и жирондисты, именно упрека в дурном вкусе. В его речах нет никакой напыщенности, нет вычурных образов, неуместного мистицизма, нет геростратизма[335]; его язык ясен и звучен, как победный марш революции, гремящий в дни опасности и разносящий далеко за пределы Конвента энтузиазм, из которого бьет ключом глубокая вера в судьбы родины.

У него, без сомнения, встречается подчас ересь и грамматическая, и риторическая, и даже историческая, встречаются и длинноты, но что во всем том, если цель достигнута!

Ошибка всего Конвента заключалась в том, что он жаждал преобразовать революционное собрание в Академию изящной словесности, но Дантон ее избежал. У него мы могли найти только одну фразу, вызывающую улыбку по своей форме: «Я укрепился в цитадели разума и выйду из нее с пушками истины; я сотру в прах злодеев, пытавшихся меня обвинить».

«Пушка истины» особенно привела в восторг слушателей и не промахнулась по Робеспьеру, против которого была направлена вся речь.

История связывает имя Дантона с именем Камила Демулена. На одной, современной эпохе, гравюре красавец Камил изображен в позе оратора, говорящего свою знаменитую речь к народу в Пале-Рояле 12 июля 1789 г. Существует почему-то мнение, будто он был настолько же блестящим оратором, насколько и остроумным журналистом, но это глубокая ошибка, потому что в действительности он был заикой. Правда, это было не то тяжелое и неприятное заикание, которое делает речь нестерпимой для слушателя; это был скорее какой-то лепет взволнованного человека, который будто старается оправиться от смущения и в начале каждой фразы как бы понукает себя, издавая учащенные звуки: «гм... гм...».

Но велика сила энтузиазма! Когда настал час героического решения, этот застенчивый, запинающийся человек высказывает вдруг беспредельную смелость: идеи толпятся роем в его пылающем мозгу, его виски готовы лопнуть под напором кипящей крови, стремительно и шумно гонимой его надрывающимся сердцем, и он говорит — говорит, на этот раз не запинаясь; говорит с той заразительной страстностью, которая опьяняет толпу и охватывает ее спазмом восторга! Вот она, вот эта самородная, самобытная и искренняя революция, подымающая целый народ, как одного человека, на завоевание свободы. Но, увы, спустя двое суток этот самый народ уже начал терять рассудок и подпал под власть кровожадных, садических инстинктов. Камил, конечно, не предвидел, каковы будут последствия его зажигательных речей в Пале-Рояле; он не имел понятия о психологии толпы, не знал, как близко она граничит с животностью.

Камил, однако, был умнейшим человеком революции. Мишле называет его «гениальным шалуном со смертельными шутками», а де Монсенья дает ему прозвище «парижского гамена журналистики». Он имел влияние и известен потомству скорее как писатель, чем оратор. После Камила, говорящего речь на открытом воздухе, мы знали Камила — издателя,

сперва «Революций Франции и Брабанта», а затем, наконец, и «Старого Кордельера»[336]. Он не был злым, но как многие умные люди, посвятил всего себя сатире. Его выходки были язвительны и выражались часто в виде разоблачений. «Верная собака на всякого прохожего лает, а тогда и воров не страшно» — говорит французская пословица, и он сам себя звал генерал-прокурором фонарного столба[337], сознавая, по-видимому, что заражен той же зловредной лихорадочной жаждой крови, которой заражается всякий, прикасающийся хоть краем уст своих к чаше революции. Прямо не верится, чтобы этот человек с таким утонченным умом мог совершенно серьезно внести следующий нелепый проект: «Всякий солдат: австрийский, пьемонтский или иной, который будет взят с оружием в руках, имеет быть немедленно повешен, как разбойник, или расстрелян, как лютый зверь».

«Всякий неприятельский солдат, который, сочтя позором служить в своей татарской орде или в разбойничьей шайке, сдаст своим истинным братьям свое оружие против австрийских волков, получит во Франции земельный участок»...

«Всякий дезертир, который принесет голову капитана, получит вчетверо более, чем выдавалось при старом режиме за голову волка».

Едва ли потребуются другие доказательства, насколько революционные события, а особенно паника могут развратить и затемнить рассудок даже умного и интеллигентного человека. В заключение нельзя не заметить, что именно в дни чрезвычайных опасностей, когда, например, пруссаки подходили к воротам Вердёна, когда измена Дюмурье и Кюстена могла привести к еще худшему или когда, наконец, Национальному собранию и всему народу угрожало движение роялистов или федералистов, — в эти-то именно дни и появлялись обычно наиболее нелепые и бестолковые предложения и проекты и умножалось число наименее обдуманных поступков и мероприятий... В такие-то минуты и раздавался мощный голос Дантона: «То, что вы слышите, — это звуки похода на врага человечества».

Камил, который известен преимущественно как памфлетист и который лучше владел бичом сатиры, чем словом апостола, заставлял до слез хохотать весь Париж надо всеми, кого только считал нужным предать осмеянию. Королевскому семейству пришлось первому испытать на себе его остроумие. Когда, по случаю насморка у короля, в Национальном собрании объявлялись бюллетени о его здоровье, Камил на следующий день написал: «Я не удивлюсь, если врачи на днях торжественно внесут в Палату королевские урыльник и судно и поставят их перед носом ее председателя и если даже она учредит специальный всегалльский патриархат для провозглашения многолетия испражнениям Далай-Ламы. Большой вопрос, кто более низкопоклонен, римский ли сенатор на кухне у Тиберия или наш народный представитель — в гардеробной Людовика XVI?»

Затем наступил черед аристократов, а за ними и всех, кто испугался прогресса революции и захотел остановить ее движение. Камил несомненно приложил руку к течению, приведшему короля на эшафот, а жирондистов к катастрофе.

В день их казни он, однако, упал в обморок, воскликнув: «Их губит мой «Разоблаченный Бриссо».

Одним взглядом он измерял глубину пропасти, которая открывалась у его ног и где погибло уже столько добрых республиканцев, низвергнутых в нее охватившим даже наиболее трезвых людей бредом преследования. Было ли это искреннее угрызение совести за гибель жирондистов или предвидение собственной роковой судьбы, которая уже его подстерегала; было ли это отвращение души, пресыщенной бесполезными жестокостями? С Субербиелем и Дантоном они уже порешили было начать противиться террористам, но повязка спадала с их глаз слишком поздно!

«Я устал молчать, — говорил Камил, — рука отяжелела, мне хочется подчас заострить свое перо, как стилет, и пронзить им этих презренных. Пусть же они берегутся. Мои чернила не так легко смыть, как их кровь; их следы бессмертны». — «Начинай с завтрашнего же дня, — отвечал ему Дантон, — ты начал революцию, ты ее должен и остановить!» Но колесо

судьбы вращалось слишком быстро и закрутило неосторожного.

Камил должен был неминуемо испытать одинаковую участь со всеми, чью гибель он ускорил. В ту самую минуту, когда он пришел, наконец, в себя, когда к нему возвратилась его обычная проницательность и он постиг необходимость вернуться к умеренности, в эту самую минуту он пал. Когда человека захватит революционная шестерня, нужно обойти в ней весь круг; нужно выдержать характер до конца, да и тогда еще спасение далеко не верно. 9 термидор и следовавшие за ним дни были не менее кровавы, чем и дни крайнего террора.

У нас нет намерения обрисовывать здесь всех героев революции; для такой работы нужен был бы другой объем и другие рамки. Она, без сомнения, пролила бы совершенно новый свет на этот период истории, мельчайшие подробности которого, по-видимому, как будто давно общеизвестны. Ограничивая наше исследование несколькими определенными типами: Гебером, Маратом, Робеспьером, Камилом Демуленом, мы хотели лишь указать, какое влияние имело на их мыслительные способности состояние невроза, в котором находилось окружающее их общество, и какие последствия имело это состояние для них самих. Легко было бы доказать, что и другие лидеры, к какой бы партии они ни принадлежали, были тоже более или менее заражены этой болезнью. От нее не избавились ни жирондисты, ни монтаньяры. Может быть, разве некоторые члены Учредительного собрания, например, Мирабо, умели еще сохранять нужное хладнокровие и свободу суждения, но и те, вероятно, сошли бы с этого пути не далее как несколько месяцев спустя, когда революция начала утопать в потоках крови.

Лишь только отдельные индивидуальности начинают исподволь подпадать под тираническое господство коллективной массы, они тотчас же начинают и проявлять симптомы известного ослабления интеллектуальных сил и способностей. Это один из неизбежных дефектов всякого парламентарного режима. Сотня в высокой степени интеллигентных граждан, собравшись в законодательной палате, принимает меры и во-

тирует законы, от которых каждый из них в отдельности с ужасом отказался бы, если бы, оставшись наедине сам с собой, мог спокойно взвесить все бремя ответственности, которую он на себя принимает. Парламент, составленный из самых выдающихся людей страны, в этом отношении мало отличается от самого посредственного. Наоборот, те же собрания могут коллективно проявлять и такое великодушие, на которое каждый из членов в отдельности никогда не был бы способен: ночь 4–10 августа дает этому социологическому закону блестящее подтверждение[338]. Таким образом не подлежит никакому сомнению, что политические собрания поддаются духовной заразе совершенно одинаково, как и всякие иные скопления людей; порождаемые этой эпидемией волнения и ощущения распространяются и передаются тем легче, чем многолюднее самое собрание, а между тем законодательствовать под властью не рассудка, а чувства — едва ли не худшая из систем. Этот-то факт и дает почву всем сторонникам ограничения числа законодателей.

Закон «психической подражательности»[339] — всеобщ, и никакая толпа не может его избежать. Все люди революции бессознательно испытали на себе его воздействие; они подчинялись ему тем легче еще и потому, что политические вопросы дебатировались не только в Национальном собрании, но во всевозможных комитетах, клубах и секциях, и повсюду безымянное и деспотическое общественное мнение предписывало властно свою анонимную волю и клало свой отпечаток на самих законодателей. Последние бессознательно воспринимали психическую окраску народной толпы — публики. Говоря короче, нет человека, который мог бы похвалиться, что он ведет толпу за собой; напротив, толпа сама стихийно толкает перед собой даже своих первых «чемпионов», как волна, выбрасывающая на берег водоросли, оторванные от скал на дне моря.

Революции потрясают не только экономический и политический строй, но прежде всего самое общество. Они могут ослепить, повергнуть в состояние полного политического безумия самые прочные, самые солидные умы; и наоборот,

могут преобразить в апостолов самых простых, даже негодных людей вроде того парижского гамена, который, по словам тюрьмоведа Моро, в мирное время «шестнадцати лет становится хулиганом, вором и убийцей; в восемнадцать попадает в острог и идет на каторгу, а в эпоху баррикад геройски и самоотверженно на них умирает»[340].

Глава II. Театр во власти санкюлотов

Если справедливо, что театр в обыкновенное, нормальное время действительно идет впереди идейной эволюции и является пионером социального освобождения, то, наоборот, в разгар революционной бури он уносится ею за собой и сгибается под ужасным порывом вихря. Превосходное орудие для проведения теоретических реформ, он не в силах угнаться за практикой жизни, устоять против неизбежных излишеств революции и стать тормозом, необходимым для удержания общественного равновесия. Он отдается во власть событий и, не будучи в состоянии управлять ими, послушно следует за ними позади, на буксире у торжествующей черни.

История театра в эпоху Французской революции является ярким доказательством этого общего закона. По мере того как политические события развертываются все шире и шире, а торжествующее царство свободы шаг за шагом побеждает деспотическое самодержавие, чтобы затем самому броситься в пасть террора, драматическое искусство с каждым днем приходит заметно все в больший упадок и заканчивает, наконец, самым жалким банкротством. Между тем от него ожидалось совершенно противоположное.

Люди 1789 и 1793 гг. провозгласили перед лицом изумленного мира принципы нового общества; на французской почве, на которой шла эпическая борьба за свободу с коализованными монархиями остальной Европы, пробился и возрос таинственный цветок патриотизма. Возможно ли найти для души поэта более захватывающий сюжет, как славные подвиги молодой республики, есть ли другой более прозрачный и чистый источник для утоления поэтической жажды, чем тот, у которого возрождалось человечество? Но, увы, искусство тоже повинуется закону контрастов.

Из краткого обзора революционного репертуара, который мы приведем ниже, читатель может увидеть, насколько этот закон был жесток и безжалостен для французского гения. Среди бесчисленного количества пьес, увидевших свет рампы за 1790–1795 гг., мы не видим ни одной достойной хотя бы малейшего внимания. А между тем, кажется, никогда драматурги не были так плодовиты. Только один из них, гражданин Дарвиньи, написал более ста сорока комедий. Но количество не искупило качества, как об этом можно судить по критике его пьесы «Современное Равенство». «Это точно какой-то заговор, устроенный на средства Питта и Кобурга, чтобы низвести французский театр до полнейшего падения, погубить вконец его былую славу, столь справедливо им заслуженную, и в конце концов лишить драматическое искусство тех могучих средств, которыми оно располагало для укрепления революции»[341].

В «Республиканском супруге» муж доносит на свою жену Революционному комитету и добивается ее казни. Пьеса была встречена с невыразимым энтузиазмом. Автора вызвали на сцену. «Граждане, — обращается он к зрителям, — за мной нет никакой заслуги в том, что я набросал эту патриотическую картину; когда пером водит сердце, — всегда пишешь хорошо; я убежден, что в этой зале нет ни одного мужа, который не был бы готов поступить так же, как герой моей пьесы!».

«День 10 августа» изображает на сцене Марата, притаившегося у себя в подвале, пока санкюлоты бились с приспешниками Капета[342]. После победы они освобождают «друга народа» и несут его с великим триумфом. Это поистине апофеоз страха, а между тем несколько недель тому назад был раскритикован водевиль «Патриотический брак» только потому, что автор изображал республиканца трусливым: «Даже, если бы трусость и мелькнула в республиканском сердце, нельзя считать удачной мысль выводить это на подмостках. Это прямо какая-то гражданская нелепость»[343].

«Бюзо», «Кальвадосский царь», «Безумие Жоржа», «Республиканская вдова», «Любовная гильотина» — целая серия то буффонных комедий, то раздирающих драм — таков театр,

подпавший под власть санкюлотов и подлаживающийся под вкусы дня. Все крайности комитетов и клубов изображаются на сцене в самом преувеличенном виде и горячо приветствуются безумствующей публикой[344].

Выдающимся успехом в театре «Республики», основанном артистами, отделившимися от «Французской комедии», пользовалась пьеса, о которой мы уже вскользь упоминали выше, под заглавием «Последний суд царей» Сильвэна Марешаля.

Вот ее содержание. Некий старец был когда-то сослан на отдаленный остров. Он жил здесь среди дикарей, внушая им добрые революционные принципы и ненависть к деспотам и тиранам. «Лучше иметь соседом вулкан, чем короля!»[345] — твердил он им, хотя красовавшийся над пейзажем вулкан выпускал при этом, как бы возражая, угрожающие огромные клубы дыма.

Но вот Робинзона освобождают. Является победоносная армия санкюлотов, из коих каждый ведет на цепи какого-нибудь бывшего владыку земного, так как тем временем республика уже покорила весь цивилизованный мир. Старик делает смотр развенчанным царям и узнает каждого из них. Испанский король выступает с огромным картонным носом, за ним следует папа в тиаре, причем эту роль исполнял знаменитый актер Дюгазон; за ними Екатерина II, шагающая несоразмерными шагами. Но в коллекции недостает Капета. «Где же он»? — спрашивает Робинзон.

«Мы казнили его», — отвечают санкюлоты, и старец наивно спрашивает вновь: «Скажите же, зачем трудились вы вести этих-то сюда; полезнее было бы просто повесить их там же под портиками их собственных дворцов». — «Нет, — отвечает француз-санкюлот. — Это наказание для них слишком мягко, оно окончилось бы слишком скоро и не достигло бы своей цели. Желательнее дать всей Европе зрелище тиранов, заключенных в зверинец и поедающих друг друга».

И на самом деле, голодные монархи вскоре схватываются друг с другом из-за куска хлеба; папа бросает свою тиару в голову Екатерине и получает за это удар жезлом, который ломает ему нагрудный крест.

Но внезапно вулкан содрогается, происходит страшный взрыв, и всех поглощает разверзшаяся земля. Такой финал приводит публику в неописуемый восторг. «Партер и весь театр, — по словам какого-то газетного листка, — казалось состоял из легиона бравых цареубийц, готовых немедленно броситься на ненавистную царскую породу»[346].

Наряду с таким, почти босяцким, театром стоит, если можно так выразиться, театр антиклерикальный. С католицизмом, давно уже потрясенным философами, революция порешила окончательно. Поначалу, однако, конституционному духовенству со сцены расточались похвалы и величанья. По адресу «доброго», присягнувшего конституции, кюре в водевилях пелись веселые куплеты на тему, что теперь, женившись, он не станет отбивать больше чужих жен. Закон 1791 г. разрешил изображение на подмостках и белого и черного духовенства. Одного кардинала можно было видеть в «Карле IX», другого в «Людовике XП»; картезианские монахи появились в «Графе де Комэнж», монахини — в «Монастыре»; бернардинцы в «Муже-духовнике», урсулинцы — в какой-то развеселой буффонаде. Итальянская комедия поставила шутливую поэму Грессе — «Vert-vert», в увертюре которой церковный гимн был мило смешан с музыкой одного модного разухабистого куплета: «Когда клерет я пью...».

Серия антиклерикальных пьес началась с «Мужа-духовника» и с «Монастырского переезда», где муж одевается монахом, чтобы подслушать исповедь жены[347], а расстриженные монахи и монахини поют разные откровенные куплеты. Но вскоре все духовенство стало одинаково подвергаться нападкам, не исключая и конституционного. «Высшее существо», культ коего был провозглашен взамен христианства, не имело надобности в разных викариях, прелатах и аббатах. Радэ и Дэфонтэн ставят в театре водевиль «Еще кюре», в котором аббат откровенно распевает:

Из всех товарищей моих
Один, скажу вам прямо,
Наш брат на деньги шибко лих

И клянчит их упрямо!
Поповский глаз на все глядит,
Хотя дела у них не плохи!..
Когда ж народ наш прекратит
Им отдавать последни крохи!

Число подобных пьес самого дурного вкуса и тона — бесконечно. Одна из них, под заглавием «Могила надувал», была запрещена к представлению даже Комитетом общественного спасения как способная к возбуждению религиозной вражды!

Помимо того, что бить лежачего было невеликодушно, недостойно было и французской сцены впадать в подобное шутовство! Но тема-то была уж очень благодарная! В эпоху великой революции с подмостков, как будто на время, исчезла та аттическая соль, которая и прежде была и доныне остается счастливым уделом французской нации. События сменялись слишком поспешно, и в переживаемое время было всем не до острот. Те же, кто на них покушался, не был еще, очевидно, достоин стать преемником Вольтера[348].

Оставался наконец еще третий жанр, более благородный и патриотический — именно апофеоз республики и свободы. В следующей главе мы познакомим читателя с тем, что представлял собой патриотический энтузиазм, охвативший революционное общество. Театр фатально должен был тоже отразить на себе это особое душевное состояние, иначе он не был бы зеркалом нравов. Опера, конечно, особенно подходила для постановки подобных пьес, настоящих феерий, нередко почти детского содержания, что еще делало их сносными, так как когда в них проводилась какая-нибудь тенденциозная идея, тогда они становились прямо невыносимыми.

В театре Эгалите давалась, например, пьеса «Свадьба Жан-Жака Руссо», представлявшая собой одну длинную и снотворную проповедь на тему о гражданских добродетелях…

Чаще всего авторы изображали какие-нибудь события из последних войн: взятие Тулона, осаду Лилля, великодушное самопожертвование волонтеров, отъезд санкюлотов на поля Вальми и Жемаппы и т. п. Наступила какая-то эпоха псевдовозрождения. Тальма проповедовал возвращение к языческо-

му античному миру; начали говорить пресерьезно о всяких Мильтиадах, Манлиях, Торкватах, Муциях-Сцеволах, Брутах и пр.

Пушечные выстрелы, парадные смотры и маневры, торжественные гимны в честь добродетели и родины — все это наполняло души зрителей каким-то деланным, искусственным восторгом. Положим, нельзя отрицать, что эти пьесы, при всей своей наивности, служили для народа известной школой гражданственности, смягчали нравы толпы и изгоняли человеконенавистничество, но они только и были под стать той публике-ребенку, которую представляло революционное общество.

В них нельзя, конечно, искать никакой сложной эстетики или жизненных положений и дилемм, да тогдашние критики отнюдь и не скрывают, сколь малого они требуют от драмы. «Мы должны судить теперь драматические произведения не по правилам чистого искусства или по мерке древних поэтических произведений, а в их соотношении с народным образованием и в зависимости от того, насколько они служат распространению духа общественности. Нужно только, чтобы автор не пренебрегал окончательно искусством нравиться своим зрителям»[349].

Как образец такого рода пьес, может служить пьеса под заглавием «Брак за счет нации»[350]. Санкюлоты приносят на сцену статую свободы. Воздвигается алтарь отечеству. Грохочут пушки, военная музыка гремит марсельезу. Воздвигают обелиск с патриотическими надписями. Развевается штандарт, на котором изображено: «Конституция 1793 года». Раздается удар грома, спускается огненное облако; пылают огненными буквами слова «Дружба и Братство!» Какой-то старец поет на краденый мотив чувствительные патриотические куплеты. Затем снова марш; опять гимн… Народ подымается и идет за войсками под гром орудий. Опускается занавес и вызывает в публике неописуемый восторг!..

Бывали, однако, пьесы и более сомнительного вкуса. Постановка «Аталии» в новом духе была дерзким вызовом, брошенным Расину. Для этого случая «Итальянская комедия»

соединилась с «французской», и на сцене собралось неимоверное количество действующих лиц. Отдельные явления из «Мнимого больного» Мольера были включены в вооруженное похищение детей Левиных! «Аталия» наизнанку вызывала аплодисменты изумления и несмолкаемый смех[351].

«Взятие Бастилии», иерархическая драма, по священному писанию Дезожье, заслуживает специального внимания. Увертюра, по словам либретто, изображает общественное спокойствие. Оно нарушается появлением гражданина, который объявляет народу о ссылке министра, пользовавшегося народным доверием. Народ приходит в отчаяние. Один из граждан берет слово: «Властелин отвергает советы князей, пойдем же и уничтожим его ненавистную твердыню. Сам Бог будет сражаться в наших рядах!» Слышится марш, народ приближается к крепости, из которой раздаются пушечные залпы. Во время осады народ кричит: «Да падет убежище рабства! Да разрушатся стены его!»

> Взрыв оркестра означает падение подъемного моста.
>
> Хор: «Победа, победа!»
>
> Раздаются трубные звуки; слышны стоны умирающих раненых.
>
> Общий хор: «Да здравствуют законы и свобода! Да здравствует король!»
>
> Один гражданин: «Наши враги обратились в постыдное бегство, они не смогли сопротивляться нам. Все народы да отнесутся к ним с презрением».
>
> Народ: «Хвалите Господа с небес» и т. д.[352]

Было бы несправедливо умолчать о театре оппозиционного направления. Надо ли говорить, что он стоял выше театра санкюлотизированного. Иначе, впрочем, и быть не могло. Француз по натуре своей любит фрондировать, и, каков бы ни был его политический режим, он обнаружит всегда больше таланта в порицании правительства, чем в его восхвалении. Это вовсе не антипатичное свойство, потому что осуждение правительства со сцены — всегда манифестация очень мужественная. В эпоху террора надо было немало смелости, чтобы ее осуществлять.

Два писателя, Лайя и Франсуа де Нёфшато, один в «Друге законов», а другой — в «Памеле», знакомили аристократическую публику «Французской комедии» с требованиями свободы.

В первой из этих комедий Робеспьер представлен в лице некоего Номофага, а Марат — в липе Дюрикрана, и обоим приходилось выслушивать довольно горькие истины:

Долой с земли свободной
Всех плутов-фанфаронов,
Им почвы нет пригодной,
Где нет тиранов, тронов!

Долой и шарлатанов —
Солгать, что норовят,
Не надо нам обманов, —
Обманы нам претят.

Пусть сгинут: анархисты,
Тираны-роялисты,
Тираны-социалисты,
Чьи помыслы не чисты!

Мы жаждем лишь закона,
Наш общий клич один,
Да будет вместо трона
Закон — наш господин!

Завсегдатаи театрального зала Сен-Жерменского предместья были далеко не горячими революционерами; они тайком подбадривали своих актеров, которые, отделившись от Тальмы, Дюгазона и прочих коллег-патриотов, не стеснялись оказывать с подмостков систематическую оппозицию новому режиму[353].

Муниципалитет сделал попытку воспретить сатиру Лайя, но эта мера было очень дурно встречена публикой. При поднятии занавеса режиссер вышел, чтобы известить о вынужденной перемене спектакля и вызвал этим известием неописуемый скандал.

Почти весь партер оказался на стороне автора. Несколько его противников были постыдно изгнаны из зала, и раз-

дался могучий клик: «Пьесу или смерть!» Национальная гвардия с самим командиром во главе оцепила театр. Наконец, в дело лично вмешался парижский мэр Шамбон и обещал довести его до самого Конвента, который и отменил декрет Коммуны. «Друг законов» мог снова идти свободно.

Через некоторое время Франсуа де Нёфшато поставил пьесу «Памела, или Вознагражденная добродетель». Уже перед первым представлением все умы были настолько возбуждены, что дирекция должна была поместить внизу афиши распоряжение муниципалитета о воспрещении входа в зрительный зал с палками, тростями и вообще со всякого рода оружием. Это лучше всего свидетельствует о перерождении театра; последний, по образцу клубов, становится полем столкновений враждующих партий, которые, какова бы ни была пьеса, готовы каждая растерзать своих противников. Не останавливаясь подробно на этом оставшемся знаменитым в летописях французского драматического искусства вечере, мы скажем только, что назавтра и артисты и авторы были уже все размещены по тюрьмам — Мадлонетской и Морамьонской. Им приписывают на пороге острога фразу в духе Галилея, вошедшую в разряд поговорок: «А пьеса все же прошла великолепно!»

«Друг законов» и «Памела», как уже мы сказали, были выше остальных пьес той же эпохи. Они не содержат не чрезмерного фанатизма, который так характеризует революционное миросозерцание, ни проповедей нового культа Разума, Отечества и Свободы. В них преобладает вольтерианский здравый смысл. Но для изуверов нет ни логики, ни здравого смысла, а для фанатиков — революция ушла недалеко от средневековой инквизиции. Поэтому сыны Руссо и последователи энциклопедистов, оставшись без руководителей и без твердых основ, применяли принципы своих великих учителей самым пагубным образом.

Каковы первоначальные причины падения драматического искусства в эпоху революции? Они тесно связаны, с одной стороны, с невысоким уровнем требований, предъявлявшихся публикой, а с другой стороны — с совершенно неуместным

вмешательством властей в театральные дела. Общественное мнение и цензура — вот два ментора французской сцены, ответственных за ее падение, из которого ее мог затем поднять только романтизм, и то много времени спустя.

Публика перестала быть тем тихим и спокойным зрителем, который приходит в театр, чтобы провести несколько часов в сфере искусства и забыться здесь от повседневных забот. Если и до 1789 г. в театрах бывали иногда шумные манифестации, если из партера и галерей раздавались подчас шутки, насмешки, громкие протесты и даже пронзительные свистки, то все это никогда не имело политического характера. С революцией политика проникает повсюду: в клубы, в салоны, в игорные дома и в зрительные залы, и везде тотчас же становится полновластной хозяйкой.

Она овладевает всеми умами и всеми поступками новых «граждан», еще не привыкших к самостоятельной общественной жизни и сводящих подчас даже малейшие проявления внутренней интимной жизни к одному общему революционному знаменателю. «Декларация прав человека» звучит в их ушах, как военный клич, а при таком настроении, очевидно, недалеко и до гонений. Стоит любому соседу по креслу чем-нибудь проявить тон, дух или нравы «древнего рабства», как он становится уже «подозрительным». Мы видели выше, что таким именно способом нарождались и действовали все «поставщики» гильотины. В эпоху террора вся публика живет исключительно под влиянием политики, и к ней на этой почве легко примыкают все подонки общества, тот сброд, который в обыкновенное время сдерживается полицией, а во время великих общественных движений, вырвавшись из-под надзора, пользуется событиями лишь ради того, чтобы дать выход своим диким вандальским инстинктам[354].

Странный вид представляли, например, театральные залы «Нации» или «Разнообразных развлечений». В них смешивались самые разнообразные слои общества. Щеголи-мюскадэны — адонисы революции, эти санкюлоты на розовой водичке, которых лишь внезапный порыв, неожиданно для них самих, бросил в объятия народа; рядом с ними — другой тип

людей: сильных, здоровых, в особом, бросающемся в глаза костюме: широчайших штанах, коротких куртках и в шапках из лисьего меха с хвостами, падающими на плечи; в руках у них обыкновенно дубина, которую в шутку называли «их конституция»; у них энергичные лица, в которых светится презрение к изящным манерам прошлого; плохо выбритые, плохо причесанные, покрытые обыкновенно грязью, а иногда даже и кровью, они настораживаются при первом слове, которое может им не понравиться, и такой-то батальон, хозяйничая в партере, нередко внезапно поднимается, кричит, вызывает актера, требует, чтобы тот отказался от только что сказанного слова, и успокаивается лишь тогда, когда справедливость торжествует, а принципы в безопасности! Эти люди были, по крайней мере, искренно воодушевлены той наивной верой, которая создает энтузиазм и чужда скептицизму и иронии... «Под их изодранной подчас одеждой были видны крепкие мускулы, и можно было отгадать пылкое сердце и горячую кровь. Среди них Шекспир нашел бы своего «Калибана», а скульпторы охотно пригласили бы каждого из них в свои мастерские в качестве «натуры» для атлета» (Fleury).

Суровые, но вместе чувствительные, эти Калибаны, способные одинаково и на геройские подвиги и на самые отвратительные эксцессы, не знали никакой узды; это были живые воплощения той демагогии, которая вытеснила разумную и уравновешенную демократию.

Женщины-щеголихи в наклонности к преувеличению и к экстравагантностям не отставали от мужчин и, быть может, эта наклонность, свойственная вообще их полу, была последней женской чертой, остававшейся в их внешности и особенно в их характере.

В крикливо бесстыдных костюмах они бросались после казней прямо в театр, и здесь, как старые, так и молодые, придирались ко всякому случаю, чтобы поскандалить и пошуметь под предлогом республиканской обидчивости и щепетильности. «Мне казалось, что передо мной каждый вечер оживлялась знаменитая картина Рубенса, на которой изображена какая-то вальпургиева ночь или шабаш ведьм. Целый

легион нигде не находящих для себя места существ, исчадий ада с криком, воем и проклятиями, распустив по ветру свои космы, закручивает в бешеной пляске какое-то несчастное, беспомощное существо, попавшее точно в человеческий смерч».

«Таков несчастный актер, выступающий в это время каждый день на сцену с чувством глубокого ужаса и постоянной боязни, как бы сегодня вдруг не угодить владыке-публике».

Иногда эта пылкая публика давала свободный ход самым непостижимым порывам. 21 брюмера II г. в театре «Республики» шли «Брут» и «Умеренный». В пять часов вечера зала была уже набита битком, и среди зрителей было человек 500–600 в красных шапках. До поднятия занавеса они уже запели гражданский гимн. Затем некий гражданин Лефевр затянул плясовую и этим подал сигнал к неожиданному балу. Все зрители, граждане и гражданки, взявшись, «в знак братства», за руки, принялись, не сходя с мест, подплясывать при каждом куплете песни и, конечно, подтягивать ей хором. В партере публика, продолжая этот танец, повскакала на скамьи и кресла. Представьте себе с увлечением пляшущий хор в 4000 человек, в экстазе распевающий в такт республиканский гимн. В конце представления этот припадок массового исступления повторился снова, смешанный с криками безумно-истерического восторга!

Случались и менее веселые эпизоды. Однажды в национальном театре «Мольера», во время самого представления, какой-то гражданин выскочил на сцену и серьезно предложил публике украсить авансцену бюстами Марата и Лепелтье, славных жертв, павших под ударами убийц. Вместе с тем он заявил требование, чтобы театр, носивший имя Мольера, заменил это название «театром санкюлотов». Его слова были покрыты аплодисментами, и предложение принято единогласно.

Театры не только подвергались подобным переименованиям, но испытывали и другие новшества в целях сообразования с требованиями дня. Старый театр С.-Жерменского предместья был сперва переименован в «Национальный», а затем, после освобождения арестованных артистов, в театр

«Эгалите». Чтобы подтвердить это равенство, в нем уничтожаются все ложи, снимаются перегородки, напоминающие прежние социальные касты, и граждане сидят все как бы на ступеньках общего амфитеатра. На известных промежутках один от другого по всему театру расставляются бюсты мучеников за свободу: Марат восседает на троне, точно Аполлон в храме муз. Драпировки и занавес делаются, натурально, исключительно трех национальных цветов.

История не сохранила имени того архитектора-санкюлота, патриотизм которого был, по-видимому, сильнее его вкуса, и который ремонтировал и переделывал этот театр. Но наверное это не был Луи, построивший в эту эпоху большой театр в Бирдо, и лестница которого послужила, спустя 60 лет, моделью для большого оперного театра в Париже.

Бесплатные народные представления в это время процветали. По приказу Комитета общественного спасения «Французская комедия» должна была давать ежемесячно несколько бесплатных спектаклей «в честь и на пользу народа». Артисты для этих спектаклей набирались реквизиционным способом из всех парижских трупп, и этим путем народные представления были обеспечены по три раза в каждую декаду, т. е. девять раз в месяц. На право входа муниципалитет раздавал, и притом исключительно «добрым патриотам», особые значки, заменявшие билеты…

Революция начинала бессознательно следовать девизу императорского Рима «Хлеба и зрелищ!» (Panem et circenses!).

Театрами, как видно из изложенного, ведало в это время преимущественно «общественное мнение», что в переводе означало главарей революционных клубов — закулисных аргусов, стоявших неофициально, но фактически на страже республики. Им оставалось сделать еще лишь один шаг, чтобы овладеть безраздельно сценой, и вскоре этот шаг делается. Цензура, уничтоженная законом 1791 г., восстанавливается как-то неожиданно, будто сама по себе.

Сначала она действует очень умеренно и скромно. Она воспрещает лишь пьесы, которые могли бы «способствовать упадку в народе чувства собственного достоинства и сознания сво-

ей силы и власти; ввергнуть его в суеверие или незаметно опутать цепями рабства». Она разрешает только такие, в которых превозносится восторженная любовь к отечеству, ненависть к тиранам и в коих клеймятся легкомыслие и вольность нравов[355].

Ступив на этот путь, цензура принялась, так сказать, ореспубликанивать театр и санкюлотизировать его репертуар. «У нас не будет больше деликатной цензуры в накрахмаленных манжетах Сюара, но будет зато впредь мужественное «усмотрение» Шометов и Геберов. Они не пользуются ножницами для купюр, а действуют просто «удавкой». Не уродуют пьес сокращениями, а просто «душат» их целиком. И если вольтеровский «Магомет»[356] и избежал этой веревки, то ему все же пришлось нацепить на себя трехцветную кокарду».

По такой наклонной плоскости нетрудно было снова скатиться на дно неизмеримой пропасти человеческой глупости. У братьев Гонкуров отмечены некоторые наиболее выдающиеся из преступных подвигов революционной цензуры; авторы рассказывают, как возмутительно были исковерканы Расин, Корнель, Мольер и даже сам Вольтер. Малейшее слово, которое могло бы задеть «цивизм» публики, столь легко вспыхивающий по самому ничтожному поводу, или вовсе вычеркивалось, или заменялось чем-нибудь «приблизительным».

После изгнания со сцены королей и придворных и ее, так сказать, демократизации, слово «камердинер», как придворного происхождения, уже не могло более произноситься с подмостков. Пришлось в «Мизантропе» Мольера внести поправку и вместо слов «а камердинер мой заведует газетой» говорить: «а самый глупый человек заведует газетой», что, конечно, далеко не лестно для корпорации камердинеров. Но не надо забывать, что революционное равенство уже нивелировало общество, и в принципе, если не на самом деле, класса прислуги тогда не существовало.

Из «Магомета» выбрасываются следующие слова, как раз подходившие к данному времени:

Срази, Великий Бог, всех на земле Ты этой,
Кто радостно на ней кровь ближних проливает…

Впрочем, во время представления пьесы «Кай Гракх», когда один из действующих лиц провозглашает со сцены: «Законов, а не крови!», присутствовавший в театре член Конвента Альбитт закричал в виде протеста: «Нет, крови, — не законов!»

Известный знаток театра Фагэ[357] посвящает этому очищенному, «ad usum delphinorum», театру страницы, полные глубокого интереса. Он приводит, как сообразно требованиям минуты переделывал Мольера цензор-поэт Гойе. Надо признать, что он иногда справлялся с этой дерзкой задачей довольно недурно. Мы ограничимся лишь следующей цитатой.

В сцене портретов, в «Мизантропе», Мольер говорит:

...Рассказчик скучный,
Он никогда из тона барского не выйдет;
В блестящем обществе витает вечно он,
И с языка его — принцессы, герцоги не сходят.
От знати — прямо без ума,
Твердит лишь вечно об охотах,
Об экипажах, лошадях!..
На «ты» со всем он высшим светом,
И слово, просто, «господин»
Услышать от него нельзя!

Цензорская версия гласила следующее:

...Рассказчик скучный,
Он никогда не снидет с высоты;
В блестящем обществе витает вечно он,
И о богатстве лишь своем твердит:
О женщинах, о лошадях, охотах и собаках,
О землях, о домах — один лишь разговор.
Услышать слово «ты» — ему уже обида,
А слова, просто, «гражданин»
Не скажет никогда...

Фагэ замечает, что это поистине язык Селимены, превратившейся в «вязальщицу». Во всяком случае, это — ловкая подделка, мирившая уважение к Мольеру с требованиями времени.

Но как бы она ни была удачна, о ней можно только пожалеть, так как она слишком хорошо отражает жалкое состояние умов людей, стоявших у власти. Прибавим, что и знатоки тоже отнеслись к ней неодобрительно. Один из них, например, пишет вполне основательно: «Оставим Мольера так, как он есть, и не будем его уродовать во имя плохо понимаемого патриотизма. Если мы будем так же продолжать, то рискуем его рассердить, и как бы он своим сардоническим стихом не сравнил нас с теми из его персонажей, которые укоряют друг друга за то, что убили блоху с чрезмерным озлоблением!»[358]

Иногда цензура совершенно запрещала представление какой-нибудь пьесы. Можно ли себе представить, что такому остракизму подверглась, между прочим, «Женитьба Фигаро», которую революция, казалось, должна была бы приветствовать как предвозвестницу новых идей! Вот в каких выражениях было составлено Марсельской городской театральной комиссией запрещение бессмертного произведения Бомарше:

«Принимая во внимание, что пьеса безнравственна и недостойна внимания республиканцев, что характеры представленных в ней лиц напоминают лишь о горделивых предрассудках, о началах деспотизма и об антисоциальной религии; что в ней превозносятся пороки великих мира и предаются осмеянию суды и должностные лица; принимая, наконец, во внимание, что эта пьеса не может быть представляема иначе, как только в костюмах, ныне воспрещенных, и что этого одного мотива уже достаточно, чтобы сознавать опасность ее публичного представления, не входя в дальнейшие соображения относительно ее безнравственности и несвоевременности... и т. д.».

Вот до каких абсурдов могла доводить неумолимая логика людей, исходивших из справедливой идеи, но неправильно ее толкующих и вследствие этого уклоняющихся в сторону от здравого смысла, не видя перед собой пропасти, в которую устремляются.

Не служит ли это еще новым подтверждением нашего основного положения, что революционный невроз сопровождается полным и ясно очерченным извращением критиче-

ского мышления не потому, чтобы при этом ослаблялись умственные способности, которые, наоборот, до известной степени, может быть, даже обостряются под влиянием возбуждения, вызываемого новым, полным неожиданностей положением, но потому, что рассудок как бы теряет свою уравновешенность, необходимую для правильного и беспристрастного суждения: начинает смотреть на весь внешний мир как бы через неправильные очки, чрезмерно увеличивающие некоторые предметы и чрезмерно уменьшающие другие. При таких условиях мысль вырабатывается разумом уже не из нормальных элементов, впечатлений и ощущений.

В нашем кратком обзоре цензурных изощрений мы встречаемся именно с характерным проявлением подобной «болезни мышления», доходящей до воспрещения «Женитьбы Фигаро» как антиреволюционной, в то время как такая же, не менее «больная», цензура монархических стран воспрещала ее в качестве чрезмерно вольнодумной.

Нельзя все же в заключение не отметить, что иногда и цензура, хотя, правда, редко, проявляла признаки здравого смысла.

Мы указывали выше, с какой жадностью публика приветствовала все пьесы, подвергавшие осмеянию все, что касалось религии. Комитет общественного спасения на этот раз, вразрез с народным вкусом, постановил 2 нивоза II г. следующее решение: «Комитет общественного спасения, в видах противодействия антиреволюционным интригам, направленным к нарушению общественного спокойствия и вызову религиозной вражды; в целях достичь уважения декрета Национального конвента от 16 фримера, обеспечивающего мирную свободу вероисповеданий, воспрещает оперному и всем прочим театрам публичное представление на сцене пьес под заглавием: «Могила надувал» и «Храм истины», а равно и всяких других, преследующих те же тенденции, под страхом наказания, указанного в предыдущем декрете о лицах, злоупотребляющих театром в интересах врагов революции».

Под этим декретом стояли подписи Робеспьера, Барэра, Приёра, Бильо-Варенна, Карно, Линде и Колло д’ Эрбуа.

В воспрещенной пьесе представлялась на сцене торжественная обедня с полной обстановкой: алтарем, паникадилом, распятием, чашей, священническими облачениями. Актер, служивший обедню, произносил «Отче наш», а присутствующие делали все возможное, чтобы представить церемонию в смешном виде[359].

Немного спустя запретили «Праздник Разума», сочинение Гретри, и «Св. Яичницу», капуцинаду, в которой монахи благословляли народ яичницей.

Как справедливо замечает один из современников, незачем было изображать на сцене и подвергать осмеянию духовенство и религию, так как на самом деле ни того ни другого более уже не существовало.

Таким образом, если цензура нередко и допускала самый бестактный и нелепый произвол, то все же даже и она озарялась изредка лучом здравого смысла.

Факт несомненно настолько редкий, что его стоит отметить на страницах истории.

Глава III. Революционная поэзия

Сущность драматического искусства эпохи революции сводится, как мы видели в предыдущей главе, к почти что ребяческим забавам; в театрах безраздельно царят фарсы и феерии, и нет ничего сколько-нибудь серьезного. Остается познакомиться с современной данному времени поэзией, искусством, отражающим обыкновенно довольно верно характер своей эпохи и умственное состояние общества.

В царствование Великого короля Людовика XIV поэзия была торжественна и выдержана в стиле размеренного александрийского стиха. Позднее, при Людовике XV и маркизе Помпадур, она начинает игриво щебетать, становится легче и доступнее, выносится, так сказать, из дворцов на улицу. С Марией Антуанеттой она впадает в деланный тон притворной чистоты и детской наивности. Наступает торжество барашков, разукрашенных атласными лентами...

Жан-Жак Руссо своим «Эмилем» вводит моду на сентиментальное настроение, «вдохновляющее госпожу Жанлис в ее скучных воспитательных романах и модного Бартелеми с его «Прогулками молодого Анахарзиса».

К этому времени относится расцвет той поэзии, типичным представителем которой являются, например, «Сады» Делиля, бледный сколок с переведенных им же Георгик[360]. Все это, однако, уже предвозвестники революции, пока еще не социальной и не политической, но лишь салонной — революции вкусов и мод. В обществе начинают оживленно дебатироваться философские темы, вытесняя прежнюю игриво легкомысленную болтовню, род нашего современного флирта. Праздные люди от пустяков обращаются к делу и, наравне с другими, работают над умственным обновлением Франции. Близится время коренного переворота в образе жизни и в нравах...

В 1783 г. поэт Лебрен, тайный секретарь для поручений принца Конти, Великого приора Франции, написал и опубликовал оду «К королям», над которой следовало бы призадуматься тем, кого народный гнев вскоре заклеймил прозвищем «тиранов»:

Оставьте вы громы, владыки земные,
Вы башни и толстые стены, —
Оплот деспотизма, разрушьте,
Постройте взамен — алтари всенародной любви.

Забудьте величие тронов своих,
И правдой, добром и заботой
Короны свои искупите!

В свою очередь, новые времена предрекали поэты и менее первоклассные. Они воспевали тяготы королевского звания, и, не осмеливаясь задевать прямо Людовика XVI, обрушивались на Фридриха II.

Но Людовик XVI был глух к этим прозрачным намекам, призывавшим его распахнуть двери Бастилии и дать своим подданным вздохнуть свободнее. За это дело взялся сам народ и выполнил его грубо и жестоко. Комендант государственной тюрьмы поплатился головой за неотзывчивость своего монарха.

С этих пор народная муза перестала томиться от недостатка тем. Она на все лады прославляла день 14 июля. Бесчинства следующего дня комментировались с большой снисходительностью в стихах современных поэтов. Де-Лоне оказывался просто:

Изменником, законы чести преступившим…

Что же касается Эли, Гюллена и их сотоварищей, то народная поэзия возносила их до небес, и их имена тотчас же стали крайне популярны. Конечно, при этом не преминули обратиться к древним образцам:

О Рим, героями обильный,
Что тебе дали целый мир!
Имел ли ты героев больших
Чем те, — тиранов кто низверг?

С тех пор, само собою разумеется, нет ни одного революционного акта, который бы не послужил сюжетом для народного творчества; в одно и то же время оно выражается и в эпической, и в лирической, и в дидактической формах; поэзия становится оригинальной, причудливой, своенравной... Самое возвышенное перемешивается в ней с низменным и плоским. Порой вдохновение достигает высот Парнаса, а порой принижается и пресмыкается, как забитая собака.

Когда один из таких неведомых поэтов пресерьезно провозгласил:

«Свобода слова — гений порождает!»,

то немало граждан не менее серьезно возомнило себя маленькими Пиндарами и принялось возвеличивать революцию в возвышенных и звонких, но подчас сильно страдающих недостатком смысла рифмах. Один пишет глубокомысленно в корнелевском духе, точно изречение для надгробного памятника:

Какова бы ни была колыбель державы —
Будет только народ корнем царской славы!

Другой, некий Дериг, после строгой критики вергильевской Энеиды преподносит стихотворную хронологию революционных событий и воспевает падение Бастилии в таких виршах:

День угасает... Плывет Бастилия в огне...
Плывет и утопает на дымном моря дне!

По-видимому, почтенный историограф-поэт вместе с Бастилией утопил в дыму и собственный здравый смысл.

Во время гражданских празднеств революционная поэзия забила ключом и настало прямо стихотворное наводнение. Праздник Федерации вдохновил бесчисленное количество трубадуров: по поводу только этого одного торжества было сложено не более и не менее как 4200 стихотворений. Нечего и говорить, что, за исключением нескольких удачных рифм и немногих действительно поэтических образов, во всей этой куче якобы поэзии нет ничего, кроме традиционного банального хлама, приноровленного к данному случаю; он живо

напоминает куплеты, слагаемые и распеваемые на улицах Парижа в дни его посещения иностранными государями, которые забываются на другой же день навеки.

Даже рабочие, устраивавшие праздничные балаганы на Марсовом поле, копали землю под наивные песни в таком роде:

Мы кирку и лопату
Возьмем по доброй воле,
Народу строить хату
На Марсовом, — на поле.
Смелей, бодрей, ребята,
Трудитесь все, доколе
Не вырастет нам хата
На Марсовом, — на поле!

А утром, в самый день праздника, когда ливень охладил было пыл федералистов, какой-то стихоплет импровизировал куплет, быстро разлетевшийся по всему народу и сохранившийся даже и доныне:

До дождя нам нету дела,
Нет нам дела до господ,
Наше дело все ж пойдет,
Хоть измокнет наше тело.
А как дождичек пройдет,
Все пойдет, пойдет, пойдет…

В это же время Мариус-Жозеф Шенье, после успеха его «Карла IX» ставший присяжным поэтом революции, писал свой знаменитый, вдохновенный гимн свободе, заканчивавшийся гордыми и энергичными строфами:

Тяжкий грех от веков заблуждения
Нам судьбой искупить суждено.
Человечество с мира творения
Для свободы одной рождено:
Потому как тиран, так и раб, одинаково,
Нарушая закон Провидения,

Лишь достойны презрения всякого,
Если нет в них к равенству стремления.

Все празднества Федерации, все гражданские торжества и погребальные апофеозы порождали народные песни и официальные гимны, различные по достоинству, но одинаковые по своим мотивам. Шенье, Лебрен, Мерсье-Компьенский, Франсуа-Нёфшательский, Лагарп — все сочиняли с большим или меньшим успехом подобающие случаю оды; из них иные были очень недурны, а другие ребячески пусты и наивны.

Наплыв добровольцев в войска тоже давал богатые темы для рифмоплетов. Отечество воспевалось и в прозе, и в стихах, и на трибуне, и прямо на улице. Первый из вызвавших народный энтузиазм гимн был не бессмертная «Марсельеза», а «Спасение Франции»:

Станем на страже отечества,
Станем на страже мы прав...

....

Пусть лучше смерть, чем неволя,
Будет французов девизом!

Этот гимн сочинен Ройем в 1791 г. на мотив из оперы Далайрака «Рено д'Аст». Успехом своим он, наверное, был обязан своей простоте и общедоступности. Много лет спустя его откопали вновь и создали из него народный гимн для империи. Слово «empire», встречающееся в гимне в смысле «государство», стало писаться с большой буквы и превратилось в «Империю».

В 1792 г. страсбургский мэр Дитрих в момент объявления войны с Германией заказал одному из офицеров местного гарнизона, владевшему стихом, песню для воодушевления солдат к бою. Руже де Лиль взялся за перо и в одну ночь сочинил «Военную песню для рейнской армии», получившую сразу огромный успех. Ее принял первым, в качестве своего марша, батальон Барбару, а затем она стала гимном марсельцев — «Марсельезой». В Марселе ее пропел в первый раз федералист Мирёр, и на следующий день она появилась в мест-

ной газете. От Средиземного моря до Парижа волонтеры по всей Франции пронесли зажигательные строфы поэта-воина, и вскоре после этого в Париже «Марсельеза» была принята, как первая военная песнь Французской республики.

Долгое время у Руже де Лиля оспаривали авторство «Марсельезы», и в особенности не хотели признать его сочинителем ее музыки, гораздо более оригинальной, чем сами слова. Немцы пытались даже доказывать, что ее мелодия похищена из духовной мессы некоего пастора Гольцбауера или Гольцмана. Другой критик утверждал, что она заимствована из оратории Гризона де С. Омера. Но в действительности, не подлежит никакому сомнению, что она вся сполна принадлежит творчеству Руже де Лиля. Поэт, музыкант, не имевший успеха в своих многочисленных произведениях, достиг всей своей славы только ею одной, излив в ней всю силу своего вдохновения. «Марсельеза», которую теперь затрепали политиканы всего мира, по словам Жерюзе, представляет один цельный порыв, взрыв воинственного восторга. Она воплощает в себе сполна весь республиканский идеал, хотя по странной иронии судьбы и сочинена роялистом. Она была, впрочем, впоследствии несколько изменена и дополнена последним куплетом, известным под названием «детского»:

А когда старших уж не станет,
Мы их места тогда займем.

Автор хотел создать главным образом патриотическую военную песню, но, тем не менее, она оказалась вся пропитанной насквозь революционным духом. Даже столь свойственная последнему сентиментальность слышится в словах:

Пощадите несчастных, — то жертвы:
Против воли ведут их на нас!

«Марсельеза» полна избитыми словцами, которые в таком ходу у ораторов, верящих в воспламеняемость толпы от зажигательных речей. Чего тут только нет: оковы и рабство, деспоты и тираны, и даже тигры нагромождены щедрою рукой; но все же, невзирая на все недостатки, на ее напыщенность

и грубость колорита, она местами доходит до божественного, чисто гомеровского пафоса:

Любовь к родине святая,
Веди нас, мстителей, вперед!
Свобода, свобода дорогая,
Стань грудью за верный народ[361].

Одинаковые положения вызывают и одинаковые речи. Когда афиняне стремились на Саламинскую битву, они восклицали с таким же энтузиазмом, как и волонтеры 1792 г.:

Спешите, Греции сыны,
Спасайте родину свою,
Спасайте жен, спасайте храмы,
Богов — своих отцов,
Могилы предков ваших!
Одной битвой разрешится
Судьба ваша навек.

Что касается музыки «Марсельезы», то она действительно могущественна, величава и оригинальна. Начало звучит, как марш боевой атаки, затем мотив разрастается и укрепляется и, наконец, грандиозный во всей своей простоте, раздается, как гром орудий, а в унисон с этими нотами трепещет вся душа родины республики, точно развернутое на ветру трехцветное знамя, облетевшее вместе со своим гимном весь цивилизованный мир.

Это чистое эпическое искусство, особенно привлекательное по своей полной самобытности. Только в такие восторженные моменты, как 1792 г., оно могло родиться и расцвести.

Но от великого до смешного — один шаг. Современный Квинтильян — Лагарп, представляет этому удивительное доказательство.

В конце того же 1792 г. был открыт Лицей; под этим, заимствованным из древности, названием было известно учебное заведение, в котором профессорствовали Фуркрой, Шапталь и Лагарп.

Здесь этот Аристотель восемнадцатого века читал свой знаменитый курс литературы, вызывавший в те времена единодушные восторги, а ныне столь же единодушно и справедливо оставленный и забытый. Лагарп чувствовал в это время какую-то особенную потребность доказать чем-нибудь свой великий патриотизм.

Довольно равнодушный к революции, он долгое время говорил о ее новых принципах темно и загадочно, но, наконец, пришло время, когда и ему надо было сжигать свои корабли. Он написал гимн свободе, который должен был быть величествен, а на самом деле вышел просто карикатурен. В нем, между прочим, находятся следующие сомнительного вкуса строки:

За меч, друзья, за меч!
Резню он ускоряет,
На поле брани лечь
Француз всегда желает
С своим мечом в руках.
Железо жаждет крови,
Все повергает в прах;
Кровь злобу разжигает
Над злобой смерть витает…

К неудачному поэту подошел бы совет его знаменитого предшественника Буало: «Уж лучше будь ты штукатуром, если это твое ремесло!» История умалчивает, как относились к стихотворному таланту Лагарпа его ученики и не уменьшилось ли после этого гимна их почитание к его таланту? По всей вероятности, и они сильно удивились, увидав своего всегда холодного и умеренного профессора в таком припадке воинственного жанра.

Лебрен однажды тоже согрешил рифмами в честь погибших моряков «Мстителя». Дегиль робко и ехидно выпустил несколько двусмысленных, антиреволюционных строк, а Мариус-Жозеф Шенье печет до пресыщения, точно по заказу, дифирамбы и гимны; за ними Давид, Дефорж и много других, еще менее известных, воспевают в стихах бессмертные принципы, пресерьезно во-

ображая, что они переживают родовые муки вдохновения. Все это поэзия, пожалуй, и почтенная, и не лишенная даже некоторого величия, но быстро преходящая и не имеющая никакого отношения к обстоятельствам и событиям данного времени. Совершенно также и победы империи нашли себе достойного певца лишь много лет спустя после ее падения. Нужен был Виктор Гюго для истинного прославления Великой армии, не нашедшей в свое время настоящего бытописателя-поэта. Искусство тоже послушно закону контрастов, и хотя обыкновенно утверждают, что оно следует параллельно событиям, но приведенные два примера доказывают совсем противное.

Из этого еще не следует заключать, что революция не имела вовсе своих поэтов: одного имени Андре Шенье довольно для доказательства противного; но поэта чисто эпического, который вдохновлялся бы исключительно ее историей, у нее не было. Кроме Руже де Лиля, ни один гений не зачал ничего великого под ее непосредственным объятием, не расцвел, так сказать, под ее живительным дыханием.

Лишь по временам Андре Шенье с увлекательным красноречием отдается новым началам; в память разрушенной Бастилии он, например, восклицает:

Содрогнулась земля и печаль позабыла,
Род людской гордо весь просиял;
Пало все, что давно уже сгнило!
И до тронов далеких тот звук прозвучал!
Спохватились тираны, но поздно,
Зашатались венцы на них грозно!

Однако не подобные стихотворения составляют славу А. Шенье. Он славился своими элегиями, ласковыми, грустными вроде вздохов «Юной пленницы»:

«Мне рано умирать!»

В истории французской литературы он и занимает почетное место поэта элегического, а не эпического.

Настоящую народную поэзию, восторженную и остроумную, конечно, не обузданную никакими правилами версифи-

кации, но зато нередко богатую удачным вымыслом, а подчас и необычной формой, мы находим в творениях безымянной и шумной толпы, пригретой революцией, как стрекоза — южным солнцем.

Во Франции все выражается в песне, в ней проходят и дела и люди. Конституция 1791 г. не миновала водевиля, и публика огулом напевала:

Прекрасная картина:
Проступки все и козни
Решает гильотина,
Без споров и без розни.
Судить аристократа —
Свидетелей не надо,
Но тридцать штук на брата —
Давай для демократа!!

Гражданская присяга дает тоже повод к вышучиваниям и насмешкам:

Дешевле клятву принести,
Чем денег куш — внести…

Уличный певец игриво предсказывает судьбу нарождающегося феминизма:

А достигнув своих прав,
Как же им не возмечтать,
Все покажут тут свой нрав, —
Мужей дюжиной менять!![362]

Сатира не щадила ни правой ни левой. Если вышучивалась конституция 1791 г., то король подвергался еще большим насмешкам, в особенности после возвращения его из Варенн. На это неудачное бегство королевской фамилии было написано не меньше стихов, чем по случаю Федерации. Популярные куплеты на «Луи-толстяка» распевались на всевозможные мотивы, даже на церковные!

Потом доходит очередь и до народных представителей, которых попрекают их восемнадцатью франками суточных,

попадает и якобинцам, и конституционным священникам, которые начинают жениться[363]. Затем идет песня «рыночных ломовиков», которые после бурной пирушки утешаются тем, что:

И праздника не может быть,
Если посуды не побить!

Февраль, который в течение восемнадцати столетий несправедливо укорачивался против других, получает, наконец, благодаря автору нового календаря Ромму удовлетворение и познает сладости равенства. В комической народной песне описываются все прелести новой эры, благодаря которой еженедельный отдых превратился в ежедекадный, т. е. вместо отдохновения на седьмой день, таковое теперь наступает лишь на десятый.

Союзникам, действующим против Франции, тоже достается порядком.

И прусаки, и австрийцы выставляются в песнях удирающими от французских войск во все лопатки, с коликами в животе. Натурально, что французские волонтеры воспеваются превыше небес. Из сложенных в их честь гимнов на первом месте стоит гимн Мариуса-Жозефа Шенье, известный под заглавием «Песни отправления»[364].

Даже «Дядя Дюшен», и тот разражается здорово-патриотическими песнями, конечно самого забористого содержания!

Народная муза не щадила даже суровых народных трибунов: Марата и Робеспьера.

Это был в своем роде реванш парижан, охваченных террором. Француз, кажется, никогда не бывает остроумнее и находчивее, чем когда рискует своей свободой и безопасностью. В разгар террора нельзя было вздохнуть свободно, а народ все пел, хохотал, острил, и находились даже такие молодцы, которые, уже продевая голову в очко гильотины, все еще насвистывали какой-нибудь игривый модный мотив.

Но, кроме чисто политической поэзии, во время революции была и другая. Под гнетом гражданских мотивов не увядал

сентиментальный «незабудок», для которого всегда есть место в сердце парижанина и особенно парижанки.

Кровавая гвоздика никогда не была в силах его окончательно заглушить… Во все время революции, и, кажется, особенно в разгар террора, сентиментальность процветала как никогда. В этом нет, впрочем, ничего удивительного, так как все философское учение Руссо, положенное в основу революционных идей, усиленно проповедовало непременный возврат к природе.

Слащавая чувствительность всевозможных пасторалей, сонетов и эклог была прямым наследием натуралистических трактатов великого философа природы Жан-Жака Руссо.

Трудно даже теперь поверить, насколько были сентиментальны люди революционного периода; растрогать их ничего не стоило, но, конечно, только не в том, что касалось «меча закона». Зато в частной жизни они прямо изощрялись в любезностях и нежностях.

Нервная, отзывчивая публика прямо таяла от восторга перед чувствительными произведениями Фабра д'Эглантина или Флориана, и страшные санкюлоты искренно выказывали нежнейшие симпатии и интерес к какой-нибудь потерявшейся в степи пастушке или к любовным печалям Жано и Колена…[365]

Таким образом и в области поэзии замечается снова тот же резкий контраст, представляющий характерную и исключительную особенность душевного настроения революционного общества. Все в нем неожиданно и все как будто друг другу противоречит. Ожидаешь встретить величественную эпопею — и наталкиваешься на смехотворную буффонаду; представляешь себе какого-нибудь Робеспьера кровожадным тигром — и встречаешь элегантного, аккуратного и сентиментального дворянчика; ожидаешь от Конвента одних недолговечных благоглупостей — и становишься в тупик перед величием и прочностью его творений. И наконец, наоборот, когда уже начинаешь верить в незыблемость новых основ свободы, какой-нибудь Бонапарт внезапно и неожиданно разрушает ее зыбкий престол…

Революция оставила огромное и весьма пестрое поэтическое наследие, к сожалению, самой незначительной внутренней ценности. Неужели же великие социальные потрясения так же способны подавлять вдохновение поэтов, как может бурный ветер заглушить едва слышное пение стрекозы?..

Отдел седьмой
Религиозный невроз



Глава I. Бог и революция

Для определения умственного состояния общества в известную эпоху необходимо прежде всего изучить его религиозные воззрения и настроение, так как ни в чем характер народной массы не отражается лучше, как в ее верованиях.

Если революция преследовала католицизм, то во всяком случае ошибочно думать, что она совершала это в видах установления «свободомыслия». Неуспех культа «Разума» служит для этого достаточно убедительным доказательством. Суть лишь в том, что с католическим духовенством, как представителем реакции, неустанно велась ожесточенная борьба, а так как конституция 1791 г. не могла достичь его подчинения революции, то в дальнейшей борьбе ей пришлось приступить уже к искоренению самого христианства. В этом надо, однако, все же видеть скорее попытку заменить старую, подточенную в основании Вольтером и Руссо, религию — новой, чем стремление к полному атеизму и уничтожению всякой идеи культа.

Таким образом, революционное общество 1789–1793 гг. должно несомненно считаться верующим, и даже более того — настроенным мистически. В этом оно резко отличается от поколений 1830, 1848 и 1871 гг. Его духовное настроение напоминает скорее современное настроение русского народа, который для завоевания своей свободы шел под расстрел во главе со священником, неся хоругви и иконы и обороняясь от казацких нагаек распятием[366].

Этот мистицизм, так резко отразившийся на событиях 1791–1794 гг., проявлялся в весьма разнообразных формах, причем следует заметить, что первые его проявления по времени предшествовали открытому взрыву народного возмущения 1789 г.

В течение всего столетия многочисленные симптомы уже указывали на наличность религиозного возбуждения в народе,

и особенно в обществе. Нужно ли упоминать о всеобщем интересе, вызванном, например, теософическим учением Сведенборга, который тогда успел основать новую церковь, а теперь представляется нам лишь очень обыкновенным, восторженным духовидцем? Говорить ли об увлечении наивных и суеверных людей шарлатаном Калиостро, приподнявшим перед их ослепленными взорами таинственную завесу иного мира?

Экстазы сен-медардских кликуш смущали весь город, привлекали на себя истерическими криками внимание общества и самого Парламента и почти накануне созыва Генеральных штатов собрали миллион сто тысяч ливров в кассу Общества Перетты[367]. Наконец, упоминать ли о магнетических сеансах Месмера, «магический бак» которого манил к себе легковерных адептов, как приманивает жаворонков ловушка с вращающимся зеркалом.

В сущности, никогда не было эпохи более прибыльной для всякого рода шарлатанов, эксплуатировавших влечение общества к «оккультизму», его жажду проникнуть в тайну, «не постижимую уму». Что мог поделать тогда едва нарождающийся материализм против этой всеобщей страсти к неведомому, в которой воскресал под новой формой средневековый мистицизм? Калиостро и Месмер, каждый в своем роде, были не менее могущественны, чем Дидро и Гельвеций.

Когда разразилась революция, мистическое настроение от этого только еще более усилилось. По общему клиническому закону моральные стимулы общества всегда проявляются во время революционных событий в повышенном масштабе. Под влиянием понижения рассудительных способностей умственный кругозор суживается, а впечатлительность толпы, напротив, развивается до чудовищных размеров. К числу таких аффектов относится, несомненно, и мистицизм как стремление к сверхъестественному, к обоготворению и символизации отвлеченных идей; он вскоре находит себе выражение в массовых психических явлениях, при коих в один общий унисон звучат все души адептов. Мы находим здесь полное применение закона Декарта, строго отделяющего человеческий интеллект от души. Революционный невроз

именно вызывает в массе чрезмерно усиленную, восторженную деятельность в области чувств и понижение ее чисто рассудочных способностей.

Атеизм во времена террора был еще достоянием аристократического класса[368] и поэтому являлся даже причиной гибели его сторонников. Не смотрит ли, впрочем, враждебно на атеистов сам Жан-Жак Руссо в своем «Общественном договоре»?

Становится очевидным, что существование идеи Бога не подвергалось при революции никакому сомнению, и сам Иисус Христос являлся в революционном представлении первейшим из санкюлотов.

26 марта 1792 г. Робеспьер излагает якобинцам свое религиозное мировоззрение без всякой политической тенденции. Он говорит о Провидении, охраняющем нас более, чем наша собственная мудрость, о небесной милости, которая неизменно спасает нас вопреки нам самим, и о Предвечном Существе, которое «исключительно» покровительствует революции.

Эти заявления вызвали такие бурные протесты со стороны жирондистов, особенно Гадэ, что президент клуба вынужден был прервать заседание. Но значительная часть присутствующих примкнула к Робеспьеру, а по прошествии нескольких месяцев большинство якобинцев было на его стороне.

Вот анекдот, характеризующий настроение собраний, руководивших общественным мнением, и его коноводов. На собрании какого-то революционного комитета был поднят вопрос о том, следует ли упразднить или сохранить Господа Бога? Какой-то метафизик, возомнивший себя новым Брутом, воскликнул: «Пора заменить этот призрак чем-нибудь более осязаемым. Я предпочел бы видеть в наших храмах изображение Сцевол и Равальяков, чем образ Бога, польза которого для меня более чем сомнительна». — «Нет более Бога!» — кричит какой-то цирюльник. «Перестаньте, — возразил им один из присутствующих, — не во гнев будь вам сказано, я стою за Бога; он дал нам революцию и осыпает нас благами земными...» — и предложил сохранить Бога в книгах, изгнав, впрочем, его изображения из общественных мест[369].

Таким образом, каждый раз, когда независимые, как например Дантон, принимали меры против священников или религии, таковые сильно обостряли общественное мнение.

Праздник Тела Господня в 1792 г. был причиной беспорядков, так как постановлением Коммуны национальной гвардии было воспрещено участие в процессии; когда же некоторые из граждан отказались украсить свои дома по этому случаю флагами, то послышались голоса против них и в защиту Бога. Запрещение полуночной обедни в ночь под Рождество, празднования Крещенского кануна, посвященного памяти волхвов или, как они называются по католической церковной терминологии, — царей, равно как и дня св. Женевьевы в начале следующего 1793 г., точно так же вызывало неудовольствие и даже возмущение верующих.

Революционное общество дает массу примеров проявления деизма. Бюст Гельвеция, украшавший залу жирондистов, был уничтожен по предложению Робеспьера, говорившего, что «если бы Гельвеций жил во времена революции, то он лишь увеличил бы собою толпу интриганов, колеблющих спокойствие отечества». Действительно, Гельвеций, основатель материалистической морали, был противником философии «Савойского викария», и этого одного было уже достаточно, чтобы его память, некогда столь чтимая, была предана анафеме. Если бы, впрочем, якобинцам попали под руку статуи Дидро, д'Аламбера и Вольтера, то и они, вероятно, подверглись бы той же участи.

Под влиянием народных празднеств, заменивших церковные церемонии, в массе стал особенно распространяться мистицизм. В памятные дни, когда всенародно прославлялась добродетель какого-нибудь героя или торжество отвлеченного принципа, какая-то пророческая экзальтация преображала этих людей, стремящихся всеми силами души к новым идеалам. Только вновь нарождающиеся религии способны вызывать подобные возвышенные порывы.

Благодаря умственной передаче, которая совершается в массах тем легче, чем более они сплочены, последние легко охватываются взрывами энтузиазма, граничащего с фанатиз-

мом. «Разложение сознательной и торжество бессознательной личности, распространение идей путем морального внушения и стремление к немедленному их осуществлению — таковы отличительные признаки всякого индивида, поглощаемого толпой»[370], причем слияние душ становится полным и окончательным.

Революция настолько постигала важное значение национальных торжеств, что превратила их в государственные учреждения. По пословице «у французов все кончается песней» и во времена Законодательного собрания и Конвента все переводилось на празднества: «Федерации», «14 июля 1789 г.», «10 августа 1792 г.», «Падения королевства», «Основания Республики» и т. д. Затем следуют величавые погребальные процессии в честь солдат Шатовьё, Симоно, эгампского мэра, Лепелетье де Сен-Фаржо, Марата, Руссо, Гоша и т. д. Наконец, сюда же относятся и те празднования, которыми Конвент хотел заменить католические праздники и которые чествовали: юность, брак, материнство, старость, весну, жатву, уборку винограда, бессмертные принципы, поэзию, искусство и пр. и пр.

Конвенту были нужны символы. Двадцать веков религиозного атавизма угнетали душу его членов, проникнутых не столько наукой, сколько метафизикой. А народ, еще менее свободный от предрассудков, чем его представители, охотно обоготворял эти символы. Как глубоко верны слова Вольтера, пущенные в ход Робеспьером: «Если бы Бога не было, его бы следовало изобрести»[371].

Христианское единобожие сменялось незаметно многообразным пантеизмом, в сущности, еще более приближающимся к мистицизму, чем самая католическая догма.

Некоторые из национальных празднеств, как, например, праздник Федерации на Марсовом поле, носили чисто религиозный характер. Впоследствии, когда католицизм стал открыто предметом революционного преследования, эти празднества хотя и сделались светскими, но тем не менее сохранили присущий им мистический характер. Так, праздник 10 августа 1793 г. учрежденный в память падения королевско-

го режима и названный праздником «Единства и нераздельности республики», является самым типичным; в нем еще не появляется обрядов нового культа Разума, но, однако, его организаторы все-таки как будто считают необходимым копировать древние обряды церкви, до такой степени глубоко внедрились и в них и во всем народе любовь и привычка к символизму.

Наподобие «несения креста» это торжество прерывалось на своем пути известными остановками. Первая была на площади Бастилии. На месте бывшей крепости возвышался фонтан «Возрождения», изображенный в виде могучей фигуры Природы, которая, надавливая свои набухшие сосцы, выбрасывала из них ключом две струи чистой прозрачной воды; 86 комиссаров — по одному на каждый департамент — приближаются к фонтану, чтобы испить этой целительной влаги. Во главе всех идет председатель Конвента, но прежде всего он поливает ею почву Свободы, как бы в воспоминание о древних жертвоприношениях.

Затем, прикоснувшись к чаше устами, он передает ее комиссарам; звуки «Марсельезы» подают сигнал к дальнейшему следованию, и вся процессия развертывается по бульварам. Вместо святых Даров, несомых в крестных ходах, здесь в шествии фигурирует ковчег со скрижалями «Прав человека». Каждый участник держит в руке пучок колосьев или фрукты.

Вторая остановка — это бульвар Пуасоньер, где воздвигнут портик, под которым процессию ожидают героини 5 и 6 октября 1789 г., сидя на пушках[372].

Третья остановка — Площадь Революции (Конкорды), где статуя Свободы уже заменяет статую Людовика XV. На огромном костре сложены в кучу все атрибуты низвергнутой королевской власти; каждый из 86 комиссаров несет к нему факел, и с дымом костра уносятся ввысь тысячи птиц, выпускаемых в этот момент из клеток.

Четвертая остановка — площадь Инвалидного дома. На искусственном холме возвышается колоссальная группа: единый французский народ, поражающий презренный федерализм[373].

Наконец пятая и последняя остановка — Марсово поле, куда нельзя проникнуть иначе, как пройдя под обширным «национальным» сводом-аркой; следует аллегорическая церемония у алтаря отечества: граждане, украшающие алтарь своими дарами, торжественно клянутся конституции, и затем президент, собрав у всех 86 комиссаров все их связки, перевязывает их трехцветной лентой и вручает народу этот объединенный скипетр со словами: «Народ, я вверяю твоим добродетелям охрану нашего сокровища — конституции». Скромное угощение и лирическо-патриотическая пантомима заканчивают торжество.

Восторг и энтузиазм революционной столицы, убежденной, что этой грандиозной манифестацией она укрепляет вечное царство республики, ни на минуту не оставляет народную толпу. Француз вообще, а француз конца XVIII века, воспитанный в школе Руссо, в особенности, не холодный позитивист, рассчитывающий каждый свой шаг и приводящий в исполнение каждое свое решение лишь после того, как он хладнокровно взвесит все его последствия. Он живет импульсами, увлекается всякой новой идеей, всяким живым, горячим словом. Это главное отличие латинских рас от расы англо-саксонской. Французы поистине южане, преисполненные энтузиазма и откровенности.

Нам пришлось бы повторяться, если бы мы стали приводить программы прочих официальных торжеств, установленных Национальным конвентом. На них всех лежит тот же аллегорический отпечаток, одинаковый с описанным. Переходя к церемониям культа Разума, а затем Верховного Существа, мы должны признать, что террористическое и терроризованное общество было в это время одержимо настоящим религиозным, весьма близким к безумию, бредом, который все возрастал по мере успехов диктатуры Робеспьера[374]. Интересно, что Гебер, Шомет и другие члены Парижской коммуны, считавшиеся атеистами и проповедовавшие полную духовную свободу, сами же должны были возвести в догмат свою философию и закрепить этот догмат обрядами, службами и церемониями. Даже эти свободные мыслители не осмелились

обойтись без божественных символов. Не служит ли это наилучшим доказательством господства в обществе страшного мистицизма? Торжество Разума, отпразднованное в соборе Парижской Богоматери представителями Коммуны и всех департаментов Франции 20 брюмера II г., в 10-й день декады, привлекло огромное стечение народа. Конвент, который первоначально относился к этой манифестации неблагосклонно, не присутствовал на церемонии под предлогом того, что имел в этот день заседание; но, однако, как только последнее окончилось, значительная часть его членов отправилась в собор и здесь для них все торжество было повторено вновь. Оно носило очень театральный характер. Посреди храма была воздвигнута гора, скрывавшая церковные хоры. На вершине ее был устроен круглый портик в греческом стиле с надписью на фасаде: «Философии»; с каждой стороны его украшали бюсты ее апостолов: Вольтера, Руссо, Франклина и Монтескье.

На склоне горы пылал священный огонь Истины. Под звуки музыки две группы девушек, в трехцветных поясах, увенчанные цветами и с факелами в руках, пересекают гору, встречаются у алтаря, и каждая преклоняется перед божественным пламенем. Затем из храма выходит женщина, олицетворенная красота, в белом платье, голубом плаще и красном головном уборе. Это воплощение Свободы, перед которой преклоняются все республиканцы:

Снизойди, дочь природы, — Свобода,
Пред тобою не раб, что был встарь;
Из обломков былого, руками народа,
Здесь воздвигнут тебе сей алтарь.
Торжествуйте, царей победители,
Низвергнувшие ложных богов,
И Свобода пусть в этой обители
Поселится на веки веков.

Богиню Свободы изображала госпожа Мальяр, самая красивая артистка парижской оперы. Она, однако, вовсе не была почти нагой, одетой лишь в прозрачный газ, как это утверждала госпожа Жанлис. «Для изображения Свободы

мы взяли, — говорил в своей речи Шомет, — не холодный камень, а безукоризнейшее произведение природы, и ее священный образ воспламенил все сердца». На другой день «Дядя Дюшен» в особой статье превозносил красоту богини, «окруженной прекраснейшими грешницами оперы, которые, расставшись с предрассудками отжившей религии, ангельскими голосами возносили к небу патриотические гимны».

Во многих парижских секциях были организованы подобные же торжества. Церкви были обращены в храмы нового культа: Жюли Кандейль была богиней в Сен-Жерве, госпожа Обри в церкви Св. Евстахия, София Моморо в С.-Андре-Дезар. По странной иронии судьбы, семь лет спустя та же Обри сломала себе руки и ноги, упав с колосников в оперном театре. София Моморо, привлеченная вместе с мужем к процессу Гебера и его сообщников, познала в тюрьме Порт-Либр все прелести республиканской «свободы» и была освобождена лишь 8 прериаля, несколько времени спустя после казни ее мужа, Моморо, Гебера, Шомета, Ронсена и др. Это была прелестнейшая женщина, великолепно сложенная, с длинными, ниже пояса, черными волосами. Она носила греческий античный костюм, фригийскую шапку, голубой плащ-пеплум и копье в руке[375].

Низверженным богиням вообще не повезло. Только одна, Майльяр, снизойдя с алтаря «Разума» обратно на подмостки сцены, пожинала и затем вполне заслуженные артистические лавры[376].

Время от времени народ собирался в храмах и вместо обеден и служб слушал в них лекции морали. Десятого фримера артисты театров Республики и Оперы священнодействовали в бывшей приходской церкви Св. Роха, посвященной ныне Философии. Все символы католицизма были изгнаны из этого храма и заменены эмблемами Разума. Актер Монвель, пастырь новой религии, входил на кафедру одетый в трехцветный стихарь. Его проповедь носила отпечаток чистейшего атеизма. «Трудно постичь, — возвещал он, — чтобы существовал Творец, населивший земной шар жертвами, обреченными пасть от его собственной мстительной руки». Между слушателями

поднялись ропот и протесты. «Мы с сожалением постигли, — говорит по этому поводу один из современников, — что он совершенно не верил в бытие Верховного Существа, карающего или награждающего нас после нашей смерти»[377]. Монвель, однако, вывернулся, перейдя тотчас в область политики. По его словам, например, оказывалось, будто бы Мария-Антуанетта сожалела, что не могла искупаться в крови всех французов![378]

В Сень-Этьен-дю-Мон однажды ради спасения своей жизни на кафедру выходил даже известный астроном Лаланд. Он уже слышал, что на него последовал донос и что, следовательно, ему угрожает неминуемо скорый арест. Он является к президенту своей секции, и последний предлагает ему произнести в ближайшую же декаду республиканскую речь как доказательство своего патриотизма. Астроном, в красной шапке на голове, говорил так блестяще и имел такой успех, что при ближайших выборах Муниципального совета едва не удостоился чести попасть в его члены. После этого ему уже нечего было более опасаться и он мог спокойно вернуться к своим небесным наблюдениям[379].

По мнению некоторых[380], культ Разума отличался не только отсутствием всякого фанатизма, но даже и всякой серьезности. Церемонии состояли в сатурналиях, целью которых было скорее развенчание христианства, чем создание каких-нибудь новых религиозных основ и догматов.

Господствующей нотой было осмеяние. Духовенство, по словам Грегуара, изображалось в самом смехотворном и даже отталкивающем виде, например, в дурацких колпаках или вооруженное кинжалами; исполнители смешивали обряды католической литургии с циничными выходками, уснащая их сквернословием; расхаживали в церковных облачениях, которыми накрывали также собак, козлов, свиней и, чаще всего, ослов, желая этим еще сильнее подчеркнуть свое грубое нечестие[381].

Но все же эти сатурналии не были простой потехой, а служили скорее выражением своего рода фанатизма, который и проявлялся именно в ожесточенных нападках на упразд-

ненный культ. Орудием этих нападок служили насилие и насмешка, а доказательством того, что все-таки было какое-то стремление к учреждению нового учения, служат попытки к установлению священных обрядов и даже составление нового катехизиса.

Этот республиканский катехизис по своей форме рабски подражал католическому[382]; он излагался тоже в вопросах и ответах, определяя по-своему республиканские таинства: крещения, причащения, миропомазания и пр.

Один из сектантов составил для употребления в храмах Разума требник богослужений, другой сочинил молитвы: «О свобода, дочь чистая небес, ради нас снисшедшая на землю, да будет благословенно имя твое» и пр.; переделаны были даже Символ веры и заповеди; так, первый начинался: «Верую в Высшее Существо, создавшее людей свободными и равными» и т. п., а заповеди гласили: «Республике единой, нераздельной послужи» и т. д.[383]

Известно, какова была судьба этой религии, не сумевшей никогда освободиться окончательно от преданий католицизма; известна также и дальнейшая участь ее апостолов, которых неумолимая политика Робеспьера в конце концов отправила всех на эшафот. Духовный сын Руссо скоро увидел, что этот культ с каждым днем все более удаляется от философии «Савойского викария»[384] и переходит просто к грубому язычеству. Настала пора для иной метафизической концепции, и Робеспьер стал, наконец, сам первосвященником нового культа «Верховного Существа».

Свое учение, в духе Руссо, Робеспьер представил в знаменитом докладе Конвенту от 18 флореаля II республиканского года, изложив в нем и свои соображения о согласовании религиозных идей с республиканскими принципами[385].

Этот памятник письменного красноречия, местами более напоминающий проповедь, чем политическую речь, был задуман якобинцем-деистом при первых же проявлениях антирелигиозного направления Парижской коммуны. Он ставил духовную мораль, как единственное основание гражданского общества. «Кто дал тебе право, — восклицал он по адресу

противника, — возвещать народу, что божества не существует? Тебе, который более привязан к своему бесполезному учению, чем к своему отечеству? Какую выгоду находишь ты убеждать человечество, что его судьбами управляет слепая сила, случайно поражающая и преступление и добродетель? Что его душа — лишь легкое дуновение, угасающее у дверей могилы?».

В проекте указа, сопровождавшем этот доклад, первая статья гласила: «Французский народ признает бытие Верховного Существа и бессмертие души».

Затем устанавливались новые религиозные и символические праздники в честь Истины, Правосудия, Целомудрия, Воздержания, Мужества, Супружеской верности, Потомства и пр., всего, сверх национальных празднеств 14 июля, 10 августа, 21 января и 31 мая, намечалось еще тридцать пять праздничных дней, предназначенных напоминать народу о Божестве.

Первый из этих праздников, именно в честь Верховного Существа, состоялся 20 прериаля, под главенством Робеспьера, избранного на этот случай президентом Конвента. Якобинский Кромвель был тогда в апогее своей диктатуры и вскоре не замедлил перекатиться по ту сторону «Горы».

Все подробности церемонии были составлены с величайшей иерархической точностью живописцем, членом Конвента — Давидом. В этой знаменитой по своей напыщенности программе солнце называется, например, «благодетельным светилом, украшающим и оживляющим природу», далее упоминается «целомудренная супруга, заплетающая цветами развевающиеся кудри любимой дочери» и т. п.

Чтобы разом поразить и неверие и контрреволюцию, в Тюльери воздвигли колоссальную статую атеизма с такой надписью «Последняя надежда чужестранца».

Робеспьер сам подложил под нее огонь, и идолище исчезло, уступая место выросшей из пламени и поэтому слегка закопченной статуе «Мудрости».

После двух речей председателя процессия двинулась на Марсово поле. Здесь-то и проявилось все тщеславие нового первосвященника. Выступая далеко впереди своих сотовари-

щей, он появляется народу истинным воплощением революции. Его уязвленные товарищи не щадят его в своих насмешках. «Найдутся еще Бруты!» — восклицает один из них. — «Тарпейская скала недалека от Капитолия», — бросает ему Бурдон-Уазский. — «Посмотрите на этого с.. с..! — говорили грубо в народе. — Ему не довольно быть властелином, он хочет еще стать Богом!» и т. д. На Марсовом поле огромная гора заменяла разрушенный алтарь Отечества. На ее вершине находилось дерево, ветви которого осеняли собравшихся членов Конвента.

После симфонии, песнопений, гимнов, клятв и благодарений, вознесенных в Предвечному, праздник закончился в Тюльери общественными играми[386].

Два дня спустя, 22 прериаля, Конвент вотировал по настоянию Робеспьера и Кутона ужасный закон о «подозрительных»[387].

Революционный мистицизм питался и упивался новорелигиозными манифестациями в честь Разума и Верховного Существа. Но он достигал до пределов полного безумия при похоронных обрядах. Всякий француз, каковы бы ни были его убеждения, исповедует культ мертвых, а если последние пали притом жертвами за народное дело, то он создает из них настоящих мучеников, героев, достойных сыновней любви и вечной благодарности со стороны граждан.

Революция часто возвышала людей, накануне еще никому неизвестных и которые становились знаменитыми путем своего самопожертвования. Память солдат Шатовьё была достойно почтена благодаря Тероань де-Мерикур, взявшей на себя инициативу устройства их погребальной церемонии. Перенесение в Пантеон праха великих патриотов было каждый раз поводом для взрыва мистического энтузиазма. Но ничто не может дать понятия о том исступленном эпидемическом идолопоклонстве, которое вызвало убийство «друга народа» — Марата.

Конвент и Коммуна соперничали в усердии, с которым венчали «мученика» пальмами бессмертия. Давиду, уже передавшему потомству «изображение Лепельтье, умирающего

за отечество», было поручено воздать разгневанной тени Марата такую же почесть. Скульптор Бовале был избран Коммуной для снятия с лица покойника маски.

Кордельеры ходатайствовали о сохранении сердца «друга народа» в зале их клуба, а какой-то гражданин предложил отправить набальзамированное тело покойника по всем департаментам для возбуждения во всех истинно республиканских душах любви к свободе!

Народ устроил своему «Другу» самые пышные похороны. Только останки Марата и Наполеона и удостоились подобных почестей. Тело покойного лежало полуобнаженное, с открытой раной, от которой он погиб; ребенок возлагал на его голову гражданский венец, держа в другой руке зажженный факел. «Ладан клубился над прахом», и так двигалось в грозную бурную ночь, при раскатах пушечной пальбы, вдоль темной Сены, местами красневшей от отблеска колеблющегося света факелов, это огромное печальное шествие. За телом Марата несли его ванну, в которой он погиб, за ней обрубок дерева с его письменным прибором[388].

Процессия медленно извивалась по набережным, мостам и улицам к Кордельерскому саду. Здесь гроб был поставлен под тенистыми ветвями деревьев, и ораторы затянули монотонные и напыщенные речи, прерываемые дефилированием секций, каждая при своих знаменах. Над могилой был набросан курган из каменных глыб в виде нагроможденных друг на друга утесов, с пещерой под ними.

На этом, однако, дело не окончилось. Несколько дней спустя начались церемонии поклонения. Сердце Марата было заключено в агатовый, осыпанный драгоценными камнями сосуд, самый богатейший из всех, какой-только могли найти в казенных складах, где хранились королевские сокровища.

Речь, которой сопровождалась передача этой урны кордельерам, характеризует всеобщее мистически-исступленное настроение общества: «Сердце Иисуса и сердце Марата, — восклицает один из ораторов, — у вас равные права на наше почитание».

«Подруга Марата подобна Марии; как последняя укрыла Младенца Иисуса в Египте, так первая спасла Марата от меча Лафайэта, который, как Ирод, убил бы его беспощадно».

Другой продолжал: «Как Иисус, Марат так же страстно любил народ, и только один народ; как Иисус, он так же ненавидел аристократов, священников, богатых и бесчестных; и так же, как Иисус, вел воздержанный, простой образ жизни»[389].

Возведенный в святые, Марат получил и свою особую иконографию. Эту посмертную популярность разделили с ним две другие жертвы аристократии: Шалье и Лепелтье;[390] их изображения чтились, как образа. Вместе с портретами Бара и Виаля[391] они составляли иконостас всякого доброго республиканца[392].

Изображения их самих, равно как и различных эпизодов из их жизни украшали стены лавок и салонов, палат и мансард; их носили даже в бутоньерках; маратовские ладонки, брелоки, кольца и всякие иные украшения несколько лет не выходили из моды.

В течение целых четырнадцати месяцев Марат был положительно Христом революционного общества; его кровь должна была оплодотворить почву свободы и дать богатую жатву республиканских побед[393].

Острый кризис мистицизма, вызванный смертью Марата, есть несомненный симптом болезненного состояния духа современного общества. Еще ни одна историческая эпоха не была менее позитивна, чем эта.

Война с римским католицизмом, с непокорным или с подчинившимся конституции духовенством, одинаково остающимся, однако, верным союзником реакции, и наряду с этим — глубокая, горячая вера в божество, как бы оно ни называлось: Богом ли, Разумом ли или Верховным Существом. Жадная потребность в культе, в литургических церемониях, в обоготворении принципов и символов — вот, в общей сложности, вся религиозная политика революции. И здесь мы опять встречаемся с теми же характерными эксцессами общественного мышления, с перерождением и ослаблением критических

способностей, с доходящей до исступления восторженностью воображения, с изуверством нравственного самосознания и с притуплением и ограничением чувства совести — одним словом, со всеми прямыми и неизбежными продуктами «невроза».

Глава II. Изуверы и одержимые

Коллективный мистицизм, одна из психологических черт революционной мысли, выражается идолопоклонством, фанатизмом и стремлением обращать политические принципы в религиозные догматы. Он присущ всему народу и всем классам общества, секционерам и санкюлотам, вожакам движений, членам Конвента, Исполнительных комитетов и руководителям политических клубов.

Но из всей этой зараженной массы, как из бушующего моря, на гребне волны появляются несколько выдающихся личностей, стоящих высоко над толпой: это исступленные фанатики идей, изуверы, истинное порождение революционных эпох. Нужно ли говорить, что они в особенности часты среди женщин, умственно менее уравновешенных, чем мужчины, и от природы более «одержимых» восторженной экзальтацией и всяческими крайностями расстроенного воображения. Классический тип подобной «одержимой-иллюминатки» представляет Сюзетта Лабрус.

В другое время она замуровалась бы в стенах монастыря и погрузилась бы вся в ханжество, навеки отказавшись от плоти. Революция сделала из нее общественную деятельницу и дала ей основание вообразить себя современной Жанной д'Арк. Действительно, между знаменитой крестьянкой из Домреми и этой юной дочерью народа немало сходных черт. Они обе были проникнуты своим божественным призванием, обеим им были не чужды неземные экстазы и священные восторги, и обеих одинаково посещали таинственные голоса, призывавшие их к спасению Франции и религии.

С отроческих лет, как у Анжелики в «Грёзе» Золя, образ Христа заполонил воображение Сюзетты. «Она стремилась к нему душой, не могла налюбоваться на него и в ее воспален-

ном воображении ей казалось, что Иисус сам отвечает ей взглядами на ее взгляды и вздохами на ее вздохи»[394].

Очень рано ее стала преследовать мысль о самоубийстве — и еще каком! Она покушалась отравиться, глотая пауков. Только страх перед пятой заповедью помешал ей окончательно привести это намерение в исполнение. Зато она принялась умерщвлять свою плоть самыми изуверскими самоистязаниями: одевалась в грубую власяницу, носила вериги с железными шипами, рвавшими ее тело; спала на ложе из крупного щебня, примешивала в пищу желчь и натирала себе лицо негашеной известью!

В шестнадцать лет за ней уже волочились молодые люди, но она не отвечала на их заигрывания и предпочла монастырь браку, который, быть может, направил бы ее жизнь в более спокойное русло. Воображение ее уже было поглощено идеей религиозного возрождения человечества; она мечтала о новом крестовом походе, провидя в истерическом бреду своих галлюцинаций сквозь бешеный вихрь, в котором кружилось зараженное общество XVIII века, его близкое разрушение. Она пророчески предсказывала уничтожение монашеских орденов и наступление царства всеобщего равенства и предрекала новую религию, более близкую к учению отцов церкви и к духу Евангелия. Она поистине являлась как бы пророчицей революции[395]. Светские власти пытались противодействовать обаянию этой опасной духовидицы, но безуспешно; простой народ, невзирая на консисторские запреты, продолжал ее прославлять, видя в ней «простенькую», слова которой говорили прямо его сердцу и сулили ему лучшее, светлое будущее.

Картезианский монах дом-Жерль, восторженный фанатик, которому она за десять лет до созыва Генеральных штатов предсказала, что он будет заседать в каком-то преобразовательном учреждении, и который действительно стал членом Учредительного собрания, взял ее под свое покровительство.

13 июня 1790 г. он произнес в Учредительном собрании речь по поводу божественной благодати, осенившей Сюзетту. Вслед за сим последняя появляется в Париже, поселяется у герцогини Бурбонской[396] и завязывает сношения с многими

политическими деятелями, преимущественно с Робеспьером, который даже будто бы ей сказал однажды: «Придет время, когда я буду вынужден восстановить то, что теперь стремлюсь разрушить, т. е. религию; тогда вы поможете мне в этом деле»[397].

Учредительное собрание только что закончило в это время крупную религиозную реформу.

Франция отделилась от Рима, и ее духовенство должно было принять гражданскую конституцию. Сюзетта Лабрус прозрела в новом режиме залог прочности для католической веры, ей казалось, что этим путем духовенство возвращается к своей первобытной чистоте. Кроме того, она уже приняла в качестве исповедания своего нового вероучения догматы первовекового христианства: всеобщее братство, любовь к человечеству и царство равенства. У присягнувших конституции епископов она исходатайствовала разрешение отправиться в Рим, чтобы просветить самого папу светом истины, заставить его покаяться, признать свои заблуждения и проникнуться революционными идеями, как подобает смиренному наместнику Христа. Из восьми прелатов шестеро одобрили этот фантастический план женщины-апостола.

19 февраля[398] она пустилась в путь в Рим, точно Жанна д'Арк — в Шинон к королю Карлу VII. Духовидица по пути начала творить чудеса, она навещала больных и излечивала их внушением. Можно себе представить популярность, которую она приобрела по всей стране — ее путешествие было настоящим триумфальным шествием. На каждой остановке она проповедовала в церквах, в театральных залах или даже просто на улице.

Она требовала уничтожения знати, которая вечно покрывает себя позором и бесчестием, пользуясь своим именем и богатством только для постыдных излишеств и возмутительных несправедливостей. Она громила и папский двор: «Главенство над церковью даровано папе, — говорила она, — вовсе не ради увеличения его могущества, а, напротив, есть лишь тяжкое бремя, на него возложенное. Неслыханные почести и власть, которыми так давно окружают себя папы, не исходят вовсе от Иисуса Христа».

По прибытии в Болонью она стала жертвой всевозможных преследований со стороны духовенства. Она бежала в Витербу, но здесь, по приказанию папы, была арестована и заключена в качестве умалишенной в замок Св. Ангела в Риме, откуда была освобождена только в 1798 г., когда французская армия заняла Рим.

Сюзетта Лабрус представляется двояко любопытным явлением эпохи революции. Приглядываясь к ней в ее разнообразных похождениях, можно себе объяснить, какое влияние имел на нее невроз окружающих событий. До 1789 г. это была мистически настроенная «одержимая» женщина, вроде св. Терезы. Затем при Учредительном собрании в ней пробуждается новая вера, и ее религиозная истерия быстро изменяет свой характер. Она принимает галликанство, введенное конституцией 1791 г., проповедует церковную реформу на началах Евангелия и возвращается к тексту Священного Писания подобно епископу Фошэ, Ламуретту-Понтару, картезианцу дом-Жерлю и всем теофилантропам.

С другой стороны, известно, какое влияние имела на народ ее проповедь. Всякий апостол, и в особенности женского пола, создает свою школу. Сюзетта Лабрус своим крестовым походом по югу Франции прямо подняла народные массы и вдохнула в них пламенное влечение к новому освободительному режиму. Энтузиазм, возбуждаемый ею, был так велик, что даже епископы жадно прислушивались к ее предсказаниям.

Можно поэтому судить о том обаянии, которым она пользовалась на толпу, всегда впечатлительную и склонную к мистицизму, который внезапно пробуждался при звуках ее вещего голоса.

Революция привлекла на свою сторону эту вдохновенную пророчицу и та, в свою очередь, не осталась перед ней в долгу за привет и ласку, воздав ей во сто крат за все, что от нее получила.

Екатерина Тео еще более, чем Сюзетта Лабрус, является достоянием психопатологии. Ее религиозное умопомешательство классически просто. Всякий дом для умалишенных насчитывает среди своих пансионеров немало субъектов, во всех

отношениях схожих с этой «Богоматерью», и только революция могла доставить этой сумасшедшей женщине популярность и значение, создав из нее основательницу новой секты.

В общих чертах ее скорбный лист таков. Она родилась в Барантоне в 1706 г. и так же, как Сюзетта Лабрус, предавалась с самого нежного возраста умерщвлению плоти и добровольным самоистязаниям[399]. Будучи простой крестьянкой, она поступила прислугой в монастырь мирамионок, где ежедневно исповедовалась и приобщалась св. Тайн. Она вообразила себя здесь второй Екатериной Сиенской; страдала галлюцинациями, во время которых ей слышались голоса, возвещающие ей, что она Пресвятая Дева — Богородица и что ей дано принять Иисуса, когда он снизойдет с небес, чтобы водворить на земле мир и благоволение! Вскоре она покинула монастырь и начала проповедовать среди народа. Она устраивала собрания верующих и наделала столько шума, что полиция, наконец, всполошилась и арестовала ее.

В 1779 г. после подробного допроса ее признают душевнобольной и заточают сначала в Бастилию, а затем передают в простую больницу. Так как, однако, она не была опасной для окружающих, то три года спустя ее освобождают. Такова была женщина, которую революция вскоре увлекла в своем вихре. Как видно, она была более чем предрасположена к самым невероятным несообразностям и изуверству.

В 1793 г. Шомет получает донесение «по поводу чувств и религии» гражданки Тео, в коем мы читаем буквально следующее: «Бог избрал Екатерину Тео своей дочерью, Девой, которая зачнет Бога-Слово».

«Спаситель не замедлит сошествием на землю. Его путь уготован будет разрушением всякого земного могущества; горы сравняются, и долы заполнятся. Звезды ниспадут с неба (великие мира) и содрогнутся своды небесные (троны), а великому Вавилону (Рим), который опьяняет царей земных, как блудница своею продажностью, воздастся по трудам его»[400].

«Богоматерь» также пользовалась Евангелием на пользу революции и подобно Сюзетте Лабрус проповедовала возвращение к первобытной чистоте христианства. Не следуя

примеру Сюзетты, Екатерина осталась в Париже и приобрела здесь, если верить словам полицейского агента Сенара, множество адептов. Новая секта позаимствовала некоторые из своих обрядов от фран-массонов, в особенности чин посвящения, отличавшийся чрезвычайно символическим характером. Заседания устраивались на улице Контрэскарп. Старая, высокая, сухая как щепка и почти прозрачная от истощения, Екатерина Тео восседала здесь на троне в глубине залы; ее руки и голова непрерывно нервно содрогались[401]. Картезианец дом-Жерль, бывший последователь мистического учения Сюзетты Лабрус, теперь стал первосвященником нового культа. Три женщины составляли штаб секты. Одна, госпожа Годфруа по-прозванию «Просветительница», следила за внешним ходом церемоний, другая называлась «Воспевающей», а третья — «Голубицей»; жаждущие посвящения подводились со скрещенными на груди руками к подножию трона «Богоматери». «Просветительница» читала Библию и объясняла смысл семи печатей Господних. Мать давала посвящаемому семь поцелуев в лоб, в левую щеку, в правое ухо, в оба глаза и в подбородок, церемония заканчивалась крестным знамением и двоекратным поцелуем в губы[402].

«Богоматерь» проявляла свою божественную природу чудотворениями, ибо, как и всякая ясновидящая, обладала более или менее способностью лечить внушением. Она будто бы действительно помогала даже при параличах, проказе и иных считающихся неизлечимыми болезнях[403].

Этого было достаточно, чтобы привлечь к ней легковерную толпу. Умственная контагия сделала остальное. Как некогда у сен-медардских истеричек, так и у нее число адептов быстро разрослось. Каждый день перед ее древней пагодой можно было видеть разного рода ханжей, начетчиков, знахарей, ходатаев по делам, полуученых и праздных рантье, месмерианцев, иллюминатов и просто всяких темных личностей, из которых некоторые состояли в сношениях и с лондонскими эмигрантами[404].

Но в один прекрасный день мирные собрания секты были потревожены политикой. Екатерина жила настолько вдалеке

от всего мирского, что даже не слыхивала ни о терроре, ни о ежедневных казнях на площади Повергнутого трона, но эта безграмотная, едва умевшая подписать свою фамилию старуха вдруг прониклась глубочайшим обожанием к Робеспьеру, который вскоре вместе с дом-Жерлем стал одним из двух духовных сынов «Богоматери». Комитет общественной безопасности, проведав, что якобинский генерал, сам того не подозревая, скомпрометировался в этой глупой секте, ускорил события и распорядился арестом Екатерины со всей ее полоумной свитой. Какой-то сыщик разыскал у нее под тюфяком якобы писанное ею письмо к Робеспьеру, чего она никогда не сумела бы сделать. В этом послании она извещала Робеспьера, что его явление было предсказано пророком Езекиилем и что он именно и был Мессия, давно жданный Слово-Бог. Конец дела общеизвестен. Невзирая на старания якобинского владыки, Комитет приступил к следствию. Доклад Вадье был встречен в Конвенте взрывами гомерического хохота, и Робеспьер был поражен злейшим из оружий — насмешкой. Неимоверная гордость и тщеславие, выказанные им на празднестве Верховного Существа, были покараны: приближалось 9 термидора.

Екатерина не дожила до эшафота, так как умерла в тюрьме 15 фруктидора II г.; что касается ее сотоварищей, то им удалось избежать суда, несколько раз откладывавшегося.

С падением Робеспьера дело представляло лишь второстепенный, маловажный интерес, утратив всю свою прелесть новизны и пикантности. Картезианец дом-Жерль очень искусно опроверг доклад Вадье, отперся от всяких сношений с Шометом и Робеспьером, от которого когда-то получил удостоверение в «гражданской добродетели», и после продолжительного содержания под стражей был, в конце концов, освобожден.

Сюзанна Лабрус и Екатерина Тео должны быть причислены к категории мистических иллюминатов, одержимых видениями. Всякая революция имеет таких религиозных изуверов. Во время английской революции прославилась некая Елизавета Бартон, известная под прозванием «Кентской

монахини». Эта женщина, по словам историка этой эпохи, страдая свойственными ее положению недугами и мозговым расстройством, падала в страшных судорогах и выкрикивала целые речи и пророчества, производившие огромное впечатление на присутствующих. Все считали ее вдохновленной свыше. Она впадала в продолжительное состояние экстаза, уверяла, что слышит ангельские хоры, и вскоре прослыла пророчицей. Известнейшие деятели, и даже епископы, попадались на эту ловушку. Некий монах, вроде аббата Жерля, по имени Дайринг, написал целую книгу ее откровений и прорицаний. Канцлер Томас Мор первый разоблачил это ребяческое плутовство, и пресвятая Кентская дева превратилась в его глазах в «глупую монашку». В обыкновенное время таких женщин попросту сажают под замок, а в страшной революционной суматохе они становятся апостолами и едва ли не святыми.

Рука об руку с религиозным изуверством идет и изуверство политическое. Нет ничего удивительного, что в революционные периоды такие случаи очень нередки, да иначе и быть не может. Наподобие заразного поветрия, с которым не может бороться ни один субъект, располагающий меньшей силой сопротивления, новые революционные принципы овладевают, более или менее безраздельно, всяким, кто приходит с ними в соприкосновение. Люди, предрасположенные и психически неуравновешенные, поддаются этому течению скорее и сильнее других, и критический момент их душевного перерождения может легко выражаться у них в поступках, близких к «безумному бреду».

Как и всегда, женщины, менее устойчивые, чем мужчины, выделяются тотчас же своими чудачествами, доходящими до юродства. Достаточно назвать имена Олимпии де Гуж, Тероань де Мерикур, Сесили Рено, Аспазии Карлемиджелли, Розы Лакомб; а сколько еще других можно было бы включить в этот перечень!

Мы не станем задаваться здесь подробной биографией каждой из них, но ограничимся, лишь для подтверждения нашего основного исходного положения, заключением об

умственных способностях каждой на основании общественных фактов из их жизни.

Олимпию де Гуж многие пытаются признать прародительницей современного феминизма. Да будет нам позволено заметить, что подобное родоначальство далеко не лестно для женского освободительного движения. Нельзя забывать, что эта амазонка пера была несомненно одержима «манией величия», так же как и родственной с ней «манией преследования».

Установим поэтому вкратце ее умственный диагноз: это живой ум, слабоватая память и чрезмерно пылкое воображение. Законом для Олимпии было то, что ей взбредет на ум, т. е. мимолетный каприз, сумасбродная фантазия. Они диктуют ей ее многочисленные драматические пьесы, ее литературные и политические произведения. Почти без всякого образования, с крайне неразвитым критическим чутьем, она повинуется исключительно голосу этого сумасбродного воображения, и в результате во всех ее сочинениях прежде всего получается полное отсутствие какого бы то ни было определенного стиля и крайняя непоследовательность, почти бессвязность идей. Как только в ее лихорадочно работающем мозгу зарождается какая-нибудь мысль, она набрасывается на нее будто рефлективно, без удержу и меры. Иногда ей удается создать что-нибудь недурное, но чаще всего из-под ее пера вырывается лишь детский лепет и наивные софизмы. Она выказывает, однако, твердость и решительность характера, когда требует дозволения разделить труд знаменитого юриста Мальзерба по защите Людовика XVI или когда делает дерзкий выпад против страшного Робеспьера. «Это я, Максимилиан, — пишет она ему, — я, женщина-автор, предрекаю тебе твою судьбу, я, Олимпия де Гуж, мужчина в женском образе». Такой храбростью или, вернее, дерзостью она, конечно, рисковала попасть на гильотину, на которой, впрочем, в конце концов и должна была погибнуть.

Пока в этом еще нет ничего психически ненормального. Но далее идут уже увлечения чисто патологического свойства. Олимпия одержима «навязчивыми идеями», граничащими с «бредом преследования». Ее знаменитые раздоры с «Фран-

цузской комедией» изобилуют в этом отношении самыми положительными фактическими данными для подтверждения нашего диагноза. Глубоко убежденная в том, что все артисты не принимают ее пьес по взаимному и предвзятому против нее заговору, что они все проникнуты к ней непримиримой ненавистью, она преследует их без отдыха и срока, буквально засыпая их пасквилями и памфлетами[405]. Она везде открывает врагов и изменников, якобы стерегущих ее за каждым углом. Как естественное последствие такой мозговой ненормальности, у нее проявляется и постоянный «горделивый бред».

Олимпия, конечно, ни минуты не сомневалась, что вся революция держится только ею одной. Ее тщеславие переходило всякие границы и достигало пределов геростратизма. Она жаждет быть окруженной писателями и учеными, считая только их и достойными ее общества. Она зовет себя «чудом природы», намекая на свою необразованность и самобытность. В каждой своей фразе она искренно видит отпечаток гения. Но ежеминутно попадая в смешное положение, она часто вызывает лишь всеобщие насмешки, а отсюда до «мании преследования», конечно, оставался только один шаг.

Прибавьте к этой клинической картине преувеличенную, болезненную страсть к животным — «зоофилию», которая, как известно, есть один из вернейших признаков вырождения. Дом Олимпии был населен собаками, кошками, снегирями и попугаями, которых она называла самыми знаменитыми именами.

Она воображала, что дает убежище пережившим свою славу великим людям, которым в жизни не повезло, и принимала своих зверей за представителей наук, а пернатых — за представителей искусств. Это было нечто вроде папы Льва X с его голубятней и собачьими конурами.

Она важно рассуждает с Добантоном[406], который тратит на беседы с ней свое драгоценное время. Не желала ли она убедить и его, что в ее животных действительно переселились души великих людей? Сама она, по-видимому, была настолько в этом уверена, что ни за что не решилась бы появиться перед ними в простой кофте, без корсета и шнуровки. Ее ко-

стюм, впрочем, был не менее эксцентричен, чем и ее манеры. Она устраивала себе головные уборы из легкого газа и имела вид, точно ей опрокинули на голову таз с мыльной пеной, приготовленной для бритья, но все же упорно держалась этой куафюры, утверждая, что она спасает ее от головных приливов и облегчает мозговые отправления. Отличаясь чисто мужским телосложением и лишенная всяких женских прелестей, она, не стесняясь и не скрываясь, смело заменяла их соответственным количеством ваты. Однажды в концерте, чтобы одолжить кусок ваты своей соседке, страдавшей зубной болью[407], она без церемоний вытащила у себя из-за корсажа одно из таких приспособлений!..

И все же к памяти этой пламенной Олимпии нельзя не быть глубоко снисходительным.

Она была великодушна, добра и сострадательна и, по справедливости, более чем кто-либо другой, имела право считать себя верной последовательницей Руссо. С ее именем нераздельно связано представление о принципе, хотя и отвергнутом революцией, но с которым рано или поздно придется считаться грядущим поколениям: она, несомненно, первая провозгласила права женщин. В ее импровизированной «Декларации прав женщины и гражданки» содержатся, между прочим, следующие красноречивые и знаменательные слова: «Если женщина пользуется правом восходить на эшафот, то ей должно быть предоставлено право восходить и на трибуну».

Но, как мы уже имели случай видеть, все, сделанное революцией для равноправности женщины, сводилось лишь к уравнению ее с мужчиной именно только перед гильотиной. Играя жестоко словами, можно сказать, что только одна гильотина и отозвалась на гуманитарный призыв женщины!

Вышеизложенная совокупность психических симптомов дает нам возможность с достаточной ясностью подсчитать душевный баланс Олимпии. Будучи женщиной явно предрасположенной к умопомешательству и охваченной бурным вихрем социального движения, она вышла далеко за пределы здравого мышления, ее рассудок помутился, а воображение

достигло неимоверной интенсивности. Но, невзирая на «манию преследования», которой она была одержима, она все же, подобно Дон Жуану, сумела сохранить в своем сердце горячую любовь ко всей вселенной.

Это была сердечная и сентиментальная женщина, которая обожгла свои крылья на убийственном огне революционного костра.

Еще характернее представляется патологический «случай» Тероань де Мерикур (Théroigne de Mericourt), окончившей свои дни в Сальпетриере[408].

Пожалуй, еще более Олимпии де Гуж она была жертвой революционных событий. Если и не совсем справедливо утверждение, будто безусловной причиной ее умопомешательства послужил стыд перед народным приговором, то во всяком случае можно с уверенностью сказать, что помрачением рассудка она несомненно обязана драматическим событиям, в которых была замешана.

Она была деятельницей выдающейся, но вполне опьяненной грозным шумом совершавшегося вокруг нее переворота, и ее всю захватило вихрем революционного безумия — такова судьба большинства девушек, которые, случайно споткнувшись, уже не могут остановиться на наклонной плоскости, на которую попали, пока, наконец, не падут окончательно, запутавшись с головой в своих собственных юбках.

Несчастная Тероань, дошедшая под влиянием событий до умоисступления и вообразившая себя главной инициаторшей октябрьских дней и даже переворота 10 августа, нашла своего биографа, который выставил на свет рампы ее трагикомическую фигуру. Известный драматург Поль Эрвьё в посвященной ей исторической драме изобразил ее искренней энтузиасткой, воплощающей в себе идеи патриотизма и республики, умственная неуравновешенность которой далеко не выделялась особенно рельефно в том общенародном душевном смятении, которое одинаково проявилось как в тюльерийских неистовствах вечером 9 августа, так и в безобразной и дикой расправе парижских вязальщиц с этой несчастной сторонницей жирондистов.

Говоря одним словом, нельзя не прийти к единственному выводу, что Тероань де Мерикур была давно уже ненормальной и, наконец, сошла с ума окончательно.

Как странно создан человек,
Как мало он уравновешен?
Куда-то мчится целый век,
Во всех решениях поспешен,
И делу лучшему вредит
Тем, что раздуть его спешит.

Эти стихи Мольера, относящиеся ко всему человечеству, в особенности справедливы по отношению к женщинам.

Вне всякого сомнения, что они не знают ни в чем благодетельного чувства меры, внушаемого благоразумием, втуне проповедуемым философами. Они и любят и ненавидят с равным увлечением; судят обо всем, повинуясь лишь страстным порывам; в них сердце управляет рассудком. Революция явилась для них средством, чтобы дать волю своим увлечениям. Невероятная социальная перетасовка не могла пройти для них бесследно, и они, натурально, явились «крайними» как в том, так и в другом смысле этого слова.

До половины XVIII столетия женщины из буржуазии и народного класса мало интересовались политикой. Они предоставляли занятие ею всецело тем дамам, которых знатность происхождения призывала ко двору. Эти последние не пренебрегали политической деятельностью.

Одни, наиболее смелые, изощрялись в ней в надежде занять место на королевском ложе, другие — наслаждались запутыванием и распутыванием самых сложных и темных придворных интриг, прямо из одной любви к искусству.

Накануне созыва Генеральных штатов в женской половине населения начал уже, однако, пробуждаться некоторый интерес к общественным вопросам. Энциклопедические и вольтерианские идеи и влияние Руссо, сперва смутно, а затем постепенно все заметнее, бродили и в женских умах. Но несмотря на это, ничто не давало основания предвидеть на самой заре революционных дней смелого вторжения в политику

парижанок. А между тем уже при взятии Бастилии, не принимая еще пока непосредственного личного в нем участия, они присутствуют в качестве горячо заинтересованных зрительниц и грозят королевским войскам кулаками. Всего через несколько недель они решительно перешли к действиям. Голод, разразившийся в городе в начале октября 1789 г., послужил первым сигналом для женского бунта[409].

Утром 5 октября толпа парижских женщин атакует камнями батальон национальной гвардии. Они отказываются от всякого содействия мужчин, говоря, что те действуют слишком неумело. Они проникают в Городскую ратушу, овладевают ружьями и пушками и идут на Версаль. Остальное известно: после удачной стычки с отрядом герцога Гиша они врываются в Национальное собрание, добиваются свидания с Людовиком XVI и возвращения королевской семьи в Париж. Все это давно принадлежит истории, и мы не будем останавливаться далее на подробностях. Расскажем только один характерный случай, прекрасно рисующий вообще настроение женских умов. Представленная королю господином де Мунье, в числе двенадцати женщин, депутация держала себя очень дерзко и говорила громко. Но при виде короля весь задор внезапно их покидает, и только одна, бросаясь перед ним на колени, в смущении и едва слышно, произносит одно слово: «Хлеба!». Растроганный король поднял ее и весьма галантно произнес: «Вы так милы, что вас можно поцеловать».

Депутатки вышли умиленные этим приемом и едва не были растерзаны разъяренными товарками, обвинявшими их в том, что они дали себя обольстить[410].

А между тем это вовсе не были, как говорили некоторые, какие-нибудь мегеры или публичные девки; по большей части это были «добрые и достойные матери семейств», сердца которых разрывались при виде своих умирающих с голоду детей[411]. «Между ними были и вполне образованные особы, как, например, Мария Луиза Шерэ, купчиха из Пасси, которая оставила весьма любопытное описание октябрьских дней.

Таким-то образом женщины вступили в революцию и с первого же шага стали играть в ней весьма видную роль, небыва-

лую до того в мировой истории, так как, по словам Жореса, именно они и связали неразрывным узлом всю революцию с Парижем.

С этого момента каждый революционный день выдвигал своих собственных героинь, своих амазонок. Их исступление превосходит возбуждение мужчин. В сентябрьские дни они тоже действуют: «Ненасытные зрительницы, они жаждут крови, опьяняются жестокостью и возбуждают народный самосуд. 10 августа они стреляют, с Региной Од во главе, по швейцарской страже в Тюльери. При вторжении во дворец они прямо безумствуют: одна валяется на кровати королевы, другие безобразничают с обнаженными трупами...».

Когда понадобилось встать на защиту родины в опасности, они первые схватились за оружие; они просятся волонтерками в армию, торопят своих мужей и детей лететь на границы. Патриотическая лихорадка заставляет их забывать даже могучее материнское чувство, и пред нашими глазами встает невероятная картина воинственных матерей, обожающих войну и без колебаний жертвующих ей своих сыновей.

В сентябре 1791 г. собрались на народный банкет в Шантильи молодые волонтеры и рекруты. Еще поутру их нельзя было вырвать из материнских объятий, а вечером возбужденные зажигательными патриотическими речами те же матери уже торопят их идти на врагов, громогласно заявляя, что лучше умереть свободными, чем жить в неволе, под игом тиранов[412].

25 фримера II г. Приёр писал: «Нам сообщают, что в Лавали, в то время когда все мужчины разбежались со страху перед разбойниками, местные женщины напали на проходившую по городу шайку и обезоружили 500 человек. Мы повторяем всеобщее требование, чтобы их геройский поступок был признан заслугой перед отечеством».

Мы могли бы привести бесконечное число подобных примеров, так как ими изобилует вся история революции. Все они доказывают, что женщины этой эпохи превратились в истинных спартанок или, вернее, в римских матрон, следуя свято тому идеалу женщины, который предъявлялся к ним якобинцами.

Последние действительно стремились освятить французскую женщину живительным дыханием революции. Скандальные приключения времен Людовика XV еще жили в народной молве. На глазах всего народа дворянство развратило французскую женщину. Отголоском этого была и та гнусная клевета, которой обливали Марию-Антуанетту. Казнь Дюбарри была вызвана тем же самым чувством возмущения. Люди 1793 г. решили изгнать из своей республики куртизанку, подобно Платону, изгонявшему из своей — поэтов[413].

Но не к этой цели направлялись требования женщин, стремившихся к равноправности, а когда таковые боязливо выступили впервые на свет, то они тотчас же были встречены огульным осмеянием. В ожидании непосредственного выступления на политическую арену женщины начали усердно посещать клубы и образовывать новые союзы и общества. Бордо, Алле и Нарт подали первый пример. В Париже вскоре возникли: «Общество революционных республиканок», «Братское общество обоих полов», «Общество женских друзей конституции». Все они держатся самой крайней политики. Они превосходят Марата и Гебера с Жаком Ру, Леклерком и Варле, этим противным Дантону и Робеспьеру триумвиратом, проповедовавшим чисто социальную республику.

Некоторые безуспешно добивались для себя прав, но большинство занялось исключительно чистой политикой, раздражаясь с каждым днем колебаниями Конвента. 12 мая 1793 г. одна из таких политиканок смело явилась в Конвент с петицией, в которой требовала, между прочим, ареста всех «подозрительных», осуждения жирондистов и поголовного истребления провокаторов и подстрекателей, ловивших рыбу в мутной воде.

Якобинские собрания и клубы нередко вышучивали этих чрезмерно рьяных патриоток. Амар, который был назначен докладчиком по вопросу о допущении женщин в ряды народоправства, высказался окончательно в самом отрицательном смысле, опираясь на то, что женщины не обладают в достаточной степени ни физическими, ни нравственными силами, что чувство стыда и скромности не может допустить их до

соперничества с мужчиной и что наилучший их удел — это укреплять своих мужей и сынов в любви к свободе и отечеству. Он добавлял буквально: «По самой своей организации женщины наклонны к такому моральному возбуждению, к такой экзальтации, которая была бы явно зловредна в общественных делах, и интересы государства, несомненно, должны были бы всегда страдать от раздоров и заблуждений, порождаемых живостью женских страстей».

Фабр д'Эглантин называл этих добровольных политиканов женского пола — «гренадерскими самками». «Эти долговолосые эскадроны, — пишет он, — рыщут повсюду, как разнузданные ветры в Эоловой пещере, и раздувают грозу и уныние... Их речи — одно сквернословие; их поведение — распутство во всей его наготе; а их рычание- это трубный звук, оглушающий мир».

«В большинстве случаев они все были дурны, как смертный грех, — пишет Дютар в рапорте к Гара, — а их нравы были более чем сомнительны». Не подлежит сомнению, что все женщины из степенной буржуазии, примешавшиеся первоначально к революционному движению, окончательно его покинули, когда на сцене появились разные вязальщицы[414], бичевальщицы и всякие мегеры гильотины, которые наводняли заседания Конвента, вмешивались во все уличные свалки и схватки и предавались ежедневным экзекуциям самосудного характера.

Террор, который был столь же мало склонен к феминизму, как и все прочие режимы революции, постановил изгнать женщин из всех клубов, в которых некоторые, в роде Розы Лакомб с сотоварками, ухитрялись создавать революцию против самой революции.

Из этого вторжения женщин в политику ясно лишь одно, что они были всегда несравненно неудержимее мужчин и не знали никаких пределов своим страстям. Нельзя отрицать, что подчас они были способны на великие самоотверженные подвиги и на геройские жертвы, но сколько наряду с этим проявлялось всевозможных чудачеств, сколько эксцентричности и изуверства, какие при этом говорились несообразно-

сти и сколько творилось нелепостей?.. Невольно задумаешься над тем, какая осторожность нужна при обсуждении вопроса о женской равноправности и какой еще длинный путь предстоит совершить женщине для достижения столь желанного равенства с сильным полом.

В антиреволюционном лагере наблюдается совершенно то же лихорадочное возбуждение. И здесь они наперебой соперничают с сильным полом и нередко являются для него примером. Нижеследующее письмо командированного Конвентом в Вандею своего представителя служит лучшей для этого иллюстрацией.

«Женщины в этих местах еще хуже мужчин: с пистолетом за поясом и с кинжалом в руке они рыщут по рядам бойцов, вливая в их души свое изуверство. Иные, с распятием в руке, воодушевляют отступающих и призывают их снова на бой во имя страстей самого Господа, за которого они сражаются... Бывали случаи, что эти ведьмы бросались с одними кинжалами на нашу артиллерию, не страшась картечи, и перекалывали артиллеристов, захватывая затем орудия... А сколько их шляется по полям и лесам за бежавшими республиканцами, которых они душат или безжалостно избивают».

Как революционные мегеры, так и роялистские фурии и ведьмы, все одинаковы, когда начинают вмешиваться в политические дела. Наравне с политикой женщины не меньше увлекались и самими политическими деятелями.

Благодаря женщинам последние познавали величайшие триумфы. Неизвестно, чего бы достигли Лафайет или Робеспьер без их несметной свиты поклонниц, денно и нощно возносивших им фимиамы гражданской славы наряду со скромными благоуханиями своей сердечной, беззаветной любви. Все столпы революции достигали своего Капитолия не без содействия женщин. Даже Марат, сам кровожадный и мрачный Марат, и тот сумел привлечь к себе несколько нежных сердец, доказав лишь этим лишний раз, сколь неизведаны доныне тайники женского сердца и как справедливы бессмертные слова Паскаля: «У сердца свой особый разум, но он рассудку не знаком».

Лафайет и адмирал д'Эстен, по возвращении из Америки, возбудили среди дам парижской буржуазии лихорадочный энтузиазм. Появились даже чепцы и уборы во вкусе Лафайета и д'Эстена.

Другие, вроде бывшего капуцина Шабо, производили сердечные опустошения во всех салонах, и им стоило лишь сделать знак, чтобы овладеть прелестницами, осаждавшими их неприступную на вид республиканскую добродетель.

Но ни у одного не было более поклонниц, чем у несовратимого Робеспьера. Весь надушенный, изящный и элегантный, — Флёри изображает его торгующим алансонские кружева у какой-то модной торговки, — настоящий маркиз XVIII в. по языку, манерам и внешности, этот народный трибун с кровавой короной жадно искал всякой лести, почета и всяких проявлений любви и обожания.

«Его окружало нечто вроде двора, состоящего из нескольких мужчин и множества женщин, расточавших ему самые утонченные знаки внимания».

Вечно толпясь у его порога, они выражали постоянную заботу о его особе, неустанно превознося его добродетель, красноречие и гениальность; они открыто называли его божественным и сверхчеловеком. Какая-то престарелая маркиза стояла во главе этих женщин, которые, как истинные ханжи, благоговейно простирались перед кровожадным жрецом гильотины. Преклонение женщин — вернейший признак и общественного обожания, но они-то, своим не знающим меры усердием, своей болтовней и угодливостью, скорее всего и низводят своего кумира на пьедестал посмешища»[415].

Тэн упоминает о какой-то молодой вдове, которая предложила Робеспьеру свою руку с 40 000 ливров годового дохода в приданое. «Ты — мое божество, — писала она, — я не знаю равного тебе; я считаю тебя своим ангелом-хранителем и хочу жить лишь по твоим законам»[416].

Трибун, однако, не платил взаимностью этим своего рода психопаткам; он смотрел на них, как на полезное для него политическое оружие, но в душе питал к ним одно презрение.

Он стремился нравиться женщинам другого пошиба, которые служили интересам контрреволюционной партии, как, например, изящнейшая Эмилия де Сент-Амарант, редкая жемчужина среди тех стразов, которые сияли поддельным блеском в салонах Пале-Рояля. Робеспьер окружил ее нежнейшим вниманием в духе сентиментальных романов госпожи Скюдери и вел правильную осаду против этой Селимены террора, за колесницей которой шли пленные деспоты и тираны.

Он скоро, однако, понял, что подобная игра не безопасна. Однажды несокрушимый селадон, увлекшись, под влиянием выпитого вина, любовными речами, разболтался и наговорил немало лишнего. На другой день его приспешник Триаль упрекнул его в этом. «Что же я говорил?» — спросил Робеспьер. «Ты назвал несколько лиц, с которыми хотел бы расправиться». — «Кого же?» — «Тех, кто под тебя подкапывается, — отвечал Триаль, желая его напугать, и добавил с сожалением: — И еще перед женщинами!» — «Они меня любят», — возразил Робеспьер. «И все же будут болтать». — «Нет, повторяю тебе, они меня любят». — «Попробуй-ка этим оправдаться перед якобинцами», — заключил Триаль[417].

Два дня спустя семейство Сент-Амарантов было арестовано, так как, несмотря на предупреждение, полученное от какого-то незнакомца, которым, как говорят, был сам Робеспьер, не нашло нужным скрыться.

Вся семья взошла на эшафот вместе с Сесилью Рено и другими лицами, замешанными в так называемом очень громком процессе «красных рубах».

С Сесилью Рено мы переходим к специальной категории женщин-убийц, которых в эпоху террора было немало, если причислить к ним всех покинутых и обманутых любовниц, которые мстили своим соперницам и неверным возлюбленным доносами Революционному трибуналу.

Что касается собственно тех, которые прославились политическими убийствами, как Сесиль Рено, Шарлота Корде, Аспазия Карлемиджели, то разве они не были тоже нервнобольными субъектами, мечтавшими одним ударом спасти Францию от якобинского ига?

Сесиль Рено возымела глубокую ненависть к Робеспьеру, по словам одних, за то, что он гильотинировал ее любовника, а по другим — потому что, будучи фанатичной роялисткой, она была преисполнена ненависти ко всему республиканскому режиму. Как бы то ни было, но ее неумелое покушение должно было очевидно окончиться неудачей, и единственным его результатом оказалась ее собственная гибель.

Во время своего процесса, и даже идя на казнь, она выказала удивительное равнодушие, близкое к совершенной атрофии инстинкта самосохранения.

Мы уже, впрочем, говорили, что перед гильотиной женщины проявляли обыкновенно, так называемое, мужество, которое при данных условиях является скорее всего извращением врожденного всякому человеческому существу чувства страха перед загробной жизнью.

В огромном «транспорте» жертв, отправленных на гильотину, когда за один раз погибло шестьдесят осужденных: Сесиль Рено, актриса Гранмезон, госпожа Депремениль, мать и дочь Сент-Амарант, — все держали себя до последней минуты с истинным стоицизмом. Фукье-Тенвиль, пообедавший даже в этот день часом ранее, чтобы насладиться таким единственным в своем роде зрелищем, не мог подметить у своих жертв ни малейшего признака слабости или малодушия[418].

У всех, очевидно, проявлялся в полной силе тот моральный феномен, до которого может довести продолжительное ожидание, сознание и лицезрение неминуемой опасности[419].

Десятью месяцами ранее Шарлота Корде[420], под красным плащом отцеубийц, искупила так же и с таким же непоколебимым мужеством свой освободительный порыв.

Была ли она тоже нервнобольной? В прямом смысле этого слова — нет. Ее защитник Шов-Лагард отказался унизить ее подобным отводом, несмотря даже на желание Фукье-Тенвиля. Однако и у нее можно заметить некоторые признаки ненормального мистического настроения. Ребенком она сперва отдавалась, подобно Сюзетте Лабрус, преувеличенной набожности, а затем с неменьшим жаром — новому культу свободы. Она жила, постоянно мечтая о великих людях древ-

него мира и, как Плутарх в юбке, на каждом шагу воскрешала в своем воображении их славные подвиги.

Вскоре ею овладевает «навязчивая идея»: этой юной провинциалке, знакомой с революцией лишь по исковерканным и односторонним известиям газет крайних партий, вдруг представляется, что диктатура Марата составляет препятствие, о которое должен разбиться весь освободительный порыв французской демократии. Чтобы направить родину в то русло, которое ей уготовано судьбой, это препятствие должно быть устранено.

Она представляла себе Марата — невысокого роста брюнетом с желтоватым лицом и с низменными вкусами, похожим на отвратительную гадину; чуть ли не людоедом, который из глубины своего подземного царства заправляет стаей подлых убийц. Ею овладевает все сильнее «наваждение» и захватывает, наконец, настолько, что она решается пожертвовать собственной жизнью в обмен на жизнь «чудовища». С последовательностью и точностью, присущими обычным людям, решившимся на энергичный, но исключительный поступок, она является в Париж, покупает в Пале-Рояле нож, хитростью проникает к «другу народа», озаботившись ради этого предварительно даже своим туалетом и, когда ее допускают, наконец, к Марату, сидевшему в это время в ванне, она хладнокровно выжидает благоприятного момента для нанесения удара. Покушалась ли она после этого бежать? По-видимому, нет, хотя ей и пришлось вынести борьбу с привратницей, кухаркой и комиссионером Бас, который «схватил злодейку за груди» и повалил ее на землю.

Она ясно сознавала предстоящую ей участь и написала своему отцу и Барбару отныне знаменитые письма, в которых проявила самое полное презрение к смерти. Это презрение ни на минуту не изменило ей ни в тюрьме, ни на суде, ни перед гильотиной, на которую она с любопытством взглянула, прежде чем сложить на ней свою бедную голову. Во всем этом сквозит какое-то явное изуверство, анестезирующее всякую нравственную чувствительность, свойственное весьма нередко именно женщинам при подобных трагических обстоятельствах. Надо ли припоминать в качестве примеров Жанну д'Арк,

госпожу Ролан, Люсиль Демулэн и всех прочих жертв кровожадной жестокости Фукье и Дюма?

Другим типом карающей женщины была Аспазия Карлемиджели. Эта в молодости была действительно сумасшедшей Ее пришлось заключить в убежище для душевнобольных вследствие несчастного любовного романа. После освобождения ее снова арестуют в 1793 г., на этот раз уже по обвинению в держании противогражданственных речей. Она признаётся снова невменяемой и освобождается. Затем она доносит на свою мать, как на антиреволюционерку, с целью добиться ее казни, но неудачно. Она становится, наконец, поклонницей Робеспьера, борется с термидорской реакцией и вмешивается в жерминале в народное восстание, в котором женщины составляли большинство.

В момент нападения на Конвент она — впереди всех, ее намерение — поразить Буасси д'Англа, которого она считает виновником голода. Депутат Феро бросается навстречу угрожающей народной волне, но падает, сраженный пулей в плечо. Аспазия, обутая в башмаки на толстых деревянных подошвах, немилосердно топчет и бьет его ногами; затем, оставив еще трепещущий труп, голову которого уже влекут к председателю Собрания, она бросается на этого последнего, дабы и его подвергнуть той же участи, и он был бы несомненно ею заколот кинжалом, если бы его самоотверженно не спас случившийся рядом офицер, который отвел в сторону удар и оттащил от него фурию.

Ее казнили только год спустя, и на эшафоте она последовала примеру своих предшественниц и умерла совершенно бесстрастно.

Как оценить с медико-психологической точки зрения роль женщин в революции? Они превосходят мужчин храбростью, самопожертвованием, жестокостью, исступленностью и изуверством; они гораздо стремительнее мужчин становятся жертвами невроза, специально присущего эпохам, подверженным общественным бурям.

Женщина в высшей степени податлива внушению и представляет поэтому легкую добычу для умственной заразы.

Выбитая хоть раз из нормальной колеи и свернув на ложный путь, она устремляется по нему со всей свойственной ей наклонностью к преувеличению. Женщина участвует в революции реже в качестве отдельной личности, чем в качестве деятельной и воодушевленной части народной толпы. История, вечно повторяясь, показывает ее нам в каждом народном волнении послушно и охотно идущей за его вожаками. Будь то мятеж, восстание или простая стачка, она всегда стоит в первых рядах, возбужденная, исступленная и вечно готовая на всякие крайности.

Революционная истерия всегда проявляется одними и теми же симптомами и всегда присуща всем периодам острых возмущений, когда разнузданные страсти заступают место законов рассудка. Во всевозможных несообразностях такого рода первое место всегда принадлежит женщинам, и до сих пор они еще никогда и никому его не уступали.

Заключение

Революционный невроз — не праздное слово. Он действительно и несомненно существует и вносит самое беспорядочное смятение не только в души отдельных личностей, но и в души целых обществ. Если бы мы не опасались злоупотребить терпением наших читателей, то мы легко могли бы привести и еще немало примеров пагубности его эффекта на народные массы.

Он присущ не одной Французской революции и наблюдается при одинаковых обстоятельствах, вызывается одинаковыми причинами, проявляется теми же симптомами и даже развивается с той же последовательностью каждый раз, когда какой-нибудь народ, под влиянием исторических условий, становится в положение, из которого нет другого выхода, кроме радикальной ломки угнетающего его строя, и направляется поэтому на путь насильственных переворотов.

В силу этого закона проявления этого невроза мы наблюдаем последовательно и в древнем Риме, и в мелких государствах и республиках Италии эпохи Возрождения, и в Англии, и в Нидерландах, и во Франции, а не сегодня-завтра увидим их и в переживающей ныне острый кризис России. Лишь такие хладнокровные северяне, как норвежцы, способные на революцию мирную, развивающуюся спокойно и без кровопролития благодаря непоколебимой силе народа, твердо сознающего свои права и, главное, пределы этих прав, могут избежать подобного острого психопатологического состояния народного духа.

Можем ли мы льстить себя надеждой, что благодаря поступательному росту человеческого прогресса мы не будем более свидетелями проявлений исторического невроза? Ответ на это едва ли может быть утвердительным. Со времен событий последней Парижской коммуны прошло едва 35 лет, что в мировой истории представляет, так сказать, событие вче-

рашнего дня. Эксцессы, насилия, паника, вандализм и великодушные принципы, идущие рука об руку с самыми мелочными и узкими расчетами, сопровождали и даже создавали события 1871 г. Не дают ли и они в итоге тех же запятнанных преступлениями страниц для великой книги Бытия человечества?

Мы, несомненно, теперь и просвещеннее, и воспитаннее, и образованнее, чем были сто лет тому назад, но все же, когда дух возмущения овладеет озлобленным сердцем толпы, то никакая образованность и гуманность не будут и впредь в силах удержать в должных границах ее пробуждающихся животных инстинктов.

Мы далеки от отрицательного отношения к революции вообще и к деятельности Конвента в частности. Мы ни на минуту не забываем, что этой страшной социальной ломке мы всецело обязаны нашим современным общественным строем, проникнутым идеями свободы и солидарности. Мы убежденно признаем, что революция была неизбежной болезнью современного ей французского общества — была, так сказать, «необходимым злом».

Народы, как и отдельные личности, болеют лихорадками, во время которых их организмы отлагают свои злокачественные и ядовитые соки. Этот процесс бывает подчас весьма продолжителен и болезнен, но имеет, несомненно, и свою высокополезную сторону.

Если против революционного невроза могут существовать какие-либо средства, то разве только средства предварительные и предупредительные. Но раз он уже проявился, он не поддается более никаким усилиям и не может быть подавлен.

Задача правительств поэтому и заключается в том, чтобы предвидеть события, по возможности руководить ими, не давать разгораться народному неудовольствию и возмущению, строго блюдя с этой целью правосудие и преследуя беззакония.

Даже те историки, которых меньше всего можно заподозрить в неблагосклонности к террористам 1794 г., осуждают политические насилия, признавая, что из них никогда не

может создаться ничего прочного, постоянного и равноправного.

Словами одного из наиболее выдающихся из них мы и закончим наше исследование. Вот что пишет видный представитель современного социализма, депутат Французской палаты Жорес в своей «Истории социализма», говоря о палачах и жертвах закона 1 прериаля[421]: «Все эти люди, взывавшие к благодетельной природе и стремившиеся утолить свою духовную жажду чистой водой из священной чаши всеобщего братства, взамен этого упивались братской кровью из чаши неистовства и смерти. И все же, невзирая на ужасную неизбежность кровопролитий, вменяемых им безумным ходом событий, они по-прежнему остались носителями великой мечты всеобщего братского единения.

Сколь жестока ваша судьба, заставившая вас, искателей правды и мира, преисполненных любви к человечеству, захлебываться в крови ваших братьев!

«Революция есть варварская форма прогресса. Как ни была бы она благородна, плодотворна и необходима, всякая революция будет всегда принадлежать к низшей, полуживотной эпохе человечества»[422].

Приложение Монархический вандализм

Всесторонне освещая процесс революции, мы полагаем, что справедливость требует наряду с взводимыми на нее обвинениями привести и смягчающие в ее пользу обстоятельства. На этом основании мы даем ниже извлечение из ставшего ныне библиографической редкостью сочинения графа Монталямбера под заглавием: «Вандализм и католицизм в искусстве», автор коего, пэр Франции, не может, очевидно, быть заподозрен в пристрастии или благосклонности к революции, вследствие чего его свидетельство приобретает еще большую ценность и значение.

— Только во Франции господствует вандализм без меры и без пределов. Оскверняя в течение целых двухсот тридцати лет смешными, а иногда и позорными дополнениями наши древние памятники искусства, вандализм ныне возвращается снова к приемам террора и упивается своей страстью к разрушению»[423]. Как бы предчувствуя свой скорый конец, он спешит обрушиться на все, что только попадает под его невежественную руку. Страшно подумать о тех разрушениях, которые творятся им ежедневно.

Некогда переполненная чудными произведениями искусства, наша родина с каждым днем оголяется и становится беднее и пустыннее благодаря чудовищному уничтожению памятников отечественной культуры. Роковой участи подвергаются в одинаковой степени и церкви, и феодальные замки, и стариннейшие городские здания. Страна переживает точно нашествие диких орд, задавшихся целью стереть с ее лица всякий след веками обитавших в ней поколений. Можно подумать, что они стремятся доказать, что весь мир народился только вчера и окончится завтра, — до такой степени усердно они стараются снести с него все, что только способно пережить хоть одно человеческое существование.

Не будем говорить о провинции — об этих чудных Нимских аренах, превращенных в кавалерийские конюшни, о скотопригонном дворе, устроенном на развалинах Сен-Бертенского аббатства, о Суасонском монастыре, превратившемся в артиллерийский полигон, о комическом и в то же время позорном разрушении знаменитой, описанной Виктором Гюго, Лаонской башни, а обратимся к ужасам, творящимся в самом Париже. Вспомним о руинах Сен-Жермен-Оксерского аббатства, о часовне Клюни и бульварном театре, устроенном под изящнейшими сводами этой одной из красивейших церквей Парижа, о полном разрушении другой, после того как она долгое время служила анатомическим театром. Вспомним о плачевной участи Тюльерийского дворца и о типичном «казенном» здании, возведенном как раз напротив него, этом бесвкуснейшем винегрете из мрамора и позолоты, именуемом Палатой депутатов!

Мон-Сен-Мишель (Mont Saint Michel), Фонтевро (Fontevrault), Сент-Огюстен-Лиможский (Saint Augustin Les Limoges), Клерво (Clairvaux) — все эти гигантские свидетели средневекового усердия и творчества избежали, положим, участи Клюни и Сито (Cluny et Citeaux), но разве их судьба от этого менее опозорена? Не лучше ли было бы бродить на развалинах этих, некогда знаменитых аббатств, служивших приютами тихой скорби и науки, чем видеть их превращенными в постыдные тюрьмы, вертепы преступности и разврата? Церковь Св. Клары в Авиньоне, где в страстную пятницу 1328 г. Петрарка впервые увидел Лауру, погибла с сотней других, и ее стены теперь служат для красочной фабрики!

Знаменитая церковь Кордельеров-францисканцев, в которой покоились останки красавицы Лауры рядом с прахом храброго Крильона, снесена, и на развалинах ее тоже высится ныне красильня! Ничто даже не напоминает о ее существовании, кроме нескольких кусков фундамента да уродливой колонны с почти юмористической надписью, поставленной очевидно на смех каким-то англичанином.

Карл V разрушил в Камбре великолепную церковь, чтобы выстроить из ее материала цитадель, которая дала ему затем

возможность лишить город его старинных прав и привилегий. В Генте огромная старинная церковь Сен-Павон (S-t Pavon) с монастырем были снесены тем же благочестивым императором и на их месте тоже устроены укрепления. Людовик XIV проявил такое же неуважение к религии и искусству, когда, отняв у испанской короны Франшконте, разрушил в Безансоне величайшую местную святыню — собор Св. Стефана и обратил весь камень на расширение крепости.

В Ажане собор, тоже посвященный св. Стефану, был разрушен во времена империи по той лишь причине, что для его ремонта потребовалась слишком значительная сумма. Только готические колонны алтаря остались нетронутыми, точно немые свидетели вандализма властей. В ограде бывшей церкви устроен ныне рыбный и скотский рынок, а из остатков камня построен театральный зал. В Сен-Марцелино в Дофине распорядились еще проще. Муниципальный совет завладел одной из двух единственных городских церквей и постановил прямо обратить ее под театр, что и было немедленно исполнено.

Благодаря разоблачениям Вите (Vitet) всем более или менее известно о разрушении С.-Бертепского аббатства в Сен-Омере, но немногие, вероятно, знают, что едва ли не единственной истинной причиной этой вандальской меры было то обстоятельство, что величественное здание бросало слишком густую тень на произраставшие в соседнем саду у одного из видных городских деятелей тюльпаны!

В Моассаке было знаменитое аббатство, славившееся как красотой стиля, так и тем, что оно связано с историей феодальных времен — посещением одного из французских королей — Филиппа Смелого. Городская дума не постеснялась завладеть монастырем с целью воспользоваться его замечательными готическими колоннами для постройки рынка. Церковь тоже не избежала вандальской руки администрации. Ее фасад, один из любопытнейших памятников средневекового искусства, ни с того ни с сего весь заштукатурили и вдобавок закрасили затем в синюю краску! Внутренние стены были раскрашены в разноцветные колеры еще раньше.

В Перигоре, в Марейле, возвышается замок, принадлежащий старинному дворянскому роду, носящему имя этой же местности. Он представляет собой редкий по своей характерности памятник феодальных резиденций в XIII и XIV вв. Теперь он совершенно заброшен, приходит с каждым днем в большую ветхость и никому и в голову не приходит позаботиться о его поддержании. Великолепнейшая скульптура на стенах разбивается местными жителями для добывания из нее извести.

Крыши башен провалились, стены рушатся; намеревались даже просто продать на слом и снос все, что еще стояло, но этому воспротивился сам город, заявивший, что уничтожение подобных «украшений местности» нежелательно. Редкая аномалия с повсеместной практикой городов, делающая честь местному муниципальному совету.

По соседству, в Бурдейле, имеется замок с высокой башней, видной на две мили кругом и воспетой некогда Брантомом. Владелец, господин Жюмильяк, продал его за каких-то шесть тысяч франков! Невдалеке на живописных берегах Дордони возвышаются на скалах величественные руины замка Кастельно, принадлежавшего целые века фамилии Комон Ля Форс. Нынешний герцог пытался сбыть их за шестьсот франков на снос, но, к крайнему его сожалению и к чести уважающих эту развалину местных жителей, покупателя на них не нашлось.

В Анжу — замок Посе, известный в истории этой провинции по странным привилегиям, которыми якобы пользовались в средние века его владельцы, теперь необитаем и представляет хозяйственные службы при соседней ферме.

На берегах Лоары, между Сомюром и Кондомом доныне возвышается знаменитый в средние века замок Монсоро, где, между прочим, был в 1579 г. убит бывшим владельцем Бюсси д'Амбуаз[424]. Чистейший экземпляр архитектуры эпохи Возрождения (ренессанс), он избежал даже ужасов вандализма времен революции, но не мог спастись от вандализма своего собственного владельца, который продал его местным крестьянам, не замедлившим довести его до полного разрушения.

Каплица, в которой Дюгесклен был посвящен в рыцари, обращена теперь в прачечную. Возле Ажана владелец замка, служившего некогда резиденцией королевы Анны Австрийской, обратил его попросту в загородный кабачок.

В Анжу, в местечке Кюно, есть церковь, сооружение которой приписывается преданием еще королю Дагобэру. Старинные своды достались в руки какому-то Дюпюи из Сомюра, который и превратил их в сарай для хвороста, уничтожив последние редчайшие расписные стекла в окнах.

В Перигоре есть старинный монастырь — Кадуэн, основанный, как говорят, еще св. Бернардом, — чудо архитектуры, скульптуры и живописи. От него остались доныне церковь и еще одно здание, которые превращены в обыкновенный свиной хлев.

В Тулузе не только не пощадили ничего, а даже как будто нарочно выбирали наиболее интересные памятники прошлого, чтобы или их уничтожать, или дать им самое низменное назначение. Церковь францисканцев, возведенная в XIV в. и известная своими фресками и барельефами, изделия ученика Микеланджело, Башелье, одного из лучших скульпторов эпохи Возрождения, с картинами Антония Ривальца и гробницей президента парламента Дюранти, а главное — со своим склепом, имевшим удивительное свойство сохранять тела покойников нетленными, — эта церковь разграблена дочиста и обращена в сарай для фуража. Окна теперь все замурованы, а подземелье, в котором много лет показывалось тело красавицы Паулы, славившейся при Франциске I, просто засыпано. Доминиканская, или Яковитская, церковь, высокие своды которой воспеваются во всех старинных описаниях Тулузы, нынче совершенно недоступна. Она передана в артиллерийское ведомство, которое устроило внизу конюшни, а вверху — склады сена и казармы для солдат. Одна лишь церковь Августинцев, третий стариннейший памятник Тулузы, имела лучшую участь — ее обратили в музей.

Духовенство, как это ни странно, обыкновенно вполне равнодушно к памятникам Возрождения и вообще к христианскому элементу в искусстве. Это, конечно, прямое

доказательство его полного невежества в этом важном вопросе.

Долгий ряд преследований и испытаний, перенесенных во Францию католицизмом, естественно, не мог не отвлечь внимание прежних служителей церкви от этой задачи. Со времени же умиротворения церкви число священников всюду слишком недостаточно, чтобы последние могли, не забывая о своей пастве, посвящать достаточно времени на изучение памятников старины. Они являются, впрочем, лишь наследниками трехвековых заблуждений, в которых виновны скорее их предшественники. Последние же, действительно, с каким-то особым удивительным усердием уничтожали все, что только являлось памятником славного культа, служителями которого они были.

Не сохранилось бы, наверное, ни одного из наших готических соборов, если бы только эти гиганты поддавались легче разрушению; о целях духовенства можно судить по разным фасадам и деталям, которые им все же удалось преобразить по своему вкусу. От их руки, например, пали дивные массивные ограды, отделяющие алтари от прихожан, замененные ныне какими-то решетками из дутого железа. Не удовлетворяясь захватом и переименованием, а часто даже и переделкой античных статуй, они в течение всего XVIII в. ухитрялись в древней литургии заменять величественную и вместе с тем простую речь первоначальной церкви — новой латынью, в которой так и слышатся отголоски языка Горация и Катулла, явно нарушающие величественную простоту христианских традиций первых веков.

Остатки старины уничтожались вообще беспощадно и особенно пострадали в этом отношении готические окна с цветными стеклами. Накладывались руки даже на высоко уходящие в небо готические стрелы, аллегорически возносившие к престолу Всевышнего звуки упраздненных церковных напевов. После таких подвигов не оставалось ничего другого, как терпеливо ожидать момента, когда революция хлынет могучей волной воскресшего язычества и, отправив духовных на эшафоты, не обратит их церкви и соборы в храмы богини Разума[425].

Эпоха реставрации, на которую само ее наименование, казалось, налагало специальную миссию возобновить и сохранить памятники прошлого, была, как раз наоборот, временем самого жестокого их разрушения[426].

Систематическая беспечность в этом отношении, царившая в 1816 г. до тридцатых годов XIX столетия, выражается лучше всего в указе, по которому богатейшее хранилище исторических памятников, каким являлся Мало-Августинский музей, было расформировано и попросту разграблено под предлогом возврата его сокровищ по принадлежности их бывшим владельцам, большинства которых не было уже в живых, а остальные сами не знали, что им делать с возвращаемым им историческим наследием.

Кто бы мог поверить, что при столь религиозно-нравственном правительстве муниципальный совет г. Анжера под председательством депутата крайней правой устроит театральный зал из готической церкви св. Петра, а церковь св. Кесаря в Арле, одна из древнейших во всей Франции, превратится без малейших возражений со стороны властей прямо в непотребное место?!

Кто предположил бы, что с возвращением престола истинно-католическим королям ничего не будет предпринято для очищения от военного постоя великолепного папского дворца в Авиньоне?

Замечательная Клервоская церковь XII столетия, по размерам равнявшаяся собору Парижской Богоматери, заложенная самим св. Бернардом и под сводами которой, рядом с его нетленными останками, покоились прахи стольких королей, принцев и священнослужителей и даже сердце дочери Людовика Святого (короля), — Изабеллы, — церковь, уцелевшая во времена революции и империи, была разрушена в первый же год реставрации. От нее не осталось камня на камне, и даже не была пощажена могила св. Бернарда. И все это лишь для того, чтобы устроить двор во дворе тюрьмы, в которую был обращен древний монастырь.

Нашелся такой реставрационный префект, который продал на весь архив этого упраздненного монастыря, доставив-

ший 700 фунтов оберточной бумаги. Остатки этого архива и сейчас еще валяются на чердаках, и я сам, с краской стыда в лице, попирал ногами эти бумаги, в числе которых случайно подобрал одну, оказавшуюся не более не менее как метрикой папы Урбана IV, уроженца этого же Труа, где его отец был сапожником. Тот же префект сровнял с землей руины дворца бывших графов Шампанских, этой поэтической династии разных Тибо и Генрихов-Широких, под тем лишь предлогом, что он якобы препятствовал проведению спроектированной им окружной дороги! Той же участи подверглись и воздвигнутые при короле Франциске I Яковитские и Бефросские городские ворота.

Другой префект в департаменте Эры и Лоары без всякого стеснения украсил часовню в своем поместье старинными расписными стеклами из окон Шартрского собора. Не подлежит сомнению, что во всей Франции нет департамента, где бы реставрация в каких-нибудь пятнадцать лет не ознаменовала себя большим числом всевозможных разрушений, чем вся революция и империя, если и не всегда по распоряжению правительства, то во всяком случае перед его глазами и без малейших с его стороны препятствий.

Еще недавно в Перпиньяне из старинных пергаментов вырезали кружки на банки с вареньем, а в Шомоне беспощадно распродали на вес почти весь городской архив.

Знаменитая по смелости постройки Иоанновская церковь в Дижоне, через которую перекинут во всю ширину удивительный свод и которую пощадили даже в XVIII столетии, теперь превращена в бондарную мастерскую и постыдно обезображена; в ней обрубили хоры, точно сухую ветку на дереве, и поставили во всю ширину здания какую-то глупейшую перегородку.

В Пуатье страсть к разрушению дошла до того, что главному строительному инспектору Вите пришлось выдержать с городским муниципалитетом целую войну, чтобы спасти от сноса самый старинный городской памятник VI или VII в., часовню Св. Иоанна. Эта святыня оказалась, к несчастью, между мостом и городским базаром, и хотя этот редчайший

остаток франкской архитектуры вовсе не мешал подвозу на рынок телят, кур и гусей, но отцы города, из желания спрямить улицу, хотели во что бы то ни стало его истребить так же, как они уже стерли с лица земли все старинные укрепления и средневековые городские ворота.

В Валансьене сейчас разрушают последнюю из древних готических аркад, напоминавших величие и славу этого города, когда он еще разделял с Монсом честь быть центром области славного рода графов Гейно, царствовавших во время крестовых походов в Константинополе. Здесь же разрушили недавно и большую часть старинной богадельни, построенной еще в 1431 г.

Особенно удивительна интенсивность вандализма в бывших провинциях испанских Нидерландов, которые некогда могли гордиться богатством и численностью своих произведений готического искусства. Здесь дело доходило до того, что разрушали знаменитейшие соборы с исключительной целью устроить городские площади. Такая участь постигла соборы: Св. Доната в Брюгге, Св. Ламберта в Льеже и Пресвятой Богоматери в Камбре. Городские советы сносили красивейшие в Западной Европе развалины просто под предлогом доставить труд безработным, как это было в С.-Омере с руинами С.-Бертенского аббатства.

Приведем наудачу еще несколько фактов из длинного ряда этого специального фабрично-церковного вандализма, результата не только невежества, но нередко и стяжательства со стороны представителей духовенства.

Из церкви в Эперне увезли для часовни в доме викарного епископа несколько тонн старинных стекол; великолепнейшее распятие слоновой кости из церкви Св. Иакова в Реймсе было прямо продано ее настоятелем какому-то антиквару, а стариннейшую во всей Шампани Шатильонскую церковь продали под фабрику всего за 4000 франков. В Амьене из местного собора продали три прекрасные, очень старинные и любопытные картины на дереве для уплаты за штукатурку и побелку одного из приделов. Другие такие же служат дверками в курятнике у одного из аббатов. Ничто не ускользает от этого

систематического вандализма, но что является его обычной и притом самой излюбленной жертвой, это — старинные купели, к которым почему-то коллекционеры-англичане проявляют особенный интерес.

В Ляжери, близ Реймса, местный священник распорядился попросту разбить все купели романского стиля и заменил их современными, весьма сомнительного вкуса. Такая же участь постигла старинные купели и во всех почти церквах на севере и на востоке Франции, их везде перебили или забросили в темные углы и поставили на их место новую, часто самую безвкусную посуду.

В одной из церквей, близ Пуатье, разрушили редчайшую купель для крещения — «погружением», не применяемом более, как известно, в католицизме.

Наконец, в Сен-Гильхеме, между Монпелье и Лодевой, имеется старинная церковь, построенная, по преданию, Карлом Великим, престол в которую пожертвовал папа Григорий VII.

Местный священник, ничтоже сумняшеся, не постеснялся выбросить эту редкость и заменить ее новым деревянным крашеным алтарем, не соображая, очевидно, что он этим оскорбляет двух величайших столпов средневекового католицизма.

Заклеймив таким образом современный вандализм, еще более гибельный, чем вандализм революционный, автор заканчивает следующими красноречивыми строками.

— Роскошь — одна из благороднейших потребностей человечества, а между тем с каждым днем ей служат в современном обществе все менее и менее. Я представляю себе, какого презрения исполнился бы к нам любой из наших якобы варварских предков XV или XVI века, если бы, восстав из гроба, сравнил современную Францию с той, которую он нам оставил. Если бы он сравнил свою старую, всю усеянную бесчисленными, замечательными по своей красоте и чистоте стиля, произведениями искусства страну с настоящей, поверхность которой с каждым днем становится все глаже и однообразнее; тогдашние города с их видневшимися издалека

колокольнями, укреплениями и величественными воротами — с современными новыми кварталами, отчеканенными по одному штампу? Если бы он окинул взором бесформенные массы наших мануфактур и заводов с возвышающимися среди них унылыми фабричными трубами, то ему пришли бы на память старинные замки и аббатства, рассеянные по холмам и долинам его родины, церкви и каплицы, переполненные произведениями живописи и скульптуры, отличавшимися оригинальностью своего стиля? Что сказал бы он нам тогда?...

Оставим же все хоть, по крайней мере, в том виде, в каком оно теперь. Мир уже достаточно обезображен. Постараемся сохранить хоть те редкие памятники его былой красоты, которые уцелели до наших дней... и ополчимся против вандализма, не дадим ему более вырывать с корнем памятников нашего прошлого, насажденных могучей рукой наших предков.

Примечания

[1] Последняя война могла бы тоже представить аналогичные примеры. — *Прим. пер.*

[2] Ныне гл. город Д-та Нижних Альп. — *Прим. пер.*

[3] *Доктор Кабанес*. La peste dans l'imagination populaire. Archives de la Parasitologie 1901 г. На дорогах, как свидетельствует один из современников, цитируемый Мишле, сильные хватали слабых, разрывали их на части, жарили и тут же поедали. Это безумие дошло до таких пределов, что животные были в большей безопасности, чем люди. Нашелся человек, имевший наглость открыто торговать в г. Турпусе на рынке человеческим мясом. На суде он даже не запирался и был предан казни; но, однако, тотчас же нашелся другой, который в ту же ночь выкопал его тело и стал тут же его есть. За это он был сожжен по приговору уголовного суда.

[4] Насколько основателен такой оригинальный взгляд авторов, можно будет вскоре проверить по результатам современного движения у нас, в России. — *Прим. пер.*

[5] *Барон Поассон*. L'armée et la garde nationale.

[6] Как это возможно судить, например, даже и по современным событиям в России. — *Прим. пер.*

[7] *Жорес*. Histoire socialiste. La constituante.

[8] Intermédiaire des chercheurs. 6 octobre 1898.

[9] Тьер, op. cit., т. VI.

[10] *Олард*. La Societé des Jacobins.

[11] Не буквально ли то же самое наблюдается уже в настоящее время и у нас в России. Вот что сообщает «Новое Время» в № от 13 декабря 1905 г. по поводу беспорядков в Риге.

Вследствие хронических забастовок железной дороги, почты, телеграфа и газет Ригу охватила эпидемия ложных слухов. Происхождение их — отчасти страх и трусость, отчасти намерение окончательно терроризировать население. То передается о мнимых беспорядках в местном гарнизоне, то о готовящихся погромах «черносотенцев», то о движении на Ригу десятков тысяч вооруженных крестьян, то о небывалых кровавых стычках в городе, о массовых политических убийствах, совершаемых якобы от имени «федеративного комитета», с одной стороны, и «черносотенного» — с другой. Все эти слухи вздорны и не имеют никаких оснований под собой. Законные власти растерялись, совершенно беспомощны и словно отстранились от своих обязанностей, а «федеративный комитет» не только не содействует успокоению, но еще более увеличивает общую неуверенность в завтрашнем дне, общую растерянность. Какую панику, например, вызвало его воззвание, чтобы из государственного банка и городской кассы были вытребованы денежные вклады! Сколько вкладчиков было обворовано и ограблено, сколько лишилось своих скудных сбережений обманом и невежеством! Легковерные люди немало потеряли в эти дни и на бумажных денежных знаках, когда контора государственного банка успела выдать весь

свой запас звонкой наличности и была вынуждена отказаться от дальнейшего обмена кредитов на золото. Несчастные торговцы совсем растерялись и не знают, кого им надо слушаться, чьи приказания исполнять. Лифляндское дворянство подало первый пример шествия в Каноссу, к федеративному комитету, когда надо было освободить захваченных революционерами в плен некоторых помещиков с их семействами.

Всякому известно, что нечто подобное совершается не в одной Риге, а во многих городах нашего отечества. — *Прим. пер.*

[12] По последним известиям, во время октябрьских (1905 г.) беспорядков в Одессе хулиганы открыто на улицах, среди белого дня, растлевали девушек, насилуя их «до смерти» по несколько человек подряд, распарывали беременным женщинам животы и т. п.

9 декабря 1905 г. в Москве во время забастовки толпа под Сухаревой башней «избила одного оратора, а двух курсисток буквально раздела». Нов. вр. от 11 декабря 1905 г. — *Прим. пер.*

[13] *Ломброзо.* «L'homme criminel».

[14] *Доктор Молль.* Des perversions de l'instinct génital. Paris, 1891. Перевод Roumie et Pactet.

[15] *Доктор Лассер.* La perversion sadique. Th. Bordeaux, 1898.

[16] В правление Филиппа Долгого народ разгромил все лепрозории и еврейские кварталы. Несчастные жертвы подвергались невообразимым пыткам. Безумие распространялось подобно заразе по всем слоям народа: среди буржуазии, господ, королевских офицеров и даже передалось самому королю (Гайдоз. Mélusine).

[17] Коспо в своем «Oraison funébre de Henri IV» говорит: «Праведная ярость охватила народ против его зарубленного трупа и заставила его разорвать мертвое тело убийцы на тысячи кусков, но чтобы есть его мясо сырым, об этом мы лучше умолчим... Очевидно, что железо, сера, огонь, щипцы, четвертование и даже разорвание трупа на тысячи кусков не могли еще достаточно удовлетворить справедливой горести народа».

[18] Случаи людоедства в истории европейских народов неоднократны, они проявляются именно когда народная экзальтация достигает своего апогея, граничa с умопомешательством. Во время осады Лейдена один зеландский матрос съедает сердце неприятеля-испанца. В 1581 г. жители острова Тейсейры тоже едят сердца своих врагов испанцев.

В 1647 г., в Неаполе, народ душит больных госпиталя Св. Жака; какая-то женщина отрезает голову у одного из них, раздирает ему грудь и вырывает сердце. Другой человек обмакивает хлеб в его крови и ест. Во время осады Парижа некоторые ели пирожки, которые пек какой-то пирожник в улице Vavin якобы с мясом убитых неприятелей; эта легенда, впрочем, не находит еще точных подтверждений до настоящего времени (Intermédiaire des chercheurs. T. XIX и XXIII).

[19] Что, впрочем, не помешало страшному разграблению Тьянцзина, Пекина и всех окрестных городков и селений европейскими войсками всех наций во время боксерского восстания 1900 г. — *Прим. пер.*

[20] *Пельтан Э.* Décadance de la monarchie française.

[21] Когда австрийскими войсками была взята Лотарингия, то кроаты сожгли монастырь Св. Николая. Многие монахини этой обители бежали в Шалон. Большая их часть была изнасилована неприятельскими солдатами, и так как скрыть

это было невозможно, то они называли свое несчастье «принятием мучений». Рассказывая об этом епископу, некоторые из них сознавались, что пострадали по два, по три и по четыре раза. «Это ничто в сравнении со мною, — воскликнула одна, — я пострадала восемь раз!» — «Восемь мучений! — воскликнул епископ. — О, сестра моя, сколько заслуг за вами!»

[22] *Тэн*. Les origines de la France contemporaine.

[23] Возобновляя за свой счет казни, столь частые при старом режиме, революция часто прибегала и к выставке голов казненных. В Париже иногда расхаживали целые процессии, нося перед собой на остриях пик кровавые трофеи революции. В провинции слепо следовали этому примеру. 7 плювиоза II г. были казнены: князь де Тальмон, член учредительного собрания, Энгельбан-Ларош и гражданин Журден, и их тела выставлены: первые два у ворот Лавальского замка, а третье у ворот дома его вдовы.

Третьего флореаля II г. головы Тома и де Дудена были выставлены на Лудэанской и Дампьерской колокольнях (Intermediaire, t. XXXVIII).

[24] *Жорес*. Histoire socialiste: La Constituante.

[25] История английских революций представляет подобные же факты: «В начале движения 5000 крестьян Эссекского графства вооружаются кольями, топорами и ржавыми шпагами. Через несколько дней их уже 200 000 человек. Они прибывают в Лондон. Ужас овладевает городом. Тауэр обложен и взят приступом. Кровь в нем течет ручьями... Легкая победа возбуждает еще сильнее ярость осаждающих. Они бросаются грабить частные дома, и, в то время как трупы жертв бесстыдно оскверняются, отрубленные головы проносятся с триумфом по улицам на остриях пик» (Д'Орлеан. Revolutions d'Angleterre).

То же самое творилось и во время революции в Нидерландах. Эти злодеяния были делом подонков населения, которые действовали так, что нельзя было узнать, кто их подстрекает и где найти те тайные пружины, которые приводят их в движение. Жерар-Бранд. «Histoire de la Rèforme des Pays-Bas».

[26] Герцог Карл-Вильгельм Брауншвейгский, генерал прусских войск и главнокомандующий коалиционной армией держав в 1792 г. Был разбит в 1792 г. под Вальми генералами Дюмурье и Келерманом, а затем в 1796 г. под Ауэрштедтом — Даву; здесь же он был смертельно ранен. — *Прим. пер.*

[27] После разбора дела о сентябрьской резне было, согласно указу от 19 октября 1792 г., уплачено 213 ливров и 12 су некоему Леру «кормовых на арестантов тюрьмы Форс, переведенных в ризницу церкви св. Людовика Культурного. Постановлением Коммуны от 11 сентября того же года этот Леру был назначен поставщиком склада невинных». *Фасси*. Episode de l'histoire de Paris sous la Terreur, стр. 24–25.

[28] *Michelet*. Histoire de la Revolution française, в передаче Лассера.

[29] Доктор Лассер.

[30] В настоящее время может считаться доказанным тот факт, что сентябрьские убийцы были все поголовно пьяны, могли ли бы они, впрочем, иначе и совершить свое кровавое дело? Мы приведем в подтверждение этого слова двух очевидцев.

Вот что говорит об этом Монгальяр в своей Histoire de France (t. III, p. 190):

«Сотня подкупленных убийц, с лицами, обезображенными злобой и жаждой крови, вином и особенным напитком, смешанным с каким-то зельем для возбуждения ярости, вооруженные саблями, топорами, пиками, пистолетами

и штыками, собираются под звуки «Марсельезы» и с криками «Да здравствует нация!» требуют выдачи им заключенных, чтобы их всех перебить». Как не преувеличивает вообще Мотон де Варен, однако и он дает подчас не бесполезные сведения. Мы заимствуем у него описание следующего случая. Утомленные убийцы, продолжая пить водку, в которую Мануэль велел подсыпать пороху, чтобы разжечь снова их неистовство, уселись в кружок прямо на трупах, чтобы перевести дух. Случайно мимо проходила женщина с корзиной булок, убийцы отняли у нее хлеб и начали его пожирать, макая каждый кусок в раны своих еще трепещущих жертв. Hist des evénements, qui ont eu lieu en France pendant les mois de juin, juillet, août et septembre 1792, par M. de la Varrenne, p. 400–401.

[31] См. по этому поводу: «La chronique medicale, 1-er Fevrier». 1905.

[32] 10 августа, когда последовал разгром Парижа, революционная банда оказалась весьма почтительной к женскому полу. «Они пощадили не только всех женщин, живших во дворце, — пишет молочный брат Марии-Антуанетты, Вебер, — но также и королевского доктора, Лемонье. Подробности спасения последнего не безынтересны. Во время нападения толпы, он не вышел из своего кабинета и даже не переоделся. Люди, с окровавленными руками, грубо застучали в его двери — он отворил. «Что ты тут делаешь? — спросили его, — ты совсем спокоен?» — «Я на своем посту!» — отвечал старик. — «Кто ты такой?» — «Я — врач короля». — «И не боишься?» — «Чего мне бояться? Я безоружен, а разве трогают тех, кто сам не может никого обидеть?» — «Ты добрый малый, — говорят санкюлоты, — тебе здесь не место, другие, пожалуй, не поймут тебя. Говори, куда бы ты хотел отсюда отправиться?» — «В Люксембург!» — «Так следуй за нами и не бойся ничего». Его заставили пройти мимо целого леса штыков и копий... Товарищи, говорили они, пропустите этого человека, это королевский лекарь, но он бесстрашный человек и добрый малый... Он прибыл цел и невредим в Сен-Жерменское предместье». Memoires concernant Marie Antoinette, par Weber, t. II; Paris, 1882, p. 347–348.

[33] *Фогт Гунольштейн*. Correspondance de Marie-Antoinette.

[34] *Де Дескюр*. La princesse de Lamballe, стр. 262–263.

[35] *Гонкур*. Histoire de Marie-Antoinette.

[36] Тюрьма Форс состояла из двух отделений: Большой Форс, куда заключали за долги, за нарушение дисциплины, за дезертирство, а также всех арестованных на улицах и в публичных местах за драки и буйства и вообще всех подозрительных и праздношатающихся. Эта тюрьма предназначалась только для мужчин. Что касается Малой Форс, то она была учреждена в 1785 г. специально для проституток, где они и содержались, пока для них не был приспособлен монастырь Сен-Лазарской миссии. В Малую Форс можно было попасть с улицы Мощеного Болота, она была построена на месте старого Бриенского отеля.

[37] «Исследуя эту запись, — пишет де Ботен, который имел ее в руках, — легко заметить, что несчастную принцессу ожидала особая участь».

[38] Петьон де Вальнёв был в 1791 г. мэром Парижа и президентом Конвента. В качестве жирондиста объявлен 31 мая 1794 г. вне закона; о его смерти см. ниже (1756–1794). — *Прим. пер.*

[39] Revelations. Сенара, p. 44.

[40] Угол, где было совершено преступление, оставался в течение целого дня залитым кровью и покрытым кусками человеческого мяса. Дочь одного цирюльника из Метельной улицы вышла и вытерла его губкой.

[41] Биография Мишо: «Принцесса Ламбаль, ее жизнь и кончина», с. 353.

[42] По словам Эрвелена, артиллерийского барабанщика Рыночной секции, интересные воспоминания которого опубликованы г. Бежи в Ежегоднике Общества друзей книги, 1891 г., стр. 39 и след., отсек голову принцессы некий Форга, жандармский тамбур-мажор.

[43] Рассказ де Пельтье у Лесккюра, стр. 359–360.

[44] А. Бонардо записал со слов одного торговца картинами, Панье, следующий рассказ. «Лет 10–12 он жил на квартире у родственника в С.-Антуанском предместье. Однажды в сумерки он увидел, что во двор вошел небрежно одетый и еле держащийся на ногах человек, с грязным оловянным блюдом в руках, на котором лежали какие-то куски мяса черноватого цвета. По приказанию этого человека, говорит рассказчик, я позвал своего родственника, и между ними произошел на дворе приблизительно такой разговор: «Гражданин, истинный ли ты патриот?» — «Не менее чем ты». — «В таком случае поешь этого». — «А что это такое?» — «Это сердце Ламбальши. Докажи зубами, что ты — враг аристократов!» — «Ничего такого я делать не буду и не стану из-за этого худшим патриотом». — «Тем хуже для тебя, ты можешь навлечь на себя неприятности!» Поставив затем блюдо на подоконник, этот человек удалился в угол двора... Он, как оказалось, уже давно носил блюдо по домам и его везде щедро угощали».

[45] «Париж во время революции». Мерсье, т. I. Poulet Malassis, 1862.

[46] Intermediaire, 10 июня 1894 г.

[47] В нем оказалось письмо, золотое кольцо с надписями внутри и снаружи, 9 маленьких ключей на стальном кольце и шагреневый чехол с парой очков в стальной оправе... «Людовик XVI, его жизнь, агония и смерть» де Ботена. Париж, 1894, т, I, стр. 551–552.

[48] *Ленотр.* Captivité et mort de Marie Antoinette, стр. 79.

[49] *Де Ботен*, т. I, стр. 280.

[50] Письмо Бюргера к лорду Гренвилю от 8 сентября 1792 г.

[51] Мемуары мисс Эллиот (изд. Lévy), стр. 161.

[52] Мемуары барона Оберкирха, т. II, стр. 157.

[53] Revue rétrospective, т. Ш, стр. 496.

[54] При этом (избиении в тюрьме «Форс») погибла только одна женщина, но мы должны сказать, что ее близкая связь с самым ожесточенным врагом нации — королевой Марией-Антуанеттой, подругой которой она была во всех ее развлечениях, именно и объясняет и до известной степени даже оправдывает те зверства, жертвой коих она погибла». (La vérite sur les événemeuts du' 2 septembre соч. Мегэ де ла-Туш).

Около того же времени журналист Горза писал в своем летучем листке: «Близкие отношения г. Ламбаль к королеве и несколько фактов, относящихся к событиям 10 августа, поставили ее в ряды жертв, павших в этот роковой день от руки сограждан». В другом месте этот же публицист, говоря о перебитых монахах Кармелитского ордена, сообщает: «Между вещами, найденными на них и которым после их смерти была составлена опись, оказались маленькие бумажные образки, на которых в терновом венце, увенчанном крестом, были изображены два сердца, пронзенные стрелой, с надписью под ними:

Сердца священные
Спасите нас!»

Очевидно, это был какой-то условный знак, нечто вроде талисмана, который носили на себе и госпожа Ламбаль и прочие придворные дамы; но у них это изображение было искусно вышито шелками на лоскутках разноцветного сукна.

[55] Прежде чем мы попытаемся осветить характер отношений, существовавших между принцессой Ламбаль и Марией-Антуанеттой, мы должны удостоверить, что королева действительно неоднократно оказывала принцессе знаки самой глубокой привязанности. Известно, что между вещами, найденными на принцессе в момент ее гибели, было золотое кольцо с медальоном, закрывавшимся голубым вращающимся камнем; в медальоне хранилась прядка белокурых волос, перевязанных шнурком, с подписью сверху: «Поседели от горя». Кольцо это было подарено королевой своему другу во время пребывания принцессы в Ахене, после возвращения королевской семьи из Варенн.

[56] Маркиз Ферриер, завзятый противник герцога Орлеанского, который не щадит его в своих «Записках», высказывает по этому поводу следующее: «Привязанность принцессы к королеве заставляла и якобинцев, и сторонников Филиппа Эгалите одинаково смотреть на нее, как на завзятого врага, от которого надо во что бы то ни стало избавиться. К этой причине присоединилась и личная корысть. Герцог Орлеанский выплачивал госпоже Ламбаль пожизненную ренту в 300 000 ливров. Банкротство, до которого он дошел благодаря своему безумному швырянию деньгами в надежде привлечь страну на свою сторону, затрудняло для него выполнение этого обязательства, и он ухватился за первый удобный случай, чтобы избавиться от подобного расхода. Последняя часть этого тяжкого обвинения, пишет Фасси, основанная, впрочем, на весьма сомнительных сплетнях и слухах, отпадает сама собой ввиду отсутствия со стороны герцога всяких прав на наследство после принцессы.

Во время совершения преступления герцог и его жена, герцогиня, были в имущественном отношении разделены. Рента принцессы Ламбаль составляла едва 30 000 франков, следовавших ей притом из доходов не герцога, а ее сестры, герцогини Орлеанской. Ламартин весьма основательно высказал по этому поводу, что «игра не стоила свеч и что из-за таких денег, которые даже не доставались убийце, незачем было бы совершать подобного преступления» (См. по этому вопросу: «Memoires secretse» д'Аллонвиля, т. II.)

[57] Об отношениях Марии-Антуанетты и принцессы Ламбаль к Робеспьеру см.: *Прюдом*. Les révolutions de Paris, ст. 146, 147; *Сериейс*. Anecdotes sur la Révolution, стр. 80 и след.: *Мишле*. Histoire de la Révolution. III, 487; *Гамель*. Histoire de Robespierre. II, 225 и след.

[58] Следствие, произведенное в 1795 г., установило, что добровольцев-палачей при тюрьме Форс в сентябре 1792 г. было 13 человек; число это, вероятно, преувеличено, но вот во всяком случае самые главные из них и их дальнейшая участь.

а) *Великий Николай* (Петр-Николай-Ренье) 41 года, уроженец Парижа, бывший крючник, потом служил в жандармах и уволен в отставку. 22 мая 1796 г. приговорен к 20 годам каторжных работ с заковкой в кандалы. Народный певец Анж-Питу, который видел его в тюрьме Форс в первый год его заключения, сообщает о нем следующую интересную заметку:

«В 1796 г. я был заключен в тюрьму Форс за куплеты против принудительного займа 13 вендемиэра и увидел там того, которого народная молва называет убийцей госпожи Ламбаль. Это был матрос из Порт-о-Блэда по имени Нико-

лай. Он был сослан на каторгу; остальные же все соучастники — наемные убийцы, получавшие за свою «работу» по 6, 7 и 12 фр. в сутки, — были тогда же оставлены на свободе, «дабы не замедлять успехов революции».

«Этот Николай был так ненавидим сотоварищами, что они расправлялись с ним на каторге собственным судом. Он, впрочем, всегда твердил и им и всем одно и то же: «Мы были только второстепенными деятелями и сидим теперь в кандалах, а наши главные атаманы покрыты почестями».

б) *Пети Мамэн*, 33 г., родом из Бордо, оправданный по суду 4 февраля, считался, однако, всегда одним из убийц принцессы. Он проводил всю жизнь в грязных притонах Пале-Рояля, пока не был сослан в 1801 г. на остров Анжуан (группы Коморских островов) и погиб там от изнурительной лихорадки. Мамэн был замешан затем в деле улицы Сэн-Никез в соучастии с Екатериной Эврард, вдовой Марата. См. Фасси: «Оправдательные документы» № 12.

в) *Гонор* (*Иван Петр*), родился в Париже, 38 л., по ремеслу каретник, затем подпоручик 16-й роты вооруженной милиции, секции «Единства». Он сам хвастался тем, что принимал участие в сентябрьских убийствах и не был чужд убийству Ламбаль (Histoire des girondins et des massacres de septembre, Кассаньяка). Гонор был освобожден из-под стражи, затем опять арестован и, наконец, исчез бесследно.

г) *Гризон*, был приговорен к смертной казни как атаман разбойничьей шайки Обской уголовной палатой в январе 1797 г. (см.: Moniteur V года № 125).

д) Негр *Делорм* приговорен к смерти и казнен 8 апреля за убийство депутата Феро и за то, что носил его голову на конце пики.

[59] Гнусность сентябрьских избиений усугубляется еще и тем, что они были несомненно совершены наемными убийцами. В последующие за побоищем дни эти палачи-поденщики открыто являлись в кассу Исполнительного коммунального комитета за получением обусловленной поденной платы. Как бы гордясь совершенными преступлениями, их организаторы не постеснялись даже сохранить против себя самих документальные доказательства в подстрекательстве и найме убийц. Еще много лет спустя в архивах счетного отделения Комитета можно было найти ордера на подобные уплаты, подписанные именами руководителей этого постыдного дела: Тальева, Меге и др.

Новым доказательством, что эти преступления были подготовлены и организованы, а вовсе не были только делом случая и обстоятельств, как это утверждали некоторые из сторонников террора, служит однообразная форма суда, производившегося во всех тюрьмах, и даже одинаковая фраза, употреблявшаяся везде в качестве смертного приговора. Это насмешливое «élargissement» (освобождение), которое служило сигналом для немедленной и беспощадной казни.

Резюмируя свое заключение по поводу ужасной сентябрьской катастрофы, историк Монгальяр говорит: «Приходится признать, что виновны в них все без исключения общественные деятели того времени: министры, депутаты, гласные и другие. Одни действовали по предварительному замыслу и расчету, другие прикрывали их и им потворствовали, а третьи просто молчали, закрывая глаза и уши из трусости и низости.

[60] Intermédiare, 1896, 2-e Semestre.

[61] *Дю-Камп М.* Paris, ses organes, etc, t. IV, стр. 244, édition, in 12.

[62] *Доктор Кабанес.* Les Indiscrétions de l’Histoire, 1-re Série.

[63] Так звали партию жирондистов по имени одного из ее главарей — Бриссо. — *Прим. пер.*

[64] Memoires secrets du XIX sièclce, Виконта Бомон-Васси.

[65] Не напоминает ли это описание официального донесения генерала Ризенкамофа о кровавых подвигах «патриотов своего отечества» в городе Томске в октябре 1905 года? — *Прим. пер.*

[66] *Ccèy*. Histoire de la Constitution civile du clergé, t. III.

[67] Le Courrier des LXXXIII departements.

[68] Каждая католическая месса сопровождается звоном в колокол, поэтому число отслуженных месс известно и тем, кто сам не присутствовал на них. — *Прим. пер.*

[69] 31 октября 1793 г. Карра писал в своих «Annales patriotiques» о дне 9 апреля: «Толпа народа ходила по церквям, причем женщины были вооружены розгами, они высекли несколько безумцев обоего пола, стремящихся к ниспровержению революции. Народ при этом забавлялся их корчами и гримасами под розгами. Вскоре, однако, подоспела национальная гвардия и прекратила экзекуцию. Муниципалитет, опасаясь, чтобы публичные, и притом слишком частые, сечения не привели к еще более прискорбным явлениям, положил им конец путем воззвания к населению, он приказал запереть для публики церкви всех женских монастырей».

[70] Людовик XVI был сильно опечален, узнав об этих гнусных фактах. Его министр Делессерт писал по этому поводу в Муниципальный совет следующее письмо:

«Господа, король с величайшим прискорбием осведомился о насилиях над женщинами, которым их пол и положение должны были бы служить достаточной защитой. Нравственность и закон поруган в равной мере излишествами такого рода, и если эта преступная распущенность не будет, наконец, пресечена, если по всякому поводу в столице, на глазах короля и Национального собрания могут повторяться подобные сцены — то не будет ни действительной свободы, ни безопасности — и конституция никогда не осуществится. Во имя конституции, во имя порядка, во имя чести правительства король предписывает принять немедленно самые решительные меры к преследованию и наказанию виновников этих беспорядков. Но, предписывая вам поступать по всей строгости законов по отношению к сим неистовствам, Его величество желал бы, чтобы вы силой убеждения внушали народу дух терпимости и умеренности, который только и приличествует свободным гражданам и который должен явиться одним из величайших плодов нашей конституции».

[71] Не напоминает ли это нашего дела о сатирическом листке «Пулемет». — *Прим. пер.*

[72] *Дю-Блэд*. La société avant et après la Révolution.

[73] *Симон* (C. Iordon). La Loi et la Réligion vengées des violences commises aux portes des églises catholiques de Lyon.

[74] Лилия — герб Бурбонского дома. — *Прим. пер.*

[75] *Villemot. E.* L'Evénement, 1874. В 1815 г. в Бордо базарные торговки высекли на рынке среди белого дня госпожу Л.

[76] Этот процесс вызвал в 1887 г. отставку президента Греви, т. к. в нем был замешан его зять, Вильсон. — *Прим. пер.*

[77] 9 термидора (27 июля 1794 г.) Робеспьер был свергнут Конвентом усилиями Талиена, Било-Варена и Лежандра. С ним закончилась эпоха террора. — *Прим. пер.*

[78] *Блан Луи*. Histoire de la Révolution, t. VIII.

[79] *Беррuа С. При*. La Justice révolutionnaire.

[80] «Маркиз Эрве де Фодоа, госпожа де Борепер, его сестра, и его 18-летняя дочь — умерли все на эшафоте. Последняя написала: «Моя собака ощенилась тремя маленькими республиканцами». Этого было достаточно, чтобы попасть под нож гильотины, их казнили всех вместе 25 мессидора II г. (13 июля 1794 г.), без жалости к старости, уважения к добродетели и сострадания к юности». — Modes et usages autemps de Marie Antoinette. Гр. Рей 39, т. I, стр. 385.

[81] Thiers. Histoire de la Révolution française, livre XXII.

[82] Ради увеличения его веса. — *Прим. пер.*

[83] Prudhomme. Dictionnaire des victimes.

[84] *Saint-Prix*, op. cit.

[85] *Fleury*. Mémoires, t. II.

[86] Таким способом, как известно, Лабуссьер спас жизнь актерам Французской комедии, заключенным под стражу; он уничтожил в их «деле» обвинительный акт, писанный рукой Фукье. (См. Fleury, Mémoires.)

[87] Joseph-Marie de l'Epinard Mémoires.

[88] Berriat Saint-Prix, op. cit.

[89] См. по этому поводу: *Фено Э*. La province en décembre. 1851.

[90] Не подлежит никакому сомнению, что Фукье изготовлял приговоры заранее. В иных случаях судьи подписывали чистые бланки, в которые уже впоследствии секретари вписывали смертные приговоры.

[91] Тьер, op. cit.

[92] *Proussinalle*. Histoire secrète du Tribunal révolutionnaire.

[93] «Остроумие палачей». Под таким заглавием можно было бы написать целое небезынтересное исследование. Приносим ныне свою лепту тому, кто задумает это исполнить. 22 вентоза (1793 г.) Ле Бон, свирепый проконсул Па-де-Кале, на следующий день после казни госпожи де Моден пишет одному из своих друзей: «Третьего дня сестра бывшего графа Бетюнского «чихнула в мешок!» Он же хвастался, что без милости казнит всех старух: «На что они на свете?»

[94] Некоторые приписывают эту остроту Барреру: «Когда настоятельница Монмартрского аббатства предстала перед Революционным трибуналом, с ней была ее келейница по фамилии Сюрбен. «Граждане, — заявила она судьям, — как вы хотите, чтобы наша настоятельница могла вам отвечать? Она просидела семь месяцев в каземате в С.-Лазарской тюрьме и совершенно оглохла...».

«Запишите, гражданин секретарь, — заявил народный представитель Баррер, бывший старшиной присяжных заседателей и прозванный Анакреоном гильотины, — что бывшая монмартрская аббатиса конспирировала глухо (тайно)». Souvenirs ed la marquise de Crequy t. VI, p. 224–225.

[95] Непереводимая игра слов: sourd по-французски значит: «глухой» и «тайный». — *Прим. пер.*

[96] Бумаги, арестованные у Робеспьера.

[97] *Флери*. Mémoires, т. II.

[98] *Меллине*. La Commune et la Milice de Nantes.

[99] Герб Бурбонского дома. — *Прим. пер.*

[100] *Беррuа С. При*. Op. cit.

[101] Санкюлоты — презрительное название, данное аристократами в 1789 г. первым революционерам, осмелившимся взамен нижнего короткого белья (порт-

ков) надеть панталоны. Название это стало вскоре почетным и синонимом «патриота». Небезынтересен факт, что в Японии право ношения панталон простым народом было тоже достигнуто лишь во время последних либеральных реформ, уже при нынешнем микадо. — *Прим. пер.*

[102] Авторами этой меры, от коей в волнах Амура погибло несколько тысяч человек мирных китайцев и объясненной потом, довольно наивно, недоразумением, были: военный губернатор Амурской области — Генерального штаба генерал-лейтенант *Грибский*, командир Амурского казачьего полка полковник *Волковинский* и благовещенский полицеймейстер *Батаревич*. Последние двое были уволены от службы без прошений. Первый, успешно двигаясь далее, командует ныне армейским корпусом на западной границе и во время последних событий в Царстве польском успешно исполнял обязанности генерал-губернатора одной из губерний, в коей, к счастью, подходящей реки не оказалось. — *Прим. пер.*

[103] Он гуманно принял вандейцев, которые сдались ему в плен, приказал их кормить и говорил с ними ласково. Об этом свидетельствует даже один из его врагов (Мишле, op. cit.).

[104] Шарантон, знаменитый дом сумасшедших близ Парижа, в городке Шарантон-ле-Пон. — *Прим. пер.*

[105] В новейшей истории таким же талантом отличались император Александр II и японский император Муцихито. — *Прим. пер.*

[106] Городское самоуправление, не признавшее общегосударственного правительства. — *Прим. пер.*

[107] В какие-нибудь две недели было таким образом отправлено под «удары молнии» свыше 500 человек.

[108] В Оранже видели, однако, простых крестьян, подплясывавших на эшафоте; там же 16-летние дети спрашивали со смехом палача: «Ты не очень больно мне сделаешь?» Гафр и Дежарден. Inquisition et Inquisitions, ст. 363.

[109] Трудно сказать, действительно ли прокурор Революционного трибунала входил с подобным предложением. Но, как бы то ни было, самое существование подобной легенды доказывает, что оно было возможно и что осужденные, несомненно, умирали, по мнению их палачей, «слишком мужественно».

[110] *Мишле*, op. cit., кн. XIII, гл. IX.

[111] *Ватель*, op. cit.

[112] *Добан*. Paris en 1794 et 1795: histoire de la rue, du club et de la famine.

[113] Сикотьер (Gazette anecdotique 1876 г., т. II, стр. 292) утверждает, ничем, впрочем, этого не подтверждая, что Революционный трибунал постановил только отправить его тело на место казни, но предписания обезглавить труп не было и в действительности оно не производилось.

[114] В тюрьме она сперва приняла твердое решение покончить с собой: «Прости меня, — пишет она в одном письме своему почтенному мужу, — что я располагаю жизнью, которую посвятила тебе… Не огорчайся моим решением, которое положит конец моим мучительным испытаниям. Неужели же ждать, пока палачи сами назначат минуту моей казни и тем увеличат свое торжество, подвергнув меня надругательству толпы?»

[115] Крайняя левая партия Конвента, в котором жирондисты или, как их иногда звали по их главе, бриссотинцы, составляли правую. Они протестовали против сентябрьских убийств, против чрезмерного влияния на правительство парижских

секций, они же отказались все голосовать казнь короля и предали Марата суду. Возмущение парижских секций вынудило Конвент 31 мая 1793 г. объявить их всех «вне закона». Большинство из них погибло на эшафоте 31 октября того же года. — *Прим. пер.*

Риуфф. Memoires d'un détenu pour servir a l'histoire de la tirannie de Robespierre.

116 Бюзо и Петьон были найдены на хлебном поле. Их тела наполовину сгнили и были исклеваны хищными птицами, что и помешало установить точную причину их смерти. Общее мнение, что они покончили жизнь самоубийством. (*Дабади*. Знаменитые самоубийцы, стр. 166).

117 *Лувэ*. Записки.

118 Это самоубийство впоследствии, впрочем, оспаривалось. Один из авторов вернется к этому вопросу в своем следующем еще не выпущенном труде: 2-я серия доктора Кабанеса. Les morts mystérieuses de l'Histoire.

119 Его сын, Камилль Бабёф, бросился в 1814 г. с Вандомской колонны в день вступления союзников в Париж, не будучи в состоянии пережить разгрома и унижения родины.

120 Шалье, глава «монтаньяров», т. е. партии «Горы» в Лионе, был казнен в 1793 г., что и вызвало восстание Лиона против Конвента. — *Прим. пер.*

121 *Дабади*. Знаменитые самоубийцы.

122 *Журниак С. Меар*. Mon agonie de trente — huit heures.

123 Тюрьма Аббатства: Из двухсот тридцати четырех заключенных трое убежали, а трое кончили жизнь самоубийством. Тюрьма Форс: 186 человек арестованных мужчин, в том числе три священника и 81 женщина, 159 мужчин и одна женщина были перебиты, 80 женщин и 17 мужчин освобождены, 6 человек бежало, и 4 покончили самоубийством. Тюрьма Консьержри: в ней находилось 395 человек, в том числе 76 женщин. Из них только одна, известная под именем палерояльской цветочницы, предана смерти, всех остальных выпустили на свободу. Шателэ: Из 278 заключенных один покончил с собой.

124 В числе заключенных в Кармелитском монастыре, — говорит Александр Сорель в своем интересном труде «Кармелитский монастырь во время террора», — был хирург по имени Вироль, у которого голова, вследствие продолжительного заключения, была уже не совсем в порядке. Однажды он начал кричать ни с того ни с сего: «Робеспьер злодей!» Этого было достаточно, чтобы затеять целое новое дело, и 30 месидора (18 июля 1794 г.) какой-то усердный полицейский чиновник, явившись в Кармелитский монастырь, распорядился отправить отсюда в Консьержри 40 человек арестантов под предлогом, что они составили в Кармелитской тюрьме заговор. Сам Вироль был так перепуган этим распоряжением, что выбросился из окна и разбился насмерть.

125 Arch. nat. W 342. № 648.

126 В заседании клуба якобинцев 25 брюмера II г. Дюфурни обвинял Шабо в женитьбе на австриячке «в то время, как у нас во Франции, говорил он, столько вдов и сирот защитников родины». Он прибавил: «Женщина — это одежда, если эта одежда была ему необходима, то он должен был помнить, что нацией воспрещен ввоз иностранных материй» (Прусиналь, Histoire secrète du tribunal révolutionnaire т. II, стр. 267).

127 Пари де Лепинард (Mémoires sur les prisons, т. I) рассказывает, что товарищем по заключению у него был некий чиновник военного ведомства, который

был задержан по следующей причине: «Депутат Шабо встретил его под руку с одной из своих любовниц, объявил его за это «подозрительным» и заставил заключить в тюрьму. Казнь развратного монаха положила конец его аресту; его потребовали молодые люди из его секции и его освободили им на поруки. Шабо, благодаря тому что был членом Комитета общественной безопасности, нередко пользовался несчастными просительницами, которые приходили в нему просить о помощи для какого-нибудь заключенного. Его постоянная сожительница некая Бонэ, ребенка которой он, однако, никогда не пожелал усыновить, заразила его позорной болезнью, что, впрочем, не помешало ему вступить в скандальный брак с иностранной авантюристкой. (*Робине*. Le procés des Dantonistes. 1879 г., стр. 395–396).

[128] Марковский (а не Маренский, как ошибочно печатает г. Ленотр в книге Le Baron de Batz, стр. 222), был врачом всех тюрем Парижа. Госпожа Дюра начертила в своих записках лестный для него портрет: «Он был действительно очень услужлив и приносил нам известия о заключенных в других тюрьмах. Ко мне он был особенно расположен, потому что я ему составляла отчеты о положении больных, т. к. знала немного медицину, и этим освобождала его от необходимости вести самому скорбные листы». Journal des prisons de mon pére, de ma mére et des miennes, герцогини Дюра. (Изд. Плон 1889 г.).

[129] См. Le cabinet secret de l'Histoire, доктора Кабанеса.

[130] Один из нас опубликовал текст до сих пор не изданного завещания Шабо в lntermédiaire des Chercheurs. 1903.

[131] Шабо в действительности был болен от 6 до 30-го вентоза; у его изголовья нашелся счет из аптеки, которая снабжала его лекарствами.

[132] Arch. nat. W. 342.

[133] Врачи, приглашенные в Люксембургскую тюрьму для осмотра Шабо, выпустили следующий бюллетень, который мы списываем с оригинала с сохранением его особенностей: Бюллетень Шабо. 30 вентоза.

«Мы его нашли страдающим менее. Желудок по-прежнему вздут, но несколько менее болезнен, моча и испражнения отделяются с трудом и болью. Ощупывание болезненно и от времени до времени повторяется рвота. Казенные фельдшера дали ему сегодня слабительного, чего мы не одобряем, так как находим его преждевременным и могущим увеличить раздражение и боли. Сегодня Шабо может быть перевезен в больницу. (Подписали) Баяр и Нури».

[134] Приложенные к этой главе подлинные акты следствия по делу о покушении Шабо на самоотравление в переводе нами опущены как представляющие исключительно специальный судебно-медицинский исторический интерес. — *Прим. пер.*

[135] *Бруардель*. Le Mariage.

[136] Виктор Гюго всегда гордился тем, что вырвал у смерти трех женщин, приговоренных к смерти военным судом. Предоставим слово ему самому. «Три женщины были приговорены военно-судной комиссией к смертной казни. Я лечу в Версаль, вижу Тьера и говорю ему: «Как? Неужели мы будем теперь убивать женщин? Когда я жил за границей, я издалека делал что мог, я писал… Но теперь я здесь, и протестую против того, чтобы расстреливали женщин. Убивать женщин женскими руками, это еще я понял бы, но заставить солдат их убивать — это прямо зверство!». Я пустился в некоторые физиологические детали, которые, по-видимому, произвели на него впечатление, и закончил словами: «Расстрели-

вать женщину — значит расстреливать свою мать!» Тьер был растроган и все три женщины были спасены».

[137] В 1681 г. какой-то цыган был приговорен за воровство к повешению, и приговор был немедленно приведен в исполнение, над беременной же его женой, которую было определено подвергнуть телесному наказанию, заклеймению и бритью головы, приговор был исполнен лишь после родов (Etude sur le baillage de Vermandois).

За изнасилование беременной женщины наказание было строже, чем за всякое другое преступление. Оно называлось «чревопреступлением» (*Дюман*. Justice criminelle etc.).

По обычаю, существовавшему в Эдинале, нельзя было арестовать движимость у роженицы за долги в течение месяца после родов (*Римар*. Essaie chronologique sur les moeurs). Вот факт, по нашему мнению, малоизвестный: при первом известии о сентябрьских убийствах Лебрен, министр иностранных дел, послал 2-го числа этого месяца к Мануэлю, прокурору Парижской коммуны, записку жены шведского посланника с просьбой об оказании ей содействия при ее отъезде. Это была не кто иная, как известная госпожа Сталь (дочь Неккера). Ее арестовали в ночь отъезда по подозрению в том, что она увозила с собой де Нарбона. Приведенная в совет Коммуны, она получила здесь паспорт беспрепятственно, так как было усмотрено, что она беременна (*Шаравей*. Le catalogue d'autographes sur la Révolution. Paris, 1862, p. 46).

[138] Довольно распространенный в средние века на западе предрассудок, будто можно, налив человеку в ухо расплавленного свинца, убить его без всяких наружных следов преступления. Дессар в своей Histoire des tribunaux указывает, что одна женщина в Лондоне разделалась таким образом последовательно с шестью мужьями. На седьмом покушение не удалось: муж проснулся со страшным воплем. Отрыли из могил тела первых шести, и у всех в черепе нашли свинцовые слитки. Преступница была приговорена к смерти (Intermédiaire. 1892, стр. 353).

[139] *Комбье*. La justice criminelle a Laon pendant la Révolution.

[140] См. «Les Indiscretions de l'histoire» доктора Кабанеса.

[141] Странно, что над подобными протоколами фигурирует нередко подпись аптекаря Кэнкэ. В письме эконома больницы в Комиссию гражданского управления, знакомящем последнюю с состоянием больницы, мы находим следующие разоблачения: «Необходимо еще, чтобы главный аптекарь никоим образом не занимался больными и болезнями, в коих он понимает много меньше, чем в фармацее; он часто выступает в роли врача, но подписывает доклады, скорее продиктованные чувством, чем наукой, и дошел даже до того, что осматривал женщин, объявивших себя беременными на первом или втором месяце, причем последние были все-таки казнены. Подобное поведение человека, не имеющего в этой области никаких познаний, может быть только плодом распутства!! Тюэтси. «l'Assistance publique pendant la Révolution, т. IV».

[142] См. Archives nat., W. 431, dossier 963.

[143] Arch. nat., IV. 30, 29 Gérminal, an. II. Ле Гран. L'Hospice national du Tribunal révolutionnaire (прим. к стр. 38).

[144] Paris de l'Epinard — l'Humanité méconnue.

[145] Следует припомнить, что скромность самой Марии-Антуанетты не была пощажена, и в ее спальне дежурил жандарм; но вот менее известный факт: «Бесцеремонность дошла до того, что в комнату одной молодой женщины, под пред-

логом обыска, вошли в момент самых родов, когда хирург Дэзормо принимал у ней новорожденного. Сэру, прокурор парламента, поплатился жизнью за дурной прием, оказанный им людям, производившим этот обыск. Он только что заснул, как был разбужен этими посетителями, которым служанка вынуждена была открыть дверь, и обошелся с ними довольно сурово. Те сочли себя оскорбленными, арестовали его, отвели в тюрьму, где он был убит в числе прочих 5 сент. 1793 г.». Hist. secréte du Tribunal révolutionnaire, t. I.

[146] Вот оно: «Мои дети, вот мои волосы; я хотела сама отрезать это печальное наследие, чтобы передать его вам; я не хотела, чтобы это было сделано рукой палача, и я могла это сделать только таким путем. Я провела лишний день в агонии, но я не жалуюсь на это; я прошу, чтобы волосы были помещены под стекло, покрытое черным крепом, пусть они будут всегда под замком, но пусть их выносят три-четыре раза в год в ваши комнаты, чтобы вы имели перед глазами останки вашей несчастной матери, которая умерла, любя вас».

Гувернантке, которой она посылала на память кольцо, она писала: «Пусть Луиза узнает причину, почему я отсрочила свою смерть, и пусть она не подозревает меня в слабости».

[147] Фукье подшил письма принцессы Монакской в ее дело, где их и нашли. Что касается волос, то они дошли до своего назначения, но каким образом — этого потомки доныне не знают. Они, однако, припоминают, что видели их.

Граф Фортюне де Шабрильян, ее правнук, сохранил ее волосы как благоговейные останки, которые его бабушка, верная обету, данному своей матери, выказывала своим детям. Это была роскошная коса, заплетенная самой жертвой; ее хранили неприкосновенно в бумаге, в которую она их завернула, отправляя из тюрьмы для передачи дочерям. Эти реликвии сохраняются и до сих пор в семье Шабрильянов.

[148] Газета «L'Espion de la Révolution française» опубликовала в 1797 г. следующее: «Одна беременная женщина явилась к Давиду, живописцу и члену Конвента, прося освободить ее мужа; почти умирающая, она падает к ногам этого тигра: «Верните мне моего мужа, он не виновен, он один кормит семью». Художник, не отвечая и делая вид, что пишет, набрасывает карандашом беременную женщину, голова которой лежит у его ног: «Вот мой ответ», — говорит он, закончив рисунок, и, взяв несчастную за руку, выталкивает ее за дверь.

3 сентября Давид спокойно срисовывал умирающих, которых бросали в одну кучу с покойниками. Проходит его коллега Ребуль, замечает его и спрашивает: «Что вы здесь делаете, Давид?» — «Я изучаю последние моменты этих мерзавцев». — «Вы внушаете мне омерзение, — отвечает ему Ребуль, — с этой минуты у нас с вами нет ничего общего; завтра я отошлю вам обратно все ваши картины».

[149] Вдова Гебера, осужденная на смерть 24 жерминаля, также была казнена, невзирая на заявление о беременности, которое в дальнейшем не подтвердилось.

[150] *Пальэс*. Du Douveau sur Joubert, стр. 29 (п.); *Валлон*. Histoire du Tribunal révolutionnaire, т. III.

[151] *Доктор Шарие*. La médicine légale au Tribunal révolutionnaire см. в Archives d'antropologuie criminelle, год 15-й, № 86.

[152] Олимпия де Гуж — псевдоним госпожи Обри: революционная писательница. (1748–1793). — *Прим. пер.*

[153] *Люкур Леопольд*. Trois femmes de la Révolution.

[154] Нижеследующие подробности мы заимствуем из интересной брошюры С. Стрыенского: «Deux victimes de la terreur. Эта брошюра показалась нам заслуживающей полного внимания и доверия, так как автор ее цитирует все источники, которыми он пользовался.

[155] 8 жерминаля II г. Мюскар писал членам Нантской военно-судной комиссии: «Я только что приказал расстрелять десять негодяек. Одиннадцатая, столько же виновная, как и другие, так как она жена и соучастница разбойника, беременна на пятом месяце. Военный суд, собравшийся судить ее, боясь оскорбить природу и следуя «велениям рока», счел нужным направить ее к вам. Ваша мудрость сумеет согласовать это исключительное положение с непреклонной строгостью закона». Не стоит и говорить, что она была, конечно, немедленно казнена.

Тотчас также была казнена в Лионе и другая беременная женщина, бывшая в рядах контрреволюции в форме пехотного солдата.

[156] Императорская летняя резиденция на окраинах Вены. — *Прим. пер.*

[157] «Человек человеку — волк». Плавт, Asinara II. 4, 88. — *Прим. пер.*

[158] Погромы, разразившиеся в октябре 1905 г. в России, подтверждают справедливость этого положения авторов. — *Прим. пер.*

[159] Конституция III г. учредила Законодательный корпус, состоявший из Совета пятисот и Совета старейшин. Упразднены 18 брюмера 1799 г. — *Прим. пер.*

[160] *Бриё*. La Violation des tombes royales в La Vie Contemporaine.

[161] «Местные жители в С.-Дени расплавили свинцовые гробы на отливку пуль, а из каменных обломков гробниц соорудили пирамиду в честь Марата. Каждый патриот внес свою долю труда при выполнении этого «проекта». Показания очевидца, помещенные в Revues des questions historiques op. cit, стр. 546.

[162] Les Inscriptions de la France du V a XVII siécle t. II, p. 19 и след.

[163] Memoires de l'Academie de medecine, t. XX.

[164] Он был издан Улиссом-Робертом Мишо в Париже у книгопродавца Henry Menu в 1876 г.

[165] Первый доклад епископа Грегуара (ориг. издание), стр. 5.

[166] К счастью, не все драгоценности замка подверглись такой участи. Например, Галльский Геркулес, произведение знаменитого Пюже, было направлено в Люксембургский сад; туда же попала бронзовая статуя Дианы, подаренная Сервиену шведской королевой Христиной, отказавшейся в молодости от власти и называвшей двор «раем злых». Группа «Борцов» из белого мрамора, статуи Силена, Вакха и Антиноя тоже сохранились; библиотека же, заключавшая произведения первой эпохи изобретения книгопечатания, драгоценная по своей редкости, была направлена в один из девяти существовавших тогда в Париже складов казенного имущества. (*Делор*. Mes voyages aux environs de Paris, t. I).

[167] *Делор*. Mes voyages aux environs de Paris. T. I, стр. 75–76.

[168] Во все департаменты были разосланы циркулярные приказы об аресте бумаг и документов. Вот выдержка из одного из них:

«Гражданам администраторам Лангрского округа 21 января 1795 г.

Декретом от 5 сего месяца Национальный конвент повелевает, чтобы все на пергаменте написанные книги и документы, находящиеся в Контрольных палатах и общественных учреждениях, равно как и в частных библиотеках и иных местах и пригодные на выделку артиллерийских зарядных капсюлей, были на-

правляемы к морскому министру для портовых надобностей республики и т. д.». Что не пошло на патроны, было сожжено! На всех площадях при радостных криках черни совершались «аутодафе» подобного рода.

[169] Еще в 1853 г. находили в материале для артиллерийских картузов стариннейшие пергаменты: из 4000 картузов, разделанных и исследованных в Парижском артиллерийском складе 3000 были признаны сделанными из важных исторических документов, как например, из рукописных счетов французских королей Карла VI, Карла VII, Людовика XI, Карла VIII, Людовика XII, Франциска I и пр., из папских булл, королевских грамот, бюджетных росписей городов XIV и XV вв. и т. д. и т. д. (см. La Revue des questions historiques; 1 октября 1872 г., стр. 331).

[170] *Флери Эд.* Vandales et iconoclastes. Laon. 1850.

[171] Член Конвента Амейльон писал 21 января 1793 г. главному прокурору Парижского департамента: «Считаю долгом довести до вашего сведения, что комиссары, назначенные для разбора бумаг собственной канцелярии бывшего короля, хранящихся в Национальной библиотеке, имеют передать представителю департамента около 260 томов и папок бумаг, предназначенных к уничтожению. Департаментское правление обязуется назначить день для их сожжения и известить о сем публику посредством особых объявлений. (Подписал) Амейльон».

14 февраля он пишет тому же лицу:

«Гражданин! При сем препровождаю окончательный список различных предметов из склада бывшей канцелярии бывшего короля, подлежащих сожжению.

С чувством республиканского братства и т. д. (Подписано) Амейльон». Следует список этих предметов: 128 томов в переплетах и 34 папки документов и дипломов бывшего ордена св. Духа и иных бывших королевских орденов, 2 тома патентов на названные ордена; 34 тома бумаг и документов, послуживших для составления общей французской геральдики; 167 томов из коллекции, именуемой «Пахарь»; 2 тома грамот на дворянство и помилование; 15 томов документов, относящихся к ордену св. Лазаря и бумаг для приема в Высшую военную школу; 1 ящик дворянских документов. По подлинным документам, приводимым Фонтэном, Амейльон содействовал и председательствовал при сожжении 652 ящиков исторических документов. Небезынтересно при этом, что он сам искренне считал себя ученым историком (де Лескюр — Manuel des autographes).

[172] *Грегуар Генрих*. Rapports, переизд. Ch. Benard, с прим. Caen, Paris, 1867. т. 8, стр. 49.

[173] Чтобы составить себе точное понятие о непоправимых потерях, понесенных за это время, мы отсылаем читателя к очень серьезной и беспристрастной статье такого компетентного лица, как г. Эдуард Бутарик в «Revue des question historiques» (10 окт. 1872).

[174] Документ этот был найден в Национальном архиве, папка F^{17}, 1036, связка 27-я.

[175] Известно, что фамильные гербы были уничтожены Национальным собранием 20 июня 1790 г. Дюфор де Шеверни приводит в своих мемуарах (т. II, стр. 255) любопытные подробности относительно усердия, с которым в провинции конфисковывались обои, ковры, книги, гравюры, эстампы и т. д., украшенные коро-

нами или гербами. Гербы были восстановлены в 1804 г. Наполеоном I, который, создав новое дворянство, присвоил ему и новую геральдику. (*Говар.* Dictionnaire du mobilier, I, 169).

[176] *Грюэль.* "Manuel historique et bibliographique de l'amateur de reieures".

[177] Мы опускаем приводимое автором описание этих штампов, а равно различных «ex libris» — виньеток, наклеивавшихся на переплеты для указания собственников книг и бывших в большой моде в XVIII столетии как неинтересное для русского читателя. — *Прим. пер.*

[178] Catalogue de documents autographes de l'Histoire de la Révolution française (Шаравей, 1862. № 171, p. 121).

[179] *Де Лескюре.* Les Autographes en France et a l'êtranger.

[180] Memoires (1837, in-8), t. I, p. 345.

[181] В Экуане было два барельефа, изображавших крылатых женщин, поддерживающих герб Монморанси; гербовый щит можно было выскоблить, не повреждая фигур. Но как раз, наоборот, головы женщин были разбиты, а герб сохранился! «Без сомнения, — заключал вполне резонно докладчик, — необходимо, чтобы все говорило глазам народа республиканским языком; но было бы клеветой на свободу предполагать, что ее торжество или упадок могут зависеть от такого ничтожного обстоятельства, как сохранение или разрушение какой-нибудь статуи, хотя бы даже и с отпечатком времен деспотизма». Хорошо еще, когда для вандализма можно привести хоть подобное оправдание. Но что же сказать о тех муниципальных представителях, которые в Вердене сожгли гудоновскую «Деву» и «Мертвого Христа» в натуральную величину? Каким именем назвать того варвара, который в Версале забавляется стрельбой в цель из пистолета в чудную голову Юпитера, приписываемую знаменитому скульптору Мирону? Такой поступок — дело рук сумасшедшего, и относится скорее к ведению не судей, а психиатров.

[182] О подобных же фактах см. Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 25 mars 1866.

[183] В Ботаническом саду был низвергнут бюст Линнея, которого почему-то приняли за Карла IX! (Troisième rapport de Grégoire sur le vandalisme, p. 14).

[184] *Gregoire.* Premier Rapport, p. 9.

[185] Президент уголовного суда потребовал удаления из залы заседаний часов и барометра, усмотрев на них признаки феодального строя. Комитет финансов, запрошенный Комитетом народного просвещения о том, «могут ли часы, стрелка которых имеет форму лилии, войти в рубрику вещей, причисленных к произведениям искусства», высказался утвердительно, но в то же время присовокупил, что власти должны братски приглашать граждан снимать с этих предметов украшения воспрещенного фасона, а в противном случае при неисполнении этого предложения подвергать подобные предметы конфискации. (Catalogue d'autographes sur la Révolution 1862, стр. 122).

[186] 27 октября 1793 г. Муниципальный совет Омальской коммуны по требованию общинного прокурора решил предать в тот же день сожжению на публичной площади все картины, эстампы, иероглифы феодализма (?), орденские отличия и вообще все акты, носящие название королевских. Прокурор и главные городские власти лично присутствовали при этой операции. «Histoire de la ville d'Aumale» Эрн. Семишон, Luxemb. t. II, p. 371.

[187] L'ancienne Alsace àble III. Жерара, p. 265.

[188] Idem, ibid.

[189] 23 сентября 1793 г. прокурор Омальской общины доносил: 1-е, что колокола, эти памятники роскоши городов и тщеславия их жителей, могут быть с большей пользой употреблены на страх и смерть врагам революции; 2-е, что только ложное благочестие может быть задето таким употреблением простого металла, который, будучи грубой материей, не может иметь никакого отношения к религии, по своему существу духовной. Поэтому он полагал, что все колокола, за исключением одного, могли быть сняты». Муниципальный совет согласился с его предложением: три колокола были перелиты; они весили 6600 фунтов; четвертый, наилучший, был сохранен (Histoire de la ville d'Aumale et de ses institutions, Эрнеста Семишопа, 1862 г., т II, стр. 153).

[190] *Гавар.* Dictionaire du mobilier, t. II, p. 767.

[191] CF. «Catalogue d'autographes sur la Révolution». (1862) nº 168, стр. 119.

[192] Церковные облачения пошли на военные госпитали, а что не получило такого назначения, шло в вольную продажу. Catalogue d'autographes sur la Révolution. nº 169 ст. 120.

[193] *Флери Эд.* Vandales et iconoclastes.

[194] Не то же ли происходит и ныне в России во время так называемых аграрных беспорядков? — *Прим. пер.*

[195] Явление, свойственное во все времена народным движениям, в которых число лиц, действующих сознательно, всегда несравненно менее бессознательно следующей их примеру массы. Не наблюдается ли то же и при современных рабочих забастовках во всей Европе? — *Прим. пер.*

[196] Власти пытались во многих случаях принимать меры к охранению предметов искусства, но чаще всего опаздывали. Иллюстрацией к сему может служить письмо Комитета общественного спасения в Парижское департаментское правление: «Некоторые лица позволяют себе похищать из «бывших» церквей г. Парижа мраморные изделия и другие достопримечательные вещи; Комитет секции Сите арестовал сегодня одного ломового извозчика, который успел уже увезти их целую подводу. Мы приглашаем вас, граждане, принять необходимые меры к предотвращению подобного грабежа, предавая виновных суду». (Catalogue d'une importante collection de Documents autographes et historiques sur la Révolution française. Paris. Шаравей, 1862, nº 167 ст. 178.)

[197] *Блондель Спир.* L'art pendant la Révolution, стр. 285.

[198] *Бодрильяр.* Le luxe public et la Révolution.

[199] *Бодрильяр.* Le luxe public et la Révolution.

[200] Ренуар, Шарден и Шарлемон сын. Observations de quelques patriotes sur la, nécessité de conserver les monuments de la littérature et des arts.

[201] К прославлению этой, остающейся, невзирая ни на что, великой, эпохи относятся знаменитые двадцать флореальских постановлений Конвента, подписанные именами Барера, Карно, Било-Варена, Коло-д'Эрбуа, Робера Линде, Приёра, Робеспьера и Кутона. Они касались украшения национальных тюльерийских садов и дворцов и сада на площади Революции; сооружения памятников: защитникам республики 10 августа — на площади Побед; народу — на Новом мосту; природе — на площади Бастилии; свободе — на площади Революции; постройки колоннады в Пантеоне; статуи Ж.-Ж. Руссо — на Елисейских Полях; крытых арен для народных концертов — на площади, ныне Новой оперы, близ больших бульваров; перенесения бронзовых коней из Марли ко въезду на Ели-

сейские Поля; постройки храма Равенства в саду Божона; статуи Философии — в первом зале заседаний Конвента; расширения Естественно-исторического музея; восстановления Художественного музея. На эти проекты были назначены конкурсы, чтобы вызвать к жизни и деятельности еще неизвестных молодых художников. Кроме того, теми же декретами были установлены общие меры относительно устройства Национального музыкального института, относительно изучения иностранных языков, относительно сельского домостроительства и, наконец, относительно национального костюма.

Особенно много внимания было уделено живописцам; специальное постановление от 6 флореаля о живописи и скульптуре приглашало всех художников изобразить по их собственному выбору на полотне знаменитейшие моменты Французской революции, а скульпторам изваять из мрамора или бронзы монумент в честь республики. (Ренувье: "Histoire du l'art pendant la Révolution", стр. 20 и след.).

[202] Кто-то справедливо сказал, что в такие времена уличный слух влияет на мнение клуба, клубное постановление действует на решение министерства, а последнее нередко вносит это клубное требование, народившееся из крика уличного буяна, на усмотрение самой нации. Нельзя не отметить, что в числе даже самых свирепых членов Конвента было немало людей, стремившихся к охранению памятников, разрушаемых неразумной толпой. В этом отношении интересно письмо двух влиятельных членов Комитета общественного спасения, Коло д'Эрбуа и Било-Варена от 2 ноября 1793 г. к гражданину Пюгено, комиссару Пантеонской секции.

«Вся ненужная медь, которая найдется в парижских церквах и колокольнях, годная для переливки на орудия, должна быть направлена в арсенал. Но следует, однако, заметить, что в числе медных изделий, находящихся в парижских храмах, имеются настоящие художественные произведения; необходимо посему перед отправкой подвергнуть их тщательному осмотру, дабы определить, не должны ли они быть сохранены для потомства, и в случае малейших сомнений обращаться за указаниями в Комитет народного просвещения. (L'inventaire des autographes et des documents historiques composant la collection de M-r Benjamin Fillon № 166 (1877, стр. 42). Сержан, другой член Конвента, вырвал из рук безумствовавшей толпы марлийских коней, знаменитые башенные часы Лепота и огромное количество версальских статуй, которые все перевез в Париж для сохранения. Он учредил в Несльском отеле целый склад предметов, спасенных им от вандализма черни. Он же заменил в Тюльери цветниками и растениями устроенное здесь его сотоварищами по Парижской коммуне картофельное поле. Имя Сержана связано также с учреждением Национального музея античных древностей, с созданием Музыкальной консерватории, закона о литературной собственности и пр.

[203] В заседании народного художественного общества Викор горячо нападал на непристойные гравюры. Сержан ему возражал, что гравюры эти не современные, а старинные, и добавил: «Как восстановить мифологию и составить себе точное понятие о религии древних, если воспретить изображение Данаи, Леды или любовных сцен богов древности?» (Journal de la Société populaire des Arts, стр. 252 и 381).

[204] *Блондель Спир.* L'art pendant la Révolution.

[205] *Вик д' Азир.* «Instruction sur la maniére d'inventairier et de conserver dans toute l'étendue de la République tous les objets, qui peuvent servir aux arts, aux sci-

ences et в l'enseignement», представленная Временной художественной Комиссией и принятая к руководству Комитетом народного просвещения при Национальном конвенте.

[206] Самое свирепое из всех административных учреждений, Парижская коммуна не была тоже безучастна к наукам и искусствам. Она назначила специальную стражу к музею, она учредила конкурс для реставрации картин и между прочим, как известно, закрыла театр Монтансие вследствие его близкого соседства к национальной библиотеке (*Ренувье*. Histoire de l'art pendant la Révolution, стр. 40).

Любопытно, что в настоящее время эта зала еще существует, и ныне в ней спектакли и концерты разрешаются. — *Прим. пер.*

[207] Некоторые считают, что жалобы на революционный вандализм якобы преувеличены. Такое мнение совершенно неосновательно и опровергается самыми компетентными писателями.

[208] Мало кому известно, что первый почин осквернения гробниц, совершенный во время революции, принадлежал будущему французскому королю Людовику-Филиппу. Автор воспоминаний маркизы де Креки (т. IV, с. 38) сообщает по этому поводу следующее: в 1791 г. в бытность свою в Вандоме, где он командовал полком, Людовик-Филипп Орлеанский, в то время еще герцог Шартрский, приказал вскрыть и обыскать склепы коллегиальной св. Георгиевской церкви, где были погребены старинные графы и герцоги Вандомские. Невзирая на мольбы и сопротивления причта, он приказал разбить гробницы и открыть гробы герцога Антона Бурбона-Вандомского и королевы Жанны д'Альбер, любезно заявляя своим офицерам, что он хочет познакомить их с родителями Генриха IV. Когда он вышел из оскверненной ругательствами и грязными шутками офицерства и солдат церкви, каноники вместе с городскими властями поспешили закрыть останки Бурбонов и местное духовенство всей Блуасской епархии сейчас же отслужило по ним искупительные церковные службы. Но пример был все же подан, и первое осквернение могил, столь часто повторявшееся затем в течение революции, было совершено сыном герцога Орлеанского, Филиппа Эгалите.

[209] *Лаборд де*. Notice des emaux du Musée du Louvre, стр. 533.

[210] Бордеуав оплакивает «язычески раскопанные могилы, святотатственно унесенные гробы, бесстыдно разбросанные кости». Он описывает, что реформаты распродали по кускам разбитую гробницу Гастона Фебуса и играли его черепом в кегли (Де Лагрез. La société et les moéurs au Béarn, стр. 80). См. Intermédiaire 25 сентября 1865, стр. 747, где сообщается, что поломка могильных склепов и памятников относится еще к религиозным войнам XVI века. О том же обстоятельстве брошюра Бенетрикса «Le vandalisme révolutionaire dans le Gers, Bordeaux 1891, в ней особенно интересно введение).

[211] Смотри в особом приложении в конце этой книги статью «Монархический вандализм». — *Прим. пер.*

[212] Moniteur, 13 декабря 1792 г.

[213] Переименование Сент-Антуанского и части С.-Дениского предместий в предместье Славы состоялось вскоре после взятия Бастилии и предшествовало наступившим затем систематическим переименованиям.

[214] *Бурнан*. La Terreur a Paris.

[215] *Лакомб Поль*. Les noms des rues de Paris sous la Révolution.

[216] Опуская в переводе дальнейшее перечисление всех переименованных в то время улиц как неинтересное для русских читателей, мы сохраняем лишь некоторые примеры таковых. Нельзя не присовокупить, что большая часть переименованных в то время улиц ныне носят вновь свои прежние названия. — *Прим. пер.*

[217] Гражданин Грегуар. Système de dénominations topographiques pour les places, rues, quais, etc. de toutes les communes de la République. Impimé par ordre du Comité d'Instruction publique. A Paris. lmprimerie Nationale (без числа, вероятно, в январе 1794 г.), брошюра в 27 стр. в 1/8 листа.

[218] La Révolution française, пересмотренная Оларом, t. XXXIV, p. 234.

[219] В некоторых местах ненависть к слову Saint-святой доходила до того, что устранялись даже слова, напоминавшие его по созвучию. В двух департаментах существовали два одноименные селения Сен-Симфориан. Сперва они отбросили лишь приставку «Сен» и превратились в «Симфориен на Гюйе» и «Симфориен на Севре». Но так как первый слог этого имени имел все же созвучие с изгнанным прилагательным, то уничтожили и его; остались только: «Форьен на Гюйе» и «Форьен на Севре». (Débaptisations, etc. loc. cit.).

Впрочем, еще весьма недавно, 26 сент. 1903 г., город Сент-Савин (Saint — святая) заменил свое имя новым — Савин-Ле-Труа. Протокол местного Муниципального совета по этому поводу напоминает революционную эпоху: «После открытия заседания граждане Гюо и Аржантен вошли со следующим предложением:

«Принимая во внимание, что эпитет «святая», предшествующий слову Савин, заключает в себе несогласный со здравым смыслом анахронизм; что город Сент-Савин в течение тридцати с лишком лет выказывал непоколебимую преданность республике; что миновало то время, когда слепая вера поручала города покровительству святых, ибо, обитая в раю, последние не нуждаются в квартирах в этом мире; что общество мирян намерено вырвать последние узы, связывающие его с прежним всемогуществом церкви; что, с другой стороны, полное изменение имени города нежелательно ввиду коммерческих и частных интересов; на основании вышеизложенных соображений постановили изменить имя города Сент-Савин, присвоив ему наименование «Савин-Ле-Труа».

[220] Герцог д'Эгильон превратился в гражданина Виньеро; Маркиз Куаньи стал гражд. Франкето; герцог Караман гражданином Рикэ.

[221] Débaptisations révolutionnaires des communes; Introduction, Paris et départements, 1896.

[222] Однако многие селения при видоизменении своих названий пользовались и топографическим положением местности, природой, почвой, присутствием лесов или рек.

[223] Так, городок С.-Жермен-ан-Лэ переименовался в Гору Чистого Воздуха, хотя расположен весь на равнине и никаких гор не имеет.

[224] Небезынтересно заметить, что эта мера, которую автор, Барра, считал весьма «революционной» (но которая, впрочем, не вошла в обычай), в действительности была лишь подражанием злейшему монархическому деспотизму. В России, до Екатерины II, отменившей этот варварский обычай, довольно часто практиковалось в виде наказания за всякую важную (или считавшуюся важной) вину лишать преступника, из крепостного состояния, «права носить свое имя».

Довольно оригинальное совпадение приемов московской тирании и революционера Барра.

Мы оставляем это примечание на ответственности его авторов, не встречая ему в русской истории достаточно доказательных подтверждений. — *Прим. пер.*

[225] Cf. Index des Noms révolutionnaires des communes de France par Figuères, Poitiers, 1896; Les Noms révolutionnaires des communes de France, par le même, Paris, au siège de la Société de l'Histoire de la Révolution Française, 3, rue de Furstenberg. 1901.

[226] См. Intermédiaire 10 апр. 1870.

[227] Особые карты для специальных игр, как, например, «Таро», были тоже изменены, а их фигуры переименованы. См. Intermédiaire 10 сент. 1886 г.

[228] Intermédiaire, июнь — июль 1867 г.

[229] Римский писатель I века, оставивший интересный трактат о земледелии. — *Прим. пер.*

[230] "Etrennes litteraires ou Almanach offert aux amis de l'humanité".

[231] *Вельшингер Анри*. Les almanachs de la Révolution, Paris. Librairie des Bibliophiles. 1884 г.

[232] Шолье — французский эротический поэт XII века. Нинона де Ланкло — замечательная по своему уму и красоте куртизанка того же столетия, сводившая с ума весь Париж; прожила 85 лет, сохранив до конца силы, моложавость и красоту. — *Прим. пер.*

[233] Гонкуры: "La société française pendant la Révolution".

[234] Зала «игры в мяч» в Версальском дворце была местом, где представители третьего сословия 20 июня 1789 г. принесли клятву не расходиться, пока Франция не получит конституции. Эта настойчивость увенчалась успехом, так как 3 дня спустя, 23 июня 1789 г., Национальное собрание превратилось в Учредительное. — *Прим. пер.*

[235] Эти заимствования далеко не встретили всеобщего сочувствия, и даже во время революции их нередко поднимали на смех и вышучивали в стихах и в прозе.

[236] Республиканские власти всячески старались сделать его популярным; так, например, во время санкюлотидов II г. республики Бордоский театр ставил целый балет под названием «Республиканский календарь».

[237] *Арно*. Souvenirs d'un sexagènaire.

[238] Всего несколько лет тому назад какой-то отец семейства явился в мэрию в Батиньоле, чтобы записать рождение дочери, которой он пожелал дать имя «Полевого цветка». Чиновник, заведующий гражданскими списками, отказался, однако, исполнить эту фантастическую просьбу.

[239] Он был напечатан в l'Intermédiaire, 20 сент. 1896 г., стр. 346:

Санкюлотов Монбеля — депутату Альбиту.

Прошение, 12 вентоза II г.

Некоторое суеверие прежних времен еще не искоренено, а его обязательно следует изничтожить, иначе поповская вера, которая упорна, как гангрена, и держится, пока ее не вырвут с корнем, приведет вновь тех чудовищ, которым она вечно служила: аристократию и деспотизм.

Мы говорим, гражданин, об именах святых, которыми продолжают еще именоваться многие из возродившихся ныне французов.

Пусть те, которые доныне назывались Петрами, Николаями и т. п., при них и остаются, если перемена имени может оказаться для них неудобной по их гражданским делам и сделкам, но пусть же будет хотя впредь воспрещено именовать вновь рождающихся детей именами разных фантастических заступников, которые могут способствовать только сохранению в народе отвергнутого унизительного вероучения. Общество сделало в этом отношении все что могло. Оно предложило гражданам через своего председателя не давать более новорожденным церковных имен и заменять таковые или именами великих людей или же названиями цветов и растений по новому календарю.

[240] Charlemagne, Карл Великий (742–814 г.), король Франции и император всего Запада, был канонизирован католической церковью под именем святого Шарлеманя (празднуется 28 января нов. стиля). — *Прим. пер.*

[241] Слово «королевский» преследуется, вычеркивается, уничтожается и распушается повсюду. Во всем, что относится к потомству Бурбонов, слово «королевский» тщательно устраняется. Казенные лотерейные конторы, вывески придворных поставщиков очищаются до последнего признака следов королевства. Вывеска трактира под фирмой «Коронованный Бык», и та подвергается гонению. Всем гражданам по имени Леруа предложено немедленно его переменить. Многие переименовались в Лалоа (La loi — закон). Гражданин Перье, художник, делает публикацию, что он принимает в переделку всякие часы, на циферблате которых стоят слова «королевский поставщик», не повреждая эмали, причем, по желанию заказчика, заменяет слово «королевский» словами «народный» или «национальный». Де-Гонкур. La société française pendant la révolution.

[242] Генерал Мотт, впоследствии бывший комендантом Гренобля, когда последний был осажден австрийцами в 1815 г., заменил во II г. свое имя Роберт — именем Седр (Cedre — кедр), и в заголовке его писем стояло жирным шрифтом: Седр Мотт, бригадный командир». Роша, Biograp ihedu Dauphiné, t. II. p. 173.

[243] Приставка де — признак дворянского происхождения; Сен (saint) — значит святой, Сир (sire) — значит государь, ваше величество. — *Прим. пер.*

[244] По старинному обычаю в Крещенский сочельник на Западе в семейных домах подается пирог, в котором запекается боб (в Англии — монета). Тот, кому он достанется, провозглашается «бобовым» королем и руководит застольными тостами. — *Прим. пер.*

[245] Révolution de Paris. № 131.

[246] В католичестве именуемый праздником царей (волхвов или магов). — *Прим. пер.*

[247] *Олар.* Paris pendant la réaction thermidorienne, 1899, т. II. Chronique médicale, loc. cit.

[248] В журнале постановлений этого собрания от 15 сент. 1792 г. значится: «На просьбу Луи-Филиппа-Жозефа, французского принца, Генеральный совет постановил: означенный принц и его потомство отныне будут носить фамилию — Эгалите.

[249] Приговариваемых к каторжным работам клеймили на плече раскаленным железом со знаком лилии. Это наказание было уничтожено лишь после революции 1830 г. — *Прим. пер.*

[250] Греческий философ ионической школы. Считается основателем философского деизма; учитель Перикла и Сократа. Умер в 428 г. до Р. Х. — *Прим. пер.*

[251] Видные деятели Французской революции: 1) Жан-Поль Марат — знаменитый демагог, редактор газеты «Друг народа», подстрекатель кровожадных сентябрьских убийств; был убит в ванне Шарлоттой Корде (1743–1793 г.). 2) Жорж Кутон — член Конвента, вместе с Робеспьером и С. Жюстом составлял род триумвирата, терроризировавшего всю Францию. Известен жестоким подавлением Лионского мятежа. Казнен 9 термидора (1756–1794 г.). 3) Пик — член Конвента.

[252] Город в Бельгии, при котором Дюмурье разбил австрийцев в 1793 г.

[253] Член Конвента Бернард, депутат в департаменте Сены-Лоары, заменил свое имя Иван-Андрей именем Пиош-Фер (Железная мотыга).

[254] Некий Летюр, чиновник в Монморанси, назвал своего сына Либр-Петион-Летюр (Гонкур, op. cit.).

[255] С тех пор как кавалер ордена св. Людовика, Жирардо, ввел здесь при Людовике XIV грунтовую плодовую культуру.

[256] Cf. Ле Бон. L'homme et les sociétes, t. II. Тард, Les lois de l'Imitation; Д-ра Вигуру и Жюкелье, La contagion mentale.

[257] Между самыми известными пуфами царствования Людовика XVI один назывался «пуфом по случаю», так как был изобретен именно по случаю перемены царствования; другой назывался «пуфом оспопрививания». В первом с левой стороны возвышался кипарис, обрамленный отделкой под названием «черной заботы»; у подножия был уложен креп, складки коего изображали корни; с правой стороны — большой сноп ржи лежал на роге изобилия, из которого сыпались винные ягоды, виноград, дыни и всякие фрукты, искусно сделанные из перьев. Все вместе должно было означать, что, хотя Людовик XV и оплакивался, но от нового царствования ожидается «изобилие плодов земных». Второй пуф был не менее искусен. Он состоял из восходящего солнца и оливкового дерева, отягченного плодами, вокруг которого извивалась змея, поддерживающая булаву, обвитую гирляндами цветов. Змея изображала медицину, палица — искусство, которым она поразила чудовище-оспу; восходящее солнце было эмблемой молодого короля, к которому обращались надежды французов, в оливковом дереве видели символ мира и кротости, овладевших душами народа после успеха этой еще малознакомой операции, которой подверглись король и принцы. (*Граф Рейзе*. Modes et usages au temps de Marie-Antoinette, т. I, стр. 139). Королева первая надела пуф оспопрививания, и вскоре ей стали подражать все придворные дамы. Такая прическа стоила десять луидоров. Парикмахерша Бертэн не успевала удовлетворять всех заказов.

[258] *Кишера*. Histoire du Custume en France.

[259] Скандальное дело, так называемое «об ожерелье королевы» разыгралось в 1744–1786 гг. Кардинал де Роган, влюбленный в Марию-Антуанетту и добиваясь ее взаимности, сделался жертвой смелого мошенничества со стороны некоей интриганки, графини де Ля Мотт. Последняя уверила его, что королева жаждала приобрести у ювелиров Бёмэра и Бассанжа ожерелье в 1 600 000 ливров, но что король отказал ей в этой сумме. Кардинал купил ожерелье и отдал его де Ля Мотт для передачи королеве. Ожерелье, конечно, исчезло. Между тем Роган не мог выплатить ювелирам в срок долга и дело раскрылось. Заключенный в Бастилию и преданный суду Парламента, де Роган был последним оправдан, но затем был сослан административным порядком из Парижа в глухую провинцию. Графиня де Ля Мотт была приговорена к телесному наказанию с наложением клейм и заключена в тюрьму Сальпетриер. Скандал, однако, отразился на коро-

леве, которая была в этом деле ни при чем, но которую вообще народ не терпел. — *Прим. пер.*

[260] После взятия Бастилии, пишет Спир-Блондель (Revue libérale, 1884 г.), мода завладела и этим великим событием, и старинная крепость, проданная на снос «подрядчику разрушения Бастилии» каменщику Палуа, стала изображаться на тарелках, обоях, мебели и т. д. Об этом свидетельствует, например, транспарант, изображавший это событие, о котором упоминают газеты того времени (Le Censeur des Journaux, июнь 1796 г.) и который выставлялся в одном окне на Гревской площади накануне всех уличных беспорядков. Однако, хотя патриотические сюжеты и эмблемы свободы уже начинали заменять игривые и легкомысленные затеи последних лет монархии, но все же общий стиль мебели и ее украшений оставался почти тот же. Резная работа на одном шкафе времен республики, хранящемся в музее Карнавалэ, действительно напоминает сильно время, когда прямые линии были еще в загоне, изящные панно на дверцах шкафа представляют резьбу закругленную и извивающуюся — в общем, очень изящную. Влияние моды наблюдалось и в керамике. Фаянсовые печи, которые в то время играли немаловажную роль в убранстве комнат, значительно изменились благодаря некоему Оливье, директору «республиканской гончарной фабрики», который сопровождал свои прейскуранты следующей рекламой: «Величайшее удовлетворение доставляет патриотам печь новейшей формы — в виде Бастилии. Это точное воспроизведение Бастилии с ее восемью башнями, воротами и т. д., окрашенная в натуральный цвет минеральной краской, закрепленной обжигом. Над крепостью возвышается пушка, украшенная у своего основания атрибутами свободы: колпаком, ядрами, цепями, петухами и барельефами; в совершенстве воспроизведены и не меняются от времени цвета чугуна, меди, мрамора и бронзы». Подобная монументальная печь, поднесенная этим печником Национальному конвенту, как сообщает Шамфлери, украшала манеж в то время, когда в нем заседал Конвент.

[261] «Декларация прав человека и гражданина». Такое наименование придало Учредительное собрание 1789 г. главным положениям, которые были им приняты в качестве необходимых условий нормального гражданского общежития. Они заключали в себе следующие пункты. Политическое и социальное равенство всех граждан; уважение к собственности; верховнодержавие — нации; доступ всех граждан к общественным должностям; обязательное уважение и подчинение закону; свободное выражение народной воли; свобода совести, вероисповеданий и мнений, свобода слова и печати; равномерное распределение налогов, утвержденных народными представителями. Применительно к этим основным положениям Учредительное собрание в ночь на 4 августа определило уничтожение дворянства, титулов, всех остававшихся еще феодальных привилегий и вообще всех установлений, посягающих на всеобщую свободу и равенство. — *Прим. пер.*

[262] «В 1790 г. Брифо, отец будущего академика, появился однажды на маскараде в бывшем якобинском монастыре в Дижоне в костюме «трех сословий». Он был причесан, как аббат, с завитыми и напудренными буклями, со священнической скуфейкой (calotte) на голове и с брыжами на шее. Это изображало духовенство. Великолепный камзол из голубого бархата, расшитый галунами, жилет и шпага означали дворянство и, наконец, простые штаны из серой саржи, холщовые онучи и деревянные башмаки представляли третье сословие. Оригинальный костюм имел огромный успех» (Клеман-Жанен).

[263] La Feuille du jour (июнь 1791 г.), сообщение Спир-Блонделя «L'art pendant la Révolution».

[264] Город в Рейнских провинциях, где в 1792 г. роялисты организовали армию под начальством принца Конде.

[265] Сторонники нового режима протестовали по-своему. «Журнал моды и вкуса» (июль 1790 г.) сообщает, что у каждого истинного патриота на камине стояли «гражданские часы» с атрибутами Свободы на мраморных или бронзовых колонках, изображавших федеративный алтарь на Марсовом поле. Судя по тому же сборнику, кровати «революции» были вскоре оставлены и заменены «патриотическими». «Вместо султанов из перьев колонки стали увенчиваться фригийскими колпаками, надетыми на связки пик, что напоминало триумфальную арку, воздвигнутую на Марсовом поле в день Федерации». Другие патриоты предпочитали кровати «федерации» на четырех колонках, тоже в форме позолоченных связок пик, топоров и железных вил, поддерживавших полог». Что касается обивки комнат, то ее заменили раскрашенными бумажными обоями с эмблемами равенства и свободы изделия республиканской фабрики Дюгурка на площади Карусели, в бывшем отеле Лонгвиль.

По словам «Листка объявлений» (Petites Affiches, август 1793 г.), фабрика на улице Сэн-Никез, на Союзной площади, выпустила в это время в продажу таблицы с разными «гражданскими» надписями: Единство, Нераздельность республики, Свобода, Братство или Смерть. Эти таблицы прибивались над дверями у каждого гражданина. «Автор этих девизов», говорит иронически Болье в своих «Essais historiques», имеет право на сохранение его имени для потомства; это был гражданин Паш, тогдашний мэр Парижа, бывший перед тем министром.

[266] На щегольских жилетах вышивались целые сцены охоты, уборки винограда, пасторали, сюжеты из военной и кавалерийской жизни, разные карикатуры, сцены из драм «Сумасшествие от любви» или «Ричард Львиное сердце». На пуговицах, которые были по меньшей мере в два дюйма в диаметре, помещались под стеклом миниатюрные портреты 12 цезарей в виде античных статуй, сцены из «Метаморфоз» Овидия, ребусы, вензеля и даже коллекции цветов и насекомых» (Е. де Ля Бедольер, Histoire de la mode en France).

[267] Белье тоже следовало моде. Вот описание рубашки, которую носил в 1794 г. какой-то высокопоставленный эльзасский чиновник. Она была сшита из крепкого пенькового холста, а жабо и манжеты были кисейные. Обшивки на рукавах украшались прекрасными вышивками, на правом рукаве было изображено: «смерть или свобода»; на левом — «в единении — сила». (Intermédiaire, 1886, 674 стр.).

Напомним, кстати, постановление Деба и Сен-Жюста от 5 брюмера II г.: «Страсбургские гражданки приглашаются оставить немецкие моды, памятуя, что у них французские сердца». В тот же день сотни старинных золотых и серебряных филигранных головных украшений были возложены на «алтарь отечества» и отправлены на Монетный двор. (Рёусс, La justice criminelle et la Police des moeurs a Strasburg, стр. 50).

[268] Jounial de la cour (июнь 1790 г.).

[269] Придворные дамы очень редко прицепляли к своим чепцам кокарды всех трех цветов, большей частью они носили только двухцветные кокарды — синие и красные, розовые и синие или белые и синие и если не присматриваться, то эти

кокарды могли ввести в обман победителей Бастилии, а дамы были довольны тем, что все-таки не носят революционной «трехцветки». (Граф Рейзе, loc. cit).

[270] Письмо, написанное из Франции госпожой Вильямс подруге в Англию (1791 г.).

[271] Там же.

[272] *Валлон*. Histoire du tribunal révolutionnaire (1882–1883 г).

[273] *Комб Луи*. Episodes et curiosites révolutionnaires.

[274] О веерах, относящихся к эпохе Генеральных штатов 1789 г., см. La révolution française, revue d'histoire moderne et contemporaine, июль-декабрь 1900 г., стр. 334 и сл.; и 1901 г., стр. 43–45.

[275] Граф Оноре-Габриэль Мирабо, сын маркиза Виктора Рикети, графа Мирабо, был едва ли не самым выдающимся оратором революции. Отец относился к нему очень сурово, а сам он несколько лет провел под стражей по королевским бланковым указам (Lettres de cachets). Он бежал, наконец, за границу, но был снова арестован в Голландии и заключен в Венсенский замок, где и просидел опять с 1779 до 1781 г. В 1789 г. забаллотированный дворянством, он попадет в Генеральные штаты представителем третьего сословия и своими дарованиями много способствует образованию Учредительного собрания. Умер в 1791 г., как раз во то время, когда молва, не без основания, начала обвинять его в тайной сделке с придворной партией. — *Прим. пер.*

[276] *Блондель Спир*, op. cit.

[277] Генерал Дюмурье — победитель при Вальми и Жемапие и покоритель Бельгии. Отрешенный Конвентом от командования, он перешел в ряды врагов Франции и поступил на жалованье Англии (1739–1814).

[278] *Кишера*, там же.

[279] Красный колпак носили не в одной Франции: 7 января 1793 г. многие враждебные дворянству шведы явились в Стокгольме в оперу в таких же колпаках (История женских головных уборов во Франции. G. D'Efe и A. Marcel; Париж 1886 г.).

[280] Карманьола — короткая куртка; одежда очень древняя: ее можно видеть на актере в коллекции расписных ваз Гамильтона (Бедальер, La mode en France. 1857, стр. 147).

Эта одежда занесена во Францию пьэмонтскими рабочими из провинции Карманьолы, откуда и получила свое название. В Париж ее привезли впервые на себе марсельские волонтеры. — *Прим. пер.*

[281] 1792 г. появилась особого рода прическа. В эту эпоху большинство мужчин во Франции стали носить длинные волосы, разделенные пробором посередине и спускающиеся до шеи, как на изображениях Спасителя. Мода эта была введена некоторыми революционными знаменитостями, между прочим — публицистом Карра, имя которого она и удержала за собой. Якобинцы носили эту прическу до конца 1793 г.; причем те, у кого было мало волос, надевали длинные черные и гладкие парики. Било-Варена встречали во время сентябрьских убийств в сюртуке блошиного цвета и черном парике. Такие же парики носили Гиацинт Ланглуа (Souvenirs de l'école de Mars et de 1794); и Мегe де Ля Туш. La vérité toute entiére sur les vrais auteurs de la journée de 2 septembre. (1792–1794 гг.) в книге Спира Блонделя «l'Art pendant la révolution».

[282] Moniteur, ноябрь, 1793 г.

[283] Шалламель. Histoire-musée de la Republigue, л. I.

[284] Тероань де Мерикур, одна из героинь революции, принимала деятельное участие в ее первых днях, при взятии Бастилии и 10 августа. — *Прим. пер.*

[285] Знаменитые женщины революции от 1789 по 1795 г. у Лертюлье.

[286] Она обозначается уже с 1793 г. 58-й номер «Парижского журнала» от 19 октября 1793 г., содержит длинное объявление гражданки Распайль, бывшей Тейляр, проживающей в «бывшем» королевском дворце на «бывшей» улице Ришелье, в Золотом павильоне под № 41. Гражданка Распайль предлагает дамам платья из ситца бархатисто-молочного, из африканского шелка, из китайского сатина, и в ее иллюстрированном прейскуранте значатся разные платья a la Nina, a la sultane, a la Cavalière; пояса Юноны, платья Психеи и республиканские. Последние, по словам рекламы, «обрамляют всю фигуру и очень грациозно обрисовывают талию; спереди застегиваются на пуговицы, с римским поясом. Это платье восхитительно!».

[287] *Кишера*, op. cit.

[288] Прозвище мюскаденов (muscadin) — щеголей было первоначально дано во время осады Лиона защитникам города, костюм которых представлял резкую противоположность грубому платью овернских горцев, сражавшихся против них в республиканских войсках. (Шаравей, Париж, 1862 г., стр. 172). Барбару в своих мемуарах говорит, что эпитет «мюскадэнов», применявшийся ко всем, носившим чистое белье, в отличие от санкюлотов, вошел в общее употребление тотчас по прибытии марсельцев. Мерсье де Сен-Леже долго оспаривал этимологию этого слова, происходящего, по его мнению, от названии лакомства, в состав которого входила душистая смола, и которое употреблялось для уничтожения дурного запаха изо рта.

[289] После террора и во время реакции, последовавшей за термидором, были изданы постановления, воспрещавшие ношение некоторых фасонов одежды или причесок, считавшихся «превратными». Так, постановление Центрального бюро от 11 августа 1796 г. гласит: «Все носящие белые петлицы, косы, заплетенные или подвернутые, букли и собачьи уши (боковые локоны в роде пейсов), зеленые или черные галстуки и воротники, пуговицы в виде треугольников, образующих подобие лилий, а также все, носящие лишь малую кокарду, скрытую под шнуром или под тесьмой шляпы, будут признаваться носителями условных знаков и возмутителями общественного спокойствия и, как таковые, будут привлекаться к ответственности. 12 февраля 1798 г. генерал Рей, командовавший войсками в Лионе, бывшем тогда в осаде, издал такой приказ: «Всякий гражданин, проходящий перед караулом или встреченный патрулем и не имеющий национальной кокарды или носящий косу, или собачьи уши, или платье с черным или зеленым воротником, или имеющий какую-либо иную особенность в костюме, почитаемую за условный знак, имеет быть арестован и отведен в полицейский участок, чтобы быть затем приговоренным к наказанию сообразно его вины» («Lyonnaisiana». Ж. Вериселя. Стр. 236).

[290] Courrier de Vegalité (февраль 1793 г.) — цитата Гонкура.

[291] *Гонкур.* La societé pendant la Revolution.

[292] В первом списке патриотов, писанном рукой самого Робеспьера, мы находим под номером 8-м имя гражданина Гатто, интендантского чиновника, о котором Куртуа в своем докладе делает такое примечание: «Патриот, у которого на печати была гильотина». Этот ужасный террорист в своем письме из Страсбурга от 27 брюмера II г. говорит своему другу Добиньи относительно

Сен-Жюста, что последний все оживил, воодушевил и возродил! «Святая гильотина действует у нас превосходно, и благодетельный террор чудесным образом дал нам то, чего нельзя было ожидать от разума и философии и в целое столетие». *Блондель Спир*, указ. соч.

[293] Был также веер «Марата» из грубой бумаги, на котором в медальонах были изображены бюсты Марата и Лепельтье со статуей Свободы посредине.

[294] L'autographe от 5 дек. 1864 г. и труд Шерона де Вилье о Шарлоте Корде.

[295] La décade philosophique т. I и III.

[296] *Шарлемань А.* Le monde incroyable.

[297] *Кайльо Ант.* Mémoires pour servir a l'histoire des moeurs et usages des Français. В Париже, у Довина. 1827 г., т. II.

[298] По словам Олара (La Revolution française. XXXIV p. 482 et suiv.), первой, призвавшей французов к проявлению всеобщего равенства, — обращением друг с другом на «ты», была дама благородного происхождения, дочь кавалера Гинемана де Кералио, профессора Военной школы, члена Академии надписей и словесных наук и редактора «Journal des savants».

Госпожа де Кералио была выдающийся «синий чулок» — писательница, автор разных романов, исторических книг, переводов и т. п. Она вышла замуж за лютихского адвоката Робера и после свадьбы, будучи патриоткой, открыла салон, в котором объединились самые видные республиканки. Она основала даже первую демократическую газету, которую сама и редактировала.

В своей газете, которая называлась «Mercure national» в № от 14 декабря 1790 г. в статье «О влиянии слов и власти обычая» госпожа Робер под псевдонимом: «K. P… человек вольный» предложила впервые всеобщее обращение на «ты».

[299] Bulletin de la Convention, заседание 10 брюмера II г.

[300] Moniteur universel, № от 2 ноября 1793 г.

[301] Moniteur от 25 ноября 1793 г.

[302] Письмо авторов водевилей «Radet et Desfontaines» Парижской коммуне (Moniteur от 27 ноября 1793 г.).

[303] «Tu quoque fili» — И ты, мой сын. Последние слова Цезаря, обращенные к Бруту, который, как говорят, был его сыном, когда он заметил его в числе своих убийц. — *Прим. пер.*

[304] Moniteur от 18 нивоза II г.

[305] С 1791 года газета «Le Père Duchesne» Гебера требовала, чтобы, как признак равенства, обращение на «ты» стало обязательным между французами.

[306] Intermédiaire от 30 августа 1892 г.

[307] Во флоте обращение на «ты» стало применяться почти одновременно с сухопутной армией. 28 брюмера II г. морской министр в официальной бумаге обращался к представителю морского департамента в Бресте еще на «вы», но через 2 дня в официальной переписке уже появляется «ты». Оно исчезает снова после 9 флореаля II г. (Intermédiaire от 10 августа 1892 г.). Об исчезновении «ты» из обращения в армии см. выше цитированное соч. Олара.

[308] Memores et souvenirs, т. I.

[309] Поэма Андриё, из которой взяты эти стихи, называется «Dialogue entre deux journalistes sur les mots «monsieur» et citoyen». Помещена в Mémoires de l'Institut за VI г.

[310] Moniteur, от 26 сентября 1792 г.

[311] Cf. «La Gazette nationale» или «Moniteur universel» № 133, 134, 135, 136, 137 и т. д. Необходимо заметить, что слово «гражданин», теперь употребляемое только во время избирательной борьбы, никогда не прибавляется кандидатами к именам их конкурентов. Не называя своего противника гражданином и прибавляя к его имени слово «господин», кандидат хочет этим самым как бы указать на отсутствие у своего противника гражданских доблестей. Таким стратегическим приемом пользуются всегда все партии.

[312] Об употреблении слова «гражданин» см. Le Nouveau Paris, *Мерсье*. т. II, стр. 165.

[313] См. Le Messager des sciences historiques de Belgique (1887 г).

[314] См. статью одного из авторов этой книги в l'Intermediare от 10 октября 1892 г., стр. 377, под заглавием Pont-Galé.

[315] Напомним, что и поныне действующее французское уложение не знает вовсе слов: «господин», «госпожа» или «барышня», хотя в нем не сохранилось равным образом и наименований «гражданин» и «гражданка». В настоящее время всех судящихся одинаково и, нужно сказать по правде, очень неучтиво закон именует: «sieur» — человек или сударь, или «femme» — женщина или «fille» — девица.

[316] *Паганель*. Essai histrique et critique sur la Revolution.

[317] «Bougrement». Выражение, не переводимое в точности. — *Прим. пер.*

[318] «Дядя Дюшен» приветствовал всякую ласкавшую народные инстинкты меру. Он писал в день отмены городской ввозной пошлины на вино: «Наконец-то наших ребят, любящих малость выпить, не будут разорять на законном основании. Парню, проработавшему целый день напролет и изнемогающему от усталости, который доныне мог себе позволить в награду за труды только «мерзавчика», теперь можно будет ежедневно хватить и «сороковку». Порадовался бы со мной народный друг Жан-Барт (*), и мы отпраздновали бы с ним это счастливое событие. Какая радость! Какая славная пирушка!..» (Братья Е. и Ж. Гонкуры).

(*) Жан-Барт, знаменитый моряк, бывший сперва пиратом и вышедший из народа. За блистательные подвиги во время франко-голландской войны XVII века возведен Людовиком XIV в дворянское достоинство с чином эскадренного адмирала. Пользовался огромной популярностью в народе за простоту нравов и образа жизни. — *Прим. пер.*

[319] Заметим на всякий случай, что если Гонкуры и превозносят исключительное красноречие Гебера, то не руководит ли ими при этом тайное желание умалить значение остальных великих ораторов революции?

[320] Hébert avant le 10 Août в "Mèmoires de la societé historique du Chèr (1888 г).

[321] См. le Cabinet secret de l'Histoire par le D-r Gabanès (3-я серия нового издания).

[322] Ретиф де Ля Бретон считает, что название «Дяди Дюшена» заимствовано из пьесы Николе, в которой какой-то моряк беспрестанно ругается перед барыней-маркизой, на служанке которой хочет жениться.

[323] Неудобного для печати в русском языке. — *Прим. пер.*

[324] Бушот был в это время военным министром республики (1754–1840). — *Прим. пер.*

[325] «L'Ami du Peuple» № 23; 23 сентября 1789 г.

[326] *Мишле*. Histoire de la Révolution, т. II.

[327] *Олар*. Les orateurs de la Legislative et de la Convention.

[328] *Бернар Ж*. Quelques poésies de Robespierre.

[329] Приводится у Олара.

[330] *Робеспьер*. Rapport sur les idées religieuses, etc.

[331] *Мишле*. Histoire de la Révolution française, предисловие к террору.

[332] Тот, кто хочет постичь революционное красноречие, говорит Олар, должен беспрерывно изучать Руссо. Весь «Эмиль» и весь «Общественный договор» разбирались по частям на трибуне. К имени Руссо, как вдохновителя революционных ораторов, надо присовокупить еще Монтескьё, Рейналя, де Гольбаха, Дидро, Мабли и вообще всех энциклопедистов.

[333] Moniteur officiel. 2 вантоза, II г.

[334] Морат (или Муртен) — город во Фрейбургском кантоне в Швейцарии, при озере того же имени. Знаменит победой, одержанной здесь швейцарцами над Карлом Смелым в 1476 г. — *Прим. пер.*

[335] Слово, созданное из имени древнего Герострата, сжегшего из желания увековечить свое имя храм Дианы Эфесской, означает, ближе всего, преступное тщеславие. — *Прим. пер.*

[336] Кордельерами звали францисканских монахов вследствие того, что они опоясывались веревкой (cordeliére). В здании упраздненного францисканского монастыря помещался во время революции республиканский клуб, получивший название Кордельерского. Его члены поэтому назывались тоже кордельерами. — *Прим. пер.*

[337] Во время народных волнений распаляемая ораторами и революционными листками чернь повесила немало невзлюбленных ею людей прямо на фонарных столбах, без дальнейшего суда и расправы. — *Прим. пер.*

[338] *Тард*. Revue philosphique, ноябрь, 1891 г.

[339] *Сигеле*. La foule criminalle.

[340] *Моро*. Le monde de prisons.

[341] «Le Journal des spectacles» говорит по этому поводу: «Что может быть смешнее и постыднее страсти непременно лезть в драматические авторы, не имея для этого ни малейших данных? А между тем и нынче этим по-прежнему не стесняются и с невероятной дерзостью стремятся все туда же. Как мало, однако, изменились времена!»

[342] Так звали республиканцы Людовика XVI по родовой фамилии основателя династии Капета. — *Прим. пер.*

[343] Moniteur, нивоз II г.

[344] *Гонкур Э. де*. La societé française sous la Révolution.

[345] Братья Гонкуры приводят эту цитату неточно, передавая ее так: «Лучше иметь соседом вора, чем короля».

[346] См. цитированное произведение Гонкуров.

[347] Этот же сюжет послужил недавно Морису Аллу темой для фарса в стихах под заглавием «Anne la simple» (Анна-простушка).

[348] Английская революция, с которой французская имеет так много общего, тоже имела свой антиклерикальный театр. Тогда его целью было унижение католицизма и возведение на пьедестал лютеранства. Всюду, даже в церквах, представлялись комедии и фарсы, в которых осмеивались католические священники и монахи: их распутство, пороки и беспорядки в монастырях. Народ так приохотился к этим зрелищам, что реформатское духовенство принуждено было вскоре принять против этого меры из боязни, как бы не быть и самому унесенным общим антирелигиозным движением.

[349] Journal des trois décades, брюмер, II г.

[350] В театре, Le Lycée des Arts, II г.

[351] *Флери*. Mémoires.

[352] *Дюваль*. Histoire de la littérature révolutionnaire.

[353] Актеры дерзко бравировали якобинцами, которые были, однако, хозяевами политического положения. «Перед этими проповедниками равенства, — пишет артист этой смелой труппы Флёри, — мы, не стесняясь, изображали придворные нравы; перед фанатиками безбожия мы проповедовали веротерпимость, а перед палачами и убийцами мы красноречиво превозносили умеренность и гуманность».

Это смелое и вызывающее поведение должно было неминуемо довести всю труппу до тюрьмы; и действительно, лишь благодаря своему бывшему сотоварищу Лабюсеру, служившему писцом в пресловутом «Бюро справок» и уничтожившему в их деле важные бумаги с риском для собственной головы, они счастливо избегли гильотины. Надо признать, что по тогдашним временам они сделали все, чтобы ее заслужить; очень многие из жертв Фукье-Тенвилля и Дюма не имели за собой и сотой доли преступлений Дазинкура, Флери, Рокура и обоих Конта. Наш современник, артист Французской комедии и драматург де Ферߋди увековечил подвиг Лабюсьера в драме, имевшей заслуженный успех. — *Прим. пер.*

[354] Не благодаря ли этому социальному закону, независимо от всяких подозрений и обвинений в провокаторстве, объясняется безнаказанное и успешное развитие у нас в России за последнее время черносотенства и хулиганства? — *Прим. пер.*

[355] По распоряжению цензуры театр «Лувоа», превращенный в театр «Друзей отечества», был вынужден ставить исключительно патриотические произведения, которые писались бездарными авторами «ради содействия народному просвещению и ради счастья города Парижа!» «Le Salut public», брюмера II г.

[356] «Магомет» — известная пьеса Вольтера. — *Прим. пер.*

[357] *Фагэ*. Propos de théatro, 2-я серия.

[358] Он заключает: «Докажем, что мы любим республику тем, что относимся с уважением к памятникам науки, искусств и гения, а чтобы легче достичь желанной гражданственной и революционной цели, к которой мы стремимся, будем лучше почаще ставить пьесы Мольера, чтобы оздоровить наши нравы и очиститься от наших пороков. Попросим в особенности, чтобы ставили «Мещанина во дворянстве», потому что Мольер умел, как никто, предавать вечному осмеянию всяких герцогов, маркизов, графов и сильных мира сего». Journal des spectacles.

[359] Journal des spectacles.

[360] «Георгики или земледелие», дидактическая поэма Виргилия в 4 песнях, — замечательна разнообразием форм, богатством описания и чрезвычайной чувствительностью изложения. — *Прим. пер.*

[361] *Герузес*. Histoire de la Litterature française pendant la Révolution.

[362] Во Франции даже политика не заставит замолчать мадригала. Доказательством этого служит ответ одного остроумного любезника даме, которая жалуется на то, что она не имеет гражданских прав, как мужчина:

Ей отвечает ловкий селладон,
Отвешивая вежливый поклон:
Да мы себе права лишь для того стремимся получить,
Чтоб их тотчас к прелестным вашим ножкам положить.

[363] Уничтожение монашеских обетов, а затем и духовного костюма дало тему для массы шутливых песен. Вот одна из них, в которой отражается неприхотливое остроумие XVIII в. Речь идет о бывшем капуцине, может быть, самом Шабо, который, якобы по упразднении его монастыря, взялся за ремесло и начал набивать и чинить матрасы:

На кроватях столько дела,
Что матрасы редко целы;
Нету прибыльней труда,
Как чинить матрасы, да!
Муж с женой если повздорят,
Подерутся иль поспорят,
То помирятся, как раз,
Попадут лишь на матрас.
А красотка без прикрас
Не ложится на матрас.
Сколько шума, сколько гама
На матрасах творят дамы?
На нем грезит кто иль спит,
Тот об этом говорит,
Но о многом и молчат,
На матрасах, — что творят.
Ничего о том не знаю, —
Я матрасы починяю,
Ну, а если б даже знал,
Так и то бы не сказал.
У меня один ответ,
Что матрас большой секрет.
И едва ль и принцы знают
С кем их жены обминают...

[364] Le chant de départ.

[365] Историк революционного театра Флёри дает любопытное описание нравов современного общества. Невзирая на страшное возбуждение, вызывавшееся быстрой сменой революционных событий, парижане самым мирным и исправным образом посещали по вечерам театр и особенно оперу. Сколько бы голов не слетело днем, сотня ли, десяток ли, а двери зрительных зал преисправно открывались для публики ежедневно, в заранее определенные часы. И нельзя было не удивляться, как самый ярый сентябрист, целый день проливавший кровь, здесь скромно становился в общую очередь перед кассой, и когда невольно напирал на стоявшего впереди соседа, то самым вежливым образом извинялся, ссылаясь на то, что его самого толкают сзади...

А между тем того же соседа он, может быть, не сморгнув, зарезал бы еще сегодня утром собственными руками?..

[366] События 9/22 января 1905 г. в С.-Петербурге; впрочем, этот факт официально был опровергнут. — *Прим. пер.*

[367] Благотворительное учреждение для призрения малолетних неимущих классов. — *Прим. пер.*

[368] *Одар*. Le culte de la Raison et de l'Etre suprême. *Д-р Робине*. Le mouvement religieux pendant la Révolution, t. I и II.

[369] *Серье*. Anecdotes inédites.

[370] *Лебон*. Психология толпы.

[371] Робеспьер говорил: «Если бы существование Бога и бессмертие души были только одной мечтой, то все же они были бы самым прекрасным из всех открытий человеческого ума. Идеи Высшего Существа и бессмертия души — это вечное напоминание об истине и правосудии, и уже по одному этому они социальны и демократичны».

[372] В эти числа состоялось движение парижской народной массы в Версаль и радостное возвращение ее обратно. Участвовавшие в этой толпе парижские женщины прибыли обратно в Париж на орудиях национальной гвардии. — *Прим. пер.*

[373] Мысль о единстве и нераздельности Франции одушевляла революционное движение. Преследуемые ныне некоторыми из современных русских политических партий идеи федерализма были тогда бесповоротно осуждены восставшим народом. Не послужило ли это единство залогом будущего преуспевания Франции? — *Прим. пер.*

[374] Простой анекдот даст понятие об этом диктаторском могуществе. 6 месидора председатель Эксемской коммуны запрашивает Конвент, «служат ли кресты, которые женщины носят на шее, внешним признаком какого-нибудь культа?». Робеспьер, взбешенный, не отвечая на вопрос по существу, резко возражает: «В Республике нет председателей коммун, надо отослать это письмо к главному полицейскому комиссару с запросом, кто такой этот человек: сумасшедший или мошенник?». Paris en 1793 и 1795, Добана, стр. 411…

[375] *Капфиг*. Les déesses de la Liberté.

[376] *Лертюлье*. Знаменитые женщины времен революции; *Ренувье*. История искусства во время революции.

[377] «Театральная газета».

[378] *Олар*, op. cit.

[379] *Сериэс*. Неизданные анекдоты.

[380] *Олар*, op. cit.

[381] По словам госпожи Жанлис, Монвель изображал в соборе Парижской Богоматери первосвященника. Восемь лет спустя он сошел с ума и прожил в таком состоянии еще двадцать месяцев. Нельзя удивляться такому плачевному концу этого пастыря новой веры. Человек, возомнивший себя вдруг облеченным священным званием, был несомненно предрасположен к помешательству, и самое возведение себя в сан служителя какого бы то ни было культа не является ли уже признаком «горделивого умопомешательства»?

[382] «Республиканский катехизис, в связи с правилами республиканской морали приспособленный для обучения детей обоего пола», гражданина Пуатьена.

[383] См. в книге М. Олара главу о попытках изобразить культ Разума в обрядах.

[384] «Исповедание веры Савойского или Савоярского викария» — представляет один из интереснейших эпизодов «Эмиля» Руссо.

Автор стремится доказать необходимость создания новой религии, основанной на созерцании природы в связи с внутренним человеческим миросозерцанием. — *Прим. пер.*

[385] Доклад Комитету общественного спасения Максимилиана Робеспьера «О согласовании религиозных идей с республиканскими принципами и о национальных праздниках». Заседание 18 флореаля II г.

[386] «Нельзя скрыть, — говорит Ренувье, — что республиканские праздники часто принимали тривиальный и даже низменный характер, но чтобы знать, с каким подъемом ума и сердца они понимались избранными людьми, необходимо прочитать книгу Буасси д'Англа, написанную тотчас после праздника в честь Верховного Существа, в которой описываются самые чистые волнения возвышенной души современника».

[387] В силу этого закона (17 сентября 1793 г.) «подозрительными» объявлялись даже те, кто, не совершив ничего против свободы, не сделал также ничего на ее пользу. — *Прим. пер.*

[388] Гонкур.

[389] *Доктор Кабанес*. Marat inconnu.

[390] Шале был казнен в Лионе по настоянию жирондистов. Лепелетье де Сен-Фаржо — член Конвента, был убит бывшим королевским гвардейцем на другой день заседания, в котором он подал голос за казнь Людовика XVI (1760–1793 гг.). — *Прим. пер.*

[391] Бара — мальчик, родившийся в Палезо, в департаменте Сены и Оазы в 1779 г., был убит близ Шолэ в 1793 г. Он поступил волонтером гусарского полка в республиканскую армию генерала Демора и во время похода попал в засаду. Противники предложили ему закричать: «Да здравствует король!», но Бара ответил возгласом: «Да здравствует Республика» и тут же пал мертвым под ударами неприятелей. Конвент воздвиг ему статую в Пантеоне и разослал во все начальные школы гравюру, изображающую его смерть. В 1881 г. его родной город тоже возвел ему бронзовый монумент.

Виаля (1780–1793 г.) — тринадцати лет от роду был убит роялистскими войсками, когда он перерезал проволоку на понтонном мосту, чтобы воспрепятствовать переходу королевских войск через реку Дюрансу.

[392] *Ренувье*. История искусства во время Революции.

[393] Доктор Робике говорит по этому поводу следующее: «Сколько пристрастия и увлечений представляет доныне общественное мнение, обоготворяя своих деятелей! Довольно указать на примеры Робеспьера, который так долго и незаслуженно был богом нашей демократии («У меня нет иного бога, кроме Робеспьера», — говорил Барбье), или на Великого Бонапарта, которому почти вся Франция — без сомнения несправедливо и во вред себе и всему Западу — выказывала слепое и рабское поклонение при жизни и самые восторженные почести после смерти! Нужны ли еще другие доказательства, что народная толпа неспособна, в силу ее невежества и недостаточной чуткости, правильно оценивать выдающиеся общественные типы».

[394] Лертюлье. Les Femmes célèbres de 1789 a 1795.

[395] Récueil des ouvrages de la célèbre M-lle Labrousse, du bourg de Vanxains en Périgord. Вот буквальный перевод некоторых ее, несколько смутных, апокалиптических предсказаний: «Глава церкви не будет более иметь никакой мирской власти, которая до сего времени была подобна чудовищу, пожравшему бесчисленное множество народов».

«Всякий человек, облеченный верховной властью, который вступит в славную и многочисленную семью Франции и который, следовательно, изменит свое состояние, очутится между двух огней и, со многими другими, подставит свою грудь под острие меча».

«Да воспламенятся наши сердца, чтобы немедленно воссоздать для Верховного существа, блистающего светом, новое тело». «Enigmes commencées en 1766».

[396] Герцогиня Бурбонская была очень эксцентричной особой, она сблизилась с Калиостро, Месмером, Сен-Мартэном и с жаром увлекалась оккультизмом и магией.

[397] *Матье*. Catherine Théot et le mysticisme chrétien.

[398] Лертюлье дает другую дату: 29 февраля.

[399] Лертюлье приводит другую цифру, именно 1725 г.

[400] Цитировано у Матье. См. выше.

[401] *Вилат*. Causes secretes de la Révolution.

[402] *Сенар*. Memoires.

[403] Almanach da la Révolution française за 1870, издание Кларети в сотрудничестве с другими писателями-демократами; Париж. Центральная книготорговля 1869 г. in-16. В альманахе находится интересная статья Марка Дюфресс, в которой он, пользуясь бумагами Екатерины, к которым он имел доступ, устанавливает по весьма достоверным данным, что отношения Робеспьера к дом-Жерлю и Екатерине Тео имели единственной целью опыты животного магнетизма.

[404] Лертюлье, см. выше: *Д'Альмерас Г*. Les dévotes de Robespierre.

[405] Актер Флёри очень остроумно описывает в своих записках чтение пьесы Олимпии «Нинона у Мольера» в Репертуарном комитете Французской комедии, каковая была отвергнута единогласно всеми тринадцатью членами.

[406] Ученый натуралист, ученик и сотрудник Бюффона (1716–1799).

[407] *Флёри*, loc. cit.

[408] *Доктор Кабанес*. Les lndiscrétion de l'Histoire, первая серия.

[409] Последние революционные события в Москве тоже не обошлись без участия женщин, проявивших огромную настойчивость и подъем духа. Телеграмма С.-Петербургского телеграфного агентства от 18 дек. 1905 г. сообщала о заметном участии на московских баррикадах какой-то храброй женщины вместе со своим 17-летним сыном. Она не оставила участия в вооруженном сопротивлении даже после того, как ее сын пал. — *Прим. пер.*

[410] *Тьер*. Révolution française, t. III.

[411] *Жорес*. Histoire socialiste: La Gonstituante. Утверждали также, что некоторые, как например, герцог d'Aiguillon, чтобы ускорить движение, переодевались женщинами.

[412] *Горза*. Courrier des Départements.

[413] Шомет в своих светских проповедях беспрестанно возвращался к вопросу о необходимости обновления нравов. «Ко всем страданиям народа, — говорил он, — нельзя присовокуплять еще и проституцию. Юный гражданин должен быть горд и непорочен и отдавать все свои силы только на пользу родине». Но великого жреца истины, однако, очень мало слушали, и пале-рояльские девицы не думали бросать своего прибыльного ремесла.

[414] Вязальщицы, вызывавшие столько насмешек, были женщины, убежденные, что они совершают глубоко патриотический подвиг, являясь ежедневно на все заседания Национального собрания и разных клубов с вязаньем в руках как эмблемой труда. Но так как на самом деле они, в сущности, теряли здесь дорогое время, то Парижская коммуна великодушно назначила им всем поденную плату — по два ливра. — *Прим. пер.*

[415] *Тьер*. Révolution française; L. XXIII.

[416] Приведено у Guillois.

[417] *Флёри*, op. cit.

[418] *Тирион*. Vie privée des financiers au XVIII siècle.

[419] *Лертюлье*, op. cit.

[420] По поводу Шарлоты Корде см. III т. Cabinet secret, новое издание доктора Кабанеса.

[421] 1 прериаля III г. (20 мая 1795 г.) террористами была совершена попытка возвратить власть в свои руки. Во время сопровождавших ее кровопролитий был убит депутат Феро. — *Прим. пер.*

[422] *Жорес*. Histoire socialiste: la Convention.

[423] Писано в 1839 г.

[424] Луи Бюсси д'Амбуаз был коноводом католических шаек во время резни Варфоломеевской ночи в Париже 23 августа 1572 г. Убит герцогом Монсоро в 1579 г. — *Прим. пер.*

[425] Драгоценный фасад Ангулемского собора уцелел лишь благодаря тому, что находящийся на нем барельеф, изображающий Бога Отца, был признан изображением Юпитера-громовержца. На этом фронтоне и доныне сохранилась надпись, гласящая: «Храм Разума».

[426] В Амьене библиотекарем состояло лицо, совершенно неподготовленное к этой должности. Не зная, что делать с большими фолиантами, не помещавшимися на архивных полках, оно разрешило этот вопрос очень просто, обрезав их по размеру досок.

Оглавление